ДЖЕК ЛОНДОН

РОЖДЕННАЯ В НОЧИ

*

ЗОВ ПРЕДКОВ



Рожденная в ночи. Зов предков. Рассказы

Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон
РОЖДЕННАЯ В НОЧИ
- Рожденная в ночи
- Безумие Джона Харнеда
- Когда мир был юным
- Польза сомнения
- Крылатый шантаж
- Горсти костяшек
- Война
- Под палубным тентом
- Убить человека
- Мексиканец

ЗОВ ПРЕДКОВ
- I. Назад к первобытности
- II. Закон дубины и клыка
- III. Торжествующий первобытный зверь
- IV. Кто стал хозяином положения
- V. Трудности пути
- VI. Из любви к человеку
- VII. Звуки призыва

РАССКАЗЫ
Сэмюэл
Неслыханное нашествие
Встреча в хижине
Путь белого человека
Неожиданное
Мечта Дебса
КОММЕНТАРИИ

Аннотация

Большинство произведений Джека Лондона, собранных в этом томе, написаны на реальной основе. Однако не только фактическая достоверность делает их интересными читателю, но и некая духовная аура, которая порождает необычно тесную связь между жизнью и ее художественной интерпретацией.

Джек Лондон

РОЖДЕННАЯ В НОЧИ


A08

Рожденная в ночи

Все это происходило в Сан-Франциско, в старом клубе Алта-Иньо в один теплый летний вечер. В открытые окна доносился далекий, неясный шум уличного движения. Разговор присутствующих перескакивал с одной темы на другую: говорили и о борьбе со взяточничеством, и об очевидных признаках грозящего городу наводнения преступниками, и, наконец, об испорченности и низости людской, пока кто-то не произнес вскользь имя О'Брайена, подававшего большие надежды молодого боксера, убитого накануне на ринге. В воздухе сразу повеяло чем-то освежающим. О'Брайен был юноша-идеалист. Он не пил, не курил, не сквернословил и был прекрасен, как молодой бог. Он не расставался с молитвенником даже во время борьбы. Этот молитвенник был найден в кармане его пальто уже после…

Это была сама юность, чистая, здоровая, ничем не запятнанная, предмет восхищения и удивления людей, утративших свежесть души и тела. Эта тема так увлекала нас в мир романтики, что мы прекратили разговоры о шумном городе и его делах. Дальнейший ход беседы изменил Бардуэл,

который процитировал выдержку из поэзии Торо[1]. Цитату подхватил лысый обрюзгший Трифден, не умолкавший целый час. Вначале мы думали, что в нем говорит не в меру выпитый за обедом виски, но позже совершенного забыли об этом.

— Это произошло в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, когда мне было только тридцать пять лет, — сказал он. — Ага, я вижу, вы в уме вычисляете... Да, правда, мне теперь сорок семь, но я выгляжу старше. А доктора говорят... да ну их к черту!

Он медленно стал отпивать из стакана, чтобы немного успокоиться.

— Да, в то время я был молод. Двенадцать лет тому назад у меня еще были волосы на голове, а живот был, как у скорохода. Я не знал тогда усталости. Самый долгий день был для меня коротким. Вы помните, Мильнер? Мы ведь с вами тогда уже были знакомы. Правду я говорю?

Мильнер кивнул в знак согласия. Он, как и Трифден, был горным инженером и так же, как

---

[1] notes: 1

Торо (1817–1862) — североамериканский писатель. Темой его произведений является почти исключительно природа. В 1845 году он удалился в лес, построил хижину и прожил в ней два с половиной года, занимаясь физической работой, писанием своих произведений и созерцанием природы.

тот, сколотил себе порядочное состояние в Клондайке.

— Правда твоя, старина, — сказал Мильнер. — Я никогда не забуду, как ты ловко справился с лесопильщиками компании «М. и М.» в тот вечер, когда какой-то мелкий газетчик затеял скандал. Надо вам сказать, — обратился он к нам, — что Слэвин в это время находился в деревне и его управляющий натравил своих людей на Трифдена.

— Вот полюбуйтесь, что со мной сделала золотая горячка, — с горечью продолжал Трифден. — Богу известно, сколько я спустил миллионов, а душа опустела совсем, и крови в жилах почти не осталось. Горячая алая кровь исчезла. Я теперь медуза — огромная колышащаяся масса грубой протоплазмы, я…

Он запнулся и отхлебнул из стакана.

— Женщины заглядывались на меня в ту пору и оборачивались, чтобы еще раз взглянуть на меня. Странно, что я не женился. Но это из-за девушки… вот о ней-то я и хочу вам рассказать! Я встретил ее больше чем за тысячу миль от человеческого жилья. И она-то процитировала мне то самое место из Торо, которое только что привел Бардуэл: о богах, рожденных ночью, и

богах, рожденных днем.

Это было после того, как я сделал заявку на разработку на реке Гольстед, не подозревая даже, какие там таятся сокровища. Я направлялся на восток через Скалистые Горы к Большому Невольничьему озеру. К северу Скалистые Горы переходят в неприступную твердыню, через которую нет прохода. Только бродячие охотники отваживались на этот подвиг, но не многим удавалось благополучно пройти, а большинство погибало в пути. Успешным переходом этого места можно было тогда прославиться. Я и теперь еще горжусь этим больше, чем всем другим, сделанным в жизни.

Это совершенно неизвестная страна. Громадные пространства ее не были еще исследованы. Там были большие долины, куда не ступала нога белого человека, и индейские племена, живущие первобытно, почти как десять тысяч лет тому назад, — почти, потому что они имели кое-какие дела с белыми. Некоторые племена вступали иногда в торговые сношения с ними. Но даже Компания Гудзонова залива не смогла их разыскать и наладить контакт.

А теперь о девушке. Я поднимался по течению ручья — вы это в Калифорнии называете рекой, —

ручья, нигде не обозначенного и безымянного. Это была прекрасная долина, проходившая то между отвесными, высокими стенами ущелья, то расстилавшаяся вширь и вдаль. В глубине ее росла высокая, по плечи, трава, тянулись луга, усеянные цветами, высились кроны великолепных девственных сосен. Собаки, с навьюченным на спинах багажом, с израненными ногами, совершенно выбились из сил. Я же все время был поглощен поисками какой-нибудь стоянки индейцев, у которых можно было бы добыть нарты и погонщиков, чтобы продолжать путь с первым снегом.

Хотя в то время стояла уже поздняя осень, к величайшему моему изумлению, пышно цвели цветы. По моим предположениям, я был высоко в Скалистых Горах, в далекой субарктической Америке, а между тем передо мной расстилались целые цветочные ковры. Когда-нибудь белые поселенцы появятся в тех местах и будут сеять там пшеницу.

Наконец я увидел дымок и услышал лай собак — индейских собак — и направился к становищу. Тут находилось, по меньшей мере, пятьсот индейцев, и по количеству шестов, на которых коптилась дичь, было видно, что осенняя охота

была удачной. И здесь-то я встретил ее — Люси. Это ее имя. Мы объяснялись с индейцами жестами — это был единственный способ беседы между нами, — пока они не привели меня к большому шатру, напоминавшему палатку и открытому с той стороны, где горел бивуачный костер. Шатер был весь из прокуренных, темно-золотистых шкур американского оленя. Внутри было чисто и опрятно, чего никогда не бывает у индейцев. Постель была постлана на свежих еловых ветвях. На них лежали груды мехов, а поверх всего одеяло из лебяжьего пуха. На нем сидела, скрестив ноги, Люси. Вся она была светло-коричневая. Я назвал ее девушкой. Нет, это неверно. Это была смуглая женщина-амазонка — полная, царственно зрелая. Глаза у нее были голубые.

Эти-то глаза сразу меня и поразили. Они были голубые, но не цвета китайской лазури, а темно-голубые, как смешанный цвет неба и моря, и притом очень умные. Кроме того, в них сверкал смех — теплый солнечный смех и вместе с тем в них было что-то очень человеческое, и… это были глаза настоящей женщины. Вам это понятно? Что еще сказать вам? В этих голубых глазах отражались одновременно беспокойство, неугомонный порыв и абсолютная невозмутимость, нечто вро-

де мудрого философского спокойствия.

Трифден вдруг умолк.

— Мне кажется, друзья, вы думаете, что я не совсем трезв. Но это не так. С обеда я пью всего пятый стакан. Я не только чертовски трезв, а даже торжественно настроен. Я сижу сейчас рядом со своей священной юностью. С вами говорит не «старый Трифден», а моя юность, и моя юность говорит вам, что это были удивительнейшие глаза — невозмутимые и спокойные, мудрые и пытливые, зрелые и молодые, удовлетворенные и жаждущие чего-то. Нет, друзья, я не в силах описать их. Вы сами все поймете по моим рассказам!

Она не двинулась с места, но протянула мне руку.

«Добро пожаловать, незнакомец, очень вам рада!»

Вы представляете себе этот резкий звук западного говора? Вообразите мои ощущения! Это была женщина, белая женщина, и с таким говором! Было что-то невероятное в том, чтобы белая женщина находилась здесь, на краю света, а тут еще этот говор! Меня он кольнул, как грубый диссонанс. А между тем, смею вас уверить, что эта женщина была натурой поэтической, — вы в

этом убедитесь позже.

Она приказала индейцам удалиться, и, клянусь Юпитером, они ей беспрекословно повиновались. Они слушались ее приказаний и слепо подчинялись ей. Она была их вождем, их hi-yu-skookum. Она приказала мужчинам устроить меня и позаботиться о моих собаках. И они это исполнили и не взяли себе из моих вещей ничего, даже шнурка от моих мокасин. Это была именно Та-Которой-Надлежало-Повиноваться. Сказать вам по правде, мне стало жутко, и холодные струйки пробежали по моей спине при одной мысли о том, что за тысячи миль от цивилизованного мира белая женщина стоит во главе племени дикарей.

«Незнакомец, — сказала она, — по-моему, вы первый белый, чья нога ступила в эту долину. Садитесь, мы побеседуем, а потом чего-нибудь поедим. Откуда вы пришли?»

И опять меня покоробил ее говор. Но лучше забудем об этом на все время моего рассказа. Уверяю вас, я и сам забыл о нем, сидя на уголке лебяжьего одеяла, слушая эту единственную в своем роде женщину, словно сошедшую с описываемых поэтом Торо или кем-нибудь другим страниц.

Я оставался там целую неделю. Она сама при-

гласила меня остаться. Она обещала снабдить меня нартами и собаками и дать в провожатые индейцев, с которыми я пройду самым удобным путем Скалистые Горы. Ее палатка стояла на отлете, особняком от прочих, на высоком берегу реки. Несколько индейских девушек стряпали для нее и выполняли домашнюю работу. А мы беседовали, беседовали, пока пошел первый снег, и он падал до тех пор, пока не установился удобный санный путь.

Люси родилась в семье пограничных жителей, бедных поселенцев, а вы представляете себе, что это значит: работа и работа — вечная работа, работа, которой нет конца. Вот что рассказала она мне:

«Мне незнакома радость бытия. У меня для этого не было времени. Я знала, что вне нашего жилища везде очень хорошо, но воспользоваться этим благом мешали дела вроде печения хлеба, уборки и всякой работы, которую никогда всю не переделаешь. Иногда я испытывала душевную боль от жадного желания увидеть простор, особенно весной, когда птицы пели свои весенние песни. У меня появлялось желание побежать по высокой росистой траве, промочить ноги, прыгать через изгородь и ходить по лесу дале-

ко-далеко, до самого перевала, чтобы окинуть взглядом весь мир! Мне хотелось бродить по каньонам, перекатываться из пруда в пруд, подружиться с выдрами и пятнистыми форелями; подкрасться и исподтишка наблюдать белок, кроликов и мелких пташек, разузнать все их маленькие дела и тайны. Мне казалось, что, будь у меня время, я подползла бы к цветам и подслушала их перешептывание — то, как они делятся друг с другом умными и добрыми мыслями, которые людям совсем не знакомы».

Трифден остановился и молчал, пока ему не наполнили стакана.

— В другой раз она сказала:

«У меня возникло желание обнаженной бегать по ночам, при лунном свете, под звездами, погружаться в прохладный бархат мрака и так бежать без конца. Однажды вечером, после очень неудачного дня — тесто не всходило, масло не сбивалось, — я окончательно выбилась из сил. И я призналась отцу в моем желании убежать. Он с любопытством и некоторым опасением взглянул на меня и дал мне две пилюли, которые я проглотила. Он велел мне лечь в постель, постараться выспаться и уверял, что к утру вся дурь у меня пройдет. С тех пор я ему больше ни в чем

не признавалась».

Хозяйство их пришло в полный упадок — думаю, голод был тому причиной, — и они переселились на жительство в Сиэтл. Тут она поступила на фабрику, где, как вам известно, рабочий день очень утомителен и тянется без конца. А еще через год она поступила на службу в дешевый ресторан — харчевню, как она его называла, — в качестве официантки.

«Мне кажется, — сказала она мне однажды, — меня сильно влекло к романтике. Но где же взяться романтике среди кухонной утвари, на фабрике и в харчевне?»

Когда ей минуло восемнадцать лет, она вышла замуж за человека, который собирался открыть ресторан в Джуно. Он успел скопить немного долларов, его считали зажиточным. Она его не любила — на этот счет у нее не было никаких сомнений. Но ее утомила каторжная жизнь, от которой она хотела уйти во что бы то ни стало. Кроме того, Джуно находился на Аляске, и что-то влекло ее в этот край чудес. Но она мало видела его. Муж открыл ресторан, очень дешевый, и вскоре она убедилась, что он женился на ней, чтобы иметь даровую прислугу. В конце концов на нее свалилась вся работа, начиная с прислу-

живания посетителям и кончая мытьем посуды; кроме того, ей же приходилось и стряпать. Все это тянулось целых четыре года!

Вы только представьте себе это дикое лесное существо с первобытными инстинктами, жаждущее свободы, втиснутым в грязную маленькую харчевню и обреченным нести каторгу целых четыре года!

«Все это было так бессмысленно, — говорила она. — К чему все это? Зачем я родилась? Неужели весь смысл существования заключается в том, чтобы без конца работать и вечно быть усталой? Ложиться спать усталой, вставать усталой… И так изо дня в день, без всякой надежды на лучшее, а скорее ожидая худшего».

Она слышала от церковных мошенников о бессмертии, но сильно сомневалась в том, чтобы ее настоящая жизнь вела ее к бессмертию.

Между тем мечты о другой жизни не оставляли ее, хотя посещали реже прежнего. Она прочла несколько книг, вероятно, из серии «Дорожная Библиотека», и даже они давали пищу ее фантазии.

«Иногда, когда я чувствовала себя одуревшей от кухонного чада и мне казалось, что я упаду в обморок, если не глотну свежего воздуха, я

высовывалась из кухонного окна, закрывала глаза, и мне мерещились чудесные вещи. Мне, например, казалось, что я иду по дороге, кругом тишь и чистота — ни пыли, ни грязи. По мягким лугам текут ручейки, барашки играют, ветер разносит аромат цветов, и все это залито солнечным светом. Коровы лениво бродят по лугам, по колено в воде; в реке купаются молодые стройные девушки, такие беленькие, хорошенькие, — мне казалось, что я в Аркадии. Я читала когда-то об этой стране в одной книге. А вдруг, думала я, на повороте покажется рыцарь в сверкающих на солнце доспехах или дама на белоснежной лошади, а издали замаячат башни замка. То мне вдруг казалось, что за следующим поворотом дороги я увижу воздушный белый волшебный дворец с бьющими в садах фонтанами, с павлинами на лужайках… А потом я открывала глаза, — и кухонный чад обдавал мне лицо, и я слышала голос Джека, моего мужа: «Почему ты не подаешь бобов? Что же, дожидаться весь день?..» Романтика! По-моему, я ближе всего была к ней тогда, когда напившийся водки повар-армянин чуть не перерезал мне горло ножом для чистки картофеля и я обожгла себе руку о горячую плиту, отбиваясь от него тяжелой ступкой.

Я мечтала о приятной жизни, красивых вещах, о романтике и прочем. Но мне не везло — я, видно, родилась на свет, чтобы быть стряпухой и посудомойкой. Это было время бурной и разгульной жизни в Джуно; я видела, как жили другие женщины, но меня это не соблазняло. Мне кажется, я хотела остаться честной, не знаю почему, но это так. А в сущности не все ли равно, как умереть — за мытьем ли посуды или так, как умирали эти женщины?..»

Трифден прервал свое повествование, словно для того, чтобы собраться с мыслями.

— И эту женщину я встретил в полярных краях: она была вождем племени диких индейцев и владела охотничьей территорией в несколько тысяч квадратных миль! И случилось это так просто, хотя ей как будто суждено было закончить жизнь среди горшков и кастрюль. Но «пришло дуновение, и явилось видение». Это все, чего она желала, — и она достигла этого… «Наступил день моего пробуждения, — рассказывала она. — Я наткнулась на обрывок газеты со словами, которые до сих пор помню», — и она процитировала строки из произведения Торо «Вопль человека»:

— «Молодые сосны, вырастающие на хлебных полях из года в год, — явление для меня очень

отрадное. Мы много говорили о цивилизации индейцев, но вряд ли это благо для них. Благодаря своей независимости и уединению, жизни в лесу индеец как бы поддерживает связь со своими богами — и время от времени в общении с природой. Ему близки звезды, а в наших «салунах» не может сформироваться человек. Свет его гения кажется тусклым из-за расстояния, как прекрасное отдаленное сверкание звезд при ярком, но недолговечном пламени свечи. Уроженцы островов Товарищества имеют богов, рожденных днем, но они не считались такими же древними, как боги, рожденные в ночи…»

— Все это она повторила слово в слово, и я забыл ее неприятный говор, потому что это звучало торжественно — это было исповедание веры, пожалуй, языческой, но облеченной в живописную форму.

«Это все, — остальное было оторвано, — сказала она тихо. — Ведь это был только клочок газеты! Но этот Торо мудрый человек. Мне хотелось бы больше знать о нем».

Она с минуту помолчала, а потом — с проникновенным лицом, в чем я готов поклясться, — прибавила: «Я была бы ему хорошей женой!»

И она продолжала:

«Вот тут я все разгадала! Я — рожденная в ночи! Да, я, всю жизнь прожившая с рожденными днем, рождена в ночи. Вот почему меня всегда тяготила простая домашняя работа, почему меня тянуло бегать обнаженной при лунном свете. Мне стало понятно, что мне не место в этой грязной маленькой харчевне в Джуно. И я твердо решила уйти. Я немедля запаковала свой немногочисленный скарб и собралась. Джек пытался меня удержать:

— Что ты делаешь? — спросил он меня.

— Я покидаю тебя и ухожу в лес, где моя родина, — ответила я.

— Нет, ты не уйдешь, — и он схватил меня, чтобы удержать. — Я знаю, тебе опротивела стряпня, но прежде чем уйти, ты должна меня выслушать.

Я показала ему револьвер Кольта, калибра 44:

— Вот тебе мой ответ! — И я ушла…»

Трифден опорожнил свой стакан и заказал новый.

— Знаете ли вы, что сделала эта девушка? Ведь ей было двадцать два года! Она всю жизнь провела среди кастрюль, и мир ей был так же мало известен, как мне четвертое или пятое измерение. Ей были открыты все пути, однако ее не потянуло в кафе-шантан. Она прямо направилась

к берегу реки, так как знала, что на Аляске лучше всего путешествовать по воде. В это время как раз отплывала в Дайю индейская пирога — это, как вам известно, лодка, выдолбленная из цельного ствола, узкая и глубокая, длиной в шестьдесят футов. Она заплатила индейцам пару долларов, и ее взяли в пирогу.

«Я жаждала романтики, — сказала она мне. — И романтика началась с первой же минуты. В лодке помещалось три семейства, и она была так переполнена, что невозможно было повернуться. Всюду вертелись собаки и дети, у всех были весла, и все гребли. Нас окружали величественные горы, над нами клубились облака, и над всем этим разливалось солнечное сияние. А это безмолвие, великое чудесное безмолвие! Вдали изредка показывался над деревьями дымок охотничьего привала. Это было не путешествие, а настоящий пикник — грандиозный пикник, и мне казалось, что мои мечты уже сбываются, я ждала еще чего-то. И это случилось…

А первый привал на острове! Мальчишки занялись рыбной ловлей в бухте, а взрослые охотились на ланей. Все было усыпано цветами, а дальше от берега трава — густая, сочная, высотой по самые плечи. Несколько девушек

пошли вместе со мной бродить, мы взбирались на холмы, собирали ягоды и вкусные кисловатые коренья. В одном месте мы набрели на большого медведя, который ужинал ягодами. Он прорычал «уфф!» и убежал, испуганный не меньше нас. А потом этот бивуак, бивуачный дым, запах жарящейся свежей дичи! Как дивно хорошо это было! Наконец-то я была с рожденными в ночи и чувствовала, что мое место рядом с ними. Когда я ложилась спать, укрывшись холщовым одеялом, из-под отвернутого уголка которого я любовалась звездами, сверкавшими за темными выступами горы, прислушивалась к ночным шумам, я впервые в моей жизни почувствовала себя счастливой и знала, что так будет и завтра, и дальше, и всегда… ибо я решила не возвращаться. И я не вернулась.

Романтика! Я испытала ее на следующий день. Нам предстояло переплыть большой рукав океана шириной приблизительно от двенадцати до пятнадцати миль. На середине нашего пути подул сильный ветер … В эту ночь меня выбросило на берег, где я очутилась одна, в обществе волкодава, единственная из всех оставшаяся в живых…»

— Представьте себе! — прервал свое повество-

вание Трифден. — Лодка разбилась и потонула, все находившиеся в ней разбились о скалы. Одна Люси достигла берега, уцепившись за хвост собаки, благополучно миновала подводные камни и очутилась на крохотном песчаном взморье, единственном на протяжении многих сотен миль.

«К счастью, это был материк, — продолжала она. — Я пошла вглубь через леса и горы, куда глаза глядят, точно предчувствуя, что найду свое! Я не испытывала страха. Ведь я — рожденная в ночи, и лес не мог меня убить. На другой день я нашла: на небольшой прогалине стояла полуразвалившаяся хижина. Видно было, что она необитаема уже много лет. Крыша провалилась. В ящиках лежали сгнившие одеяла; на очаге стояли кастрюли и сковороды. Но самое интересное было впереди. Вы не можете себе представить, на что я набрела на опушке леса! Там оказалось восемь скелетов лошадей когда-то привязанных к деревьям! Они, по всей вероятности, умерли с голоду, оставив после себя разбросанные кучи костей. У каждой лошади на спине была поклажа. Среди костей валялись холщовые мешки, в этих мешках были еще мешки из кожи мускусного быка, а внутри этих — как бы вы думали, что?»

Она остановилась, протянула руку к углу посте-

ли и из груды еловых ветвей вытащила кожаный мешок. Она развязала его, и в мои руки полился целый поток золота, какого я никогда до того не видел, крупнозернистого, самородного золота, в песчинках и слитках, чистого, почти без следов промывки!

«Ведь вы горный инженер, — сказала она, — и вам знакомы здешние места. Не знаете ли вы, как называется тот ручей, где добывается такое золото?»

Но я не мог назвать ручья. Золото было чистое, без всякой примеси серебра. Я ей это сказал.

«Неужели? — воскликнула она. — Я продаю его по девятнадцати долларов за унцию. Золото Эльдорадо нельзя сбыть дороже семнадцати долларов за унцию, а минукское идет по семнадцати с чем-то.

Итак, среди лошадиных скелетов я нашла восемь лошадиных вьюков, по сто пятьдесят фунтов в каждом».

— Четверть миллиона долларов! — воскликнул я.

«Я приблизительно так и рассчитала, — проговорила она. — Толкуйте теперь о романтике! Сколько лет была закабалена работой, но стоило мне стряхнуть с себя рабство и уйти, как через

три дня вот что случилось! Что произошло с людьми, которые добыли все это золото? Я очень часто об этом думаю, они оставили своих навьюченных лошадей, привязав их на время, а сами бесследно исчезли с лица земли. Никто о них ни разу не вспомнил. Никому не известна их участь. Как рожденная в ночи, я считала себя их наследницей».

Трифден помолчал, закуривая сигару.

— Знаете, что сделала эта женщина? Она спрятала все золото, кроме тридцати фунтов, с которыми направилась на берег. Мимо проплывала пирога, она подала ей сигнал. Эта пирога доставила ее на торговый пост Пэта Хили в Дайе; там она накупила разного снаряжения и переправилась через Чилкутский перевал. Это было в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, за восемь лет до открытия Клондайкских золотых россыпей, когда пространство вдоль реки Юкон еще представляло собой дикую пустыню. Она боялась мужчин-индейцев, но взяла с собой двух скво — молодых индейских женщин, переплыла с ними озеро и спустилась вниз по реке. Там она присоединилась к первым бивуакам, на нижнем Юконе. Несколько лет странствовала она по этим местам, а затем пробралась туда, где я ее встре-

тил. Здесь ей понравилось, по ее собственному выражению, «следить за огромным самцом-оленем, стоящим в долине по колено в радужных цветах». Она осталась жить с индейцами, лечила их, завоевала их доверие и постепенно приобрела над ними власть. Она только один раз покинула этот рай, когда с группой молодых индейцев перевалила Чилкут, вырыла свое спрятанное золото и привезла его сюда.

«Вот здесь я живу, незнакомец, — закончила она свое повествование. — А вот то, чем я дорожу больше всего на свете».

Она выдернула маленькую кожаную сумочку, висевшую у нее на шее вместо медальона, и открыла ее. Внутри, завернутый в пропитанный маслом шелк, пожелтевший от времени, замусоленный и истертый, лежал тот самый обрывок газеты, где напечатана была выдержка из Торо.

— И вы счастливы? Довольны? — спросил я ее. — В Штатах с вашей четвертью миллиона долларов вам не нужно было бы работать. Вам ведь, наверное, здесь многого не хватает!

«Не так уж много, — ответила она. — Я никогда не променяла бы свою жизнь на жизнь женщины в Штатах. Я живу среди своего народа, к которому привязана всей душой. Но бывают минуты, — и

в ее глазах зажегся голодный огонек, о котором я уже упоминал, — когда я призываю на голову Торо всякие беды!»

— За что? — спросил я.

«За то, что не могу выйти за него замуж. По временам я чувствую себя страшно одинокой. Я ведь женщина, самая настоящая женщина. Я слыхала о женщинах, которые искали для себя новые пути, как и я, и немало чудили: поступали в армию солдатами и матросами на корабли. Но это же просто взбалмошные бабы. Это скорее мужчины, чем женщины, они и похожи больше на мужчин, и у них нет обычных женских желаний. Они не мечтают о любви, не желают иметь детей, прижимать их к сердцу и сажать их к себе на колени. Я совсем иного склада. Отдаюсь на ваш суд, незнакомец: похожа ли я на мужчину?»

Нет, она не была похожа на мужчину. Она была настоящая женщина — прекрасная смуглая женщина, с пышным, здоровым, крепким телом и прекрасными темно-голубыми глазами.

«Разве я не женщина? — спрашивала она. — Нет, я само воплощение женщины. Курьезнее всего то, что хотя я во всех отношениях рожденная в ночи, в супружестве мне как-то не везет. Я думаю, что такого рода люди ищут себе подобных.

Так по крайней мере происходит со мной во все эти годы».

— Вы хотите сказать?.. — начал я.

«Никогда, — сказала она, взглянув на меня своими правдивыми глазами. — У меня был всего один муж — я его называла Волом. Полагаю, он до сих пор живет в Джуно и хозяйничает в своей харчевне. Если вам случится там побывать, найдите его и тогда вы увидите, что это прозвище подходит ему».

И я таки разыскал его — через два года. Он вполне соответствовал данному ему описанию. Это был коренастый тупой вол. Он шнырял между столиками своей харчевни, прислуживая посетителям.

— Вам нужно бы помощницу, жену, — сказал я ему.

— У меня была жена.

— Вы овдовели?

— Она бросила меня. Она все жаловалась на кухонный жар — и он таки довел ее до безумия. В один прекрасный день она направила на меня револьвер и убежала с несколькими сивашами-индейцами в пироге. Они потом все утонули у самого берега.

Трифден занялся своим стаканом и умолк.

— Ну, и что же с женщиной? — напомнил ему Мильнер. — Вы остановились как раз на самом интересном месте, когда дело дошло до нежностей.

— Так оно и есть, — ответил Трифден. — Как она сама говорила, она во всех отношениях была дикаркой, кроме того, что касалось брака: мужем она хотела иметь человека своей расы. Она очень деликатно, но прямо приступила к делу. Она предложила мне себя в жены.

«Незнакомец, вы мне очень нужны, — сказала она. — Я вижу, что вам нравится здешняя жизнь, иначе вы не были бы у нас и не стремились бы перейти через Скалистые Горы сырой осенью. Это чудесный уголок, лучше его не найти. Почему бы вам не поселиться здесь? Я была бы хорошей женой».

Я почувствовал себя припертым к стене. А она ждала! Должен сознаться, что соблазн был велик. Я почти влюбился в нее. Вы знаете, что я никогда не был женат. Оглядываясь на прошлое, я теперь могу откровенно признаться, что это была единственная женщина, которая произвела на меня сильное впечатление. Но ее предложение меня огорошило, и я солгал — по-джентльменски: я сказал ей, что женат.

— Жена ждет тебя? — спросила она.

— Да.

— Она тебя любит?

— Да.

Это был конец.

Она больше не касалась этой темы… только один раз показав, что и в ней есть огонь.

«Мне стоит произнести одно слово, и ты останешься со мной и никуда не уйдешь отсюда… Но я не произнесу его. Я не хочу тебя, если сам ты не хочешь быть желанным и не желаешь меня».

Она вышла и распорядилась, чтобы меня снарядили в дорогу.

«Мне стыдно сознаться, чужестранец, — сказала она на прощание. — Ты мне нравишься, я полюбила тебя. Если ты когда-нибудь одумаешься — возвращайся».

У меня в ту минуту было одно сильное желание: мне хотелось поцеловать ее на прощание. Но я не знал, как высказать это и как она это примет. Но она сама пришла мне на помощь.

«Поцелуй меня, — сказала она, — это все, что у меня останется на память о тебе».

И мы поцеловались на снегу, в долине у Скалистых Гор. Я покинул ее тут же и последовал за своими собаками. Целые шесть недель ушло

на путешествие через перевал, и, наконец, я спустился к первому посту Невольничьего озера…

Уличный гул доносился к нам, как отдаленный прибой. Слуга бесшумно вошел и принес новые сифоны, и в наступившей тишине голос Трифдена прозвучал, как погребальный звон.

— Для меня было бы лучше остаться!.. Посмотрите на меня!

Мы взглянули на его седеющие усы, на его лысину, на мешки под глазами, отвислые щеки, отяжелевший подбородок. Опустившийся, усталый, совершенная развалина — этот когда-то крепкий и сильный мужчина, которого убила слишком легкая, разгульная жизнь.

— Быть может, еще не поздно, — нерешительно прошептал Бардуэл.

— О Господи, почему я был тогда так малодушен! — воскликнул Трифден. — Я мог еще вернуться к ней. Она и сейчас там. Оставаться здесь — это самоубийство. Но я старик, мне сорок семь лет… Беда в том, — сказал он, подняв стакан и глядя на него, — что это очень легкий способ самоубийства. Я — изнеженный, избалованный человек. Мне страшна самая мысль о продолжительной езде на собаках. Страшны утренние морозы, замерзшие ремни саней пугают меня.

Непроизвольно он поднес стакан к губам. Охваченный внезапной яростью, он чуть не разбил его об пол, но словно одумался: стакан поднялся до уровня его губ и замер. Он хрипло, горько засмеялся и вымолвил торжественным голосом:

— Ну, выпьем за Рожденную в Ночи. Она была настоящим чудом!

Безумие Джона Харнеда

— То, что я рассказываю, — факт. Это случилось во время боя быков в Кито. Я сидел в одной ложе с Джоном Харнедом, Марией Валенсуэлой и Луи Сервальосом. Я видел, как это случилось: все происходило на моих глазах — от начала до конца. Я ехал на пароходе «Эквадор» из Панамы в Гуаякиль. Мария Валенсуэла — моя кузина. Я ее знаю с детства; она очень хороша собой. Я испанец, из Эквадора, разумеется, но я потомок Педро Патино, одного из капитанов Писарро. Это были храбрые люди. Это были герои! Не Писарро ли повел триста пятьдесят испанских кабальеро и четыре тысячи индейцев в далекие Кордильеры за сокровищами? И не погибли ли все четыре тысячи индейцев и триста храбрейших кабальеро при своей тщетной попытке? Но Педро Патино не погиб. Он остался в живых и стал родоначальником Патино. У меня много поместий-гациенд и десять тысяч индейцев-рабов, хотя по закону они свободные люди и работают по добровольному найму. Забавная штука — эти законы! Мы, эквадорцы, смеемся над ними, над нашими законами, мы сами делаем законы для себя. Я — Мануэль

де Хесус Патино. Запомните это имя! Оно будет вписано когда-нибудь в историю! В Эквадоре перевороты случаются часто — мы называем их перевыборами. Славная штука, не правда ли? Не это ли вы называете «игрой слов»?

Джон Харнед был американец. Я встретился с ним впервые в отеле «Тиволи» в Париже. Я слышал, что у него было много денег. Он ехал в Лиму, но в отеле «Тиволи» встретился с Марией Валенсуэлой. Мария Валенсуэла, как я уже говорил, — моя кузина, и она красавица! Воистину, она самая красивая женщина в Эквадоре! Но она первая красавица и в любой стране, в любой столице — в Париже, в Мадриде, в Нью-Йорке, в Вене. Мужчины везде заглядывались на нее, и Джон Харнед тоже не сводил с нее глаз в Панаме. Он влюбился в нее, это я знаю наверное. Она эквадорка, правда, но она — гражданка всех стран, всего света! Она владела многими языками. Пела она, как настоящая артистка! Улыбка у нее была восхитительная, божественная! Ее глаза… — я видел, как мужчины заглядывались на ее глаза! Это были, как вы, англичане, называете, изумительные глаза: они сулили райское блаженство. Мужчины безвозвратно тонули в этих глазах.

Мария Валенсуэла была богата, богаче меня,

хотя я считаюсь в Эквадоре очень богатым человеком. Но Джон Харнед не думал о деньгах. У него было сердце — глупое сердце! Глупец, он не поехал в Лиму; он оставил пароход в Гуаякиле и поехал за ней в Кито! Она возвращалась домой из Европы. Не знаю, что она нашла в Джоне, но она полюбила его. Это факт, иначе он не поехал бы за ней в Кито: она сама пригласила его с собой! Я хорошо помню, как это было. Она сказала:

— Едемте в Кито, я покажу вам бой быков — бесстрашный, ловкий, великолепный!

— Но я еду в Лимо, а не в Кито, — ответил он, — у меня билет до Лимы.

— Разве вы путешествуете не для своего удовольствия? — спросила Мария Валенсуэла и посмотрела на него так, как только она умела смотреть; в ее глазах затеплилось обещание…

И он поехал: но не ради боя быков, он поехал ради того, что увидел в глазах Марии. Такие женщины, как Мария Валенсуэла, рождаются раз в сто лет. Они вне времени и пространства! Они, как у нас говорится, — всемирны, им принадлежит вселенная. Это богиня, и люди падают ниц к их ногам. Они играют мужчинами и пропускают их между своих прелестных пальчиков, как песок. Говорят, Клеопатра была такой женщиной,

и такова была Цирцея. Она превращала людей в свиней. Ха-ха! Очень ловко — не правда ли?

Все это произошло потому, что Мария Валенсуэла произнесла:

— Вы англичане, как бы сказать… дикари, что ли? Вы любите бокс. Двое наносят друг другу удары, пока не ослепнут или не разобьют друг другу носов… Отвратительно! А зрители — они смотрят и гогочут от восторга. Ну, не варварство ли это, скажите по совести?

— Но они — мужчины, — возразил Джон Харнед, — и дерутся по собственному желанию. Никто их не заставляет; они дерутся потому, что им этого хочется больше всего на свете!

Мария Валенсуэла с презрительной улыбкой продолжала:

— И они часто убивают друг друга, не правда ли? Я читала об этом в газетах.

— Ну, а быки? — говорил Джон Харнед. — Быков убивают не раз в течение боя, и бык не по своей охоте выходит на арену. Это нечестно по отношению к быку: его принуждают к бою; человек же — о нет! — его никто не заставляет драться!

— Тем более он животное, — отвечала Мария Валенсуэла, — он дикарь; он первобытен; он зверь! Он дерется лапами, как какой-нибудь

пещерный медведь, и он свиреп. Бой же быков — о! — вы не видели боя быков, нет? Тореадор ловок; он должен быть ловок; это — современность; это — романтика! Человек, мягкий и нежный, в бою сталкивается с диким быком! И убивает он шпагой, тонкой и гибкой, одним ударом вонзая ее в сердце огромного животного. Это очаровательно! При взгляде на это зрелище сердце начинает биться усиленно: маленький человек, громадный зверь, песок ровной, широкой арены, тысячи зрителей замерли, затаив дыхание! Громадный зверь бросается в атаку, маленький человек стоит, как изваяние; он не движется; он не боится, а в его руках тонкий меч сверкает, как серебро на солнце; ближе и ближе животное с острыми рогами, человек все недвижим, а затем — вот так! — меч сверкнул, удар нанесен прямо в сердце, по самую рукоятку, бык замертво падает на песок, а человек невредим! Это бесстрашно, это великолепно! Ах! Я могла бы полюбить тореадора! А боксер — да ведь это животное, человек-зверь, первобытный дикарь, маньяк, который получает удар за ударом по своей глупой физиономии и радуется! Едемте в Кито, и я покажу вам настоящий спорт — спорт людей: тореадор против быка!

Но Джон Харнед поехал в Кито не ради боя

быков — он поехал ради Марии Валенсуэлы. Это был крупный человек, шире в плечах, чем мы, эквадорцы, высокого роста, крепкого сложения. Собственно, он был крупнее даже многих своих соотечественников. У него были голубые глаза, хотя — я видел — они делались, как холодная сталь. Черты лица у него были крупные, даже слишком, не такие нежные, как у нас, челюсть тяжелая. Лицо он брил, как священник. С чего бы мужчине стыдиться волос на лице? Разве не Бог насадил их там? Да, я верую в Бога! Я не язычник, как многие из вас, англичан. Бог добр, он сотворил меня эквадорцем с девятью тысячами рабов. И когда я умру, я пойду к Богу. Да, священники правы!

Но вернемся к Джону Харнеду. Это был степенный человек! Говорил он всегда тихо и никогда не размахивал руками. Можно было подумать, что сердце у него изо льда; но, видно, и в его крови была теплая струйка, раз он поехал за Марией Валенсуэлой в Кито. И все же, несмотря на то что он говорил тихим голосом и не размахивал руками, это был зверь, как вы увидите, — первобытное животное, глупый, свирепый дикарь времен, когда человек носил звериные шкуры и жил в пещерах, в соседстве с медведями и волками.

Луис Сервальос — мой друг, лучший из эквадорцев. Ему принадлежат три плантации какао в Наранхито и Чобо. В Милагро у него сахарная плантация. У него большие гациенды в Амбато и Латакунге, и он состоит пайщиком Компании нефтяных приисков побережья. Он просадил также немало денег на разведении каучуковых деревьев. Он современен, как янки, и, как янки, весь в делах. У него много денег, но они в разных предприятиях, и всегда ему нужны деньги для новых дел и для поддержания старых. Он везде побывал и все видел. Молодым человеком он был в американской военной академии, которую вы называете «Вест Пойнт». Там вышло недоразумение, и ему пришлось уйти. Он не любил американцев, но он любил Марию Валенсуэлу, она была его соотечественница. Кроме того, ему нужны были ее деньги для новых дел и для золотых копей в Восточном Эквадоре, на родине раскрашенных индейцев. Я был его другом, и мне хотелось, чтобы он женился на Марии Валенсуэле. К тому же я довольно много денег вложил в его дела, особенно в золотые прииски; они сулили большой барыш, но предварительно надо было вложить туда немало денег. Если бы Луис Сервальос женился на Марии Валенсуэле, я сразу

получил бы много денег, вам и не снилось такое количество.

Но Джон Харнед поехал за Марией Валенсуэлой в Кито, — и нам, мне и Луису Сервальосу, скоро стало ясно, что она всерьез увлечена Джоном Харнедом. Говорят, женщина любит настоять на своем, но в этот раз было не так. Мария Валенсуэла не настояла на своем с Джоном Харнедом. Возможно, что все произошло бы совершенно так же, если бы я и Луис Сервальос не сидели в тот день в ложе на бое быков в Кито, но мы там сидели.

И я расскажу вам, что случилось.

Мы сидели вчетвером в одной ложе как гости Луиса Сервальоса. Я сидел скраю, рядом с ложей президента. С другой стороны была ложа генерала Хозе Салазара. С ним были Хоакин Эндара и Урсисино Кастильо, оба генералы, полковник Хасинто Фьерро и капитан Бальтазар де Эчеверрия. Только при влиятельном положении Луиса Сервальоса можно было получить ложу рядом с президентом! Я знаю, что президент сам выразил дирекции желание, чтобы Луису Сервальосу отдали эту ложу.

Оркестр закончил исполнять национальный эквадорский гимн. Прошла процессия тореадо-

ров. Президент кивнул — начинать. Протрубил рог, и выбежал бык, — вы знаете, как это бывает: злой, ошалелый, с дротиками[2] в плечах, которые жгут, как огонь, он ищет, на кого бы броситься. Тореадоры ждали, спрятавшись за прикрытием. Вот они вбежали, сразу пятеро кападоров[3] с каждой стороны, с широко развевающимися цветными плащами. Бык остановился перед таким множеством врагов, не зная, на кого устремиться. Один из кападоров пошел быку навстречу. Бык разъярился. Передними копытами он взрывал песок на арене, так что пыль поднялась столбом. Потом он ринулся, опустив голову, прямо на кападора.

Первый натиск первого быка всегда интересен! Потом, естественно, все устают, и игра теряет свою остроту. Но эта первая атака первого быка! Джон Харнед не мог скрыть своего возбуждения, он видел это впервые: человека, вооруженного только клочком материи, и быка, мчащегося на него по песку с широко расставленными острыми рогами.

— Смотрите! — воскликнула Валенсуэла. — Раз-

---

[2] notes: 2

Дротик — короткое четырехгранное метательное копье.

[3] notes: 3

Кападоры — участники боя быков, раздражающие быка и отвлекающие в нужный момент его внимание развевающимися яркими плащами.

ве это не великолепно?

Джон Харнед кивнул, не глядя на нее. Его глаза сверкали и не отрывались от быка. Кападор шагнул в сторону, отмахнувшись плащом от быка и накинув его на плечи.

— Как вы находите? — спросила Мария Валенсуэла. — Не то ли это, что вы называете «настоящим спортом»?

— Именно так, — отвечал Джон Харнед. — Очень ловко устроено, блестящий номер…

В экстазе она хлопала в ладоши. У нее были очень маленькие ручки. Публика хлопала тоже. Бык повернулся и пошел назад. Снова кападор увернулся, накрывшись плащом, и опять публика захлопала. Это повторилось три раза. Кападор был великолепен! Наконец он удалился, и другие кападоры продолжали ту же игру, всаживая быку бандерильи[4] в плечи, по каждую сторону хребта по две сразу. Затем выступил Ордоньес, главный матадор, с длинной шпагой и в красном плаще. Трубы загудели во всю мочь. Он не так хорош, как Матестини, но все же он прекрасен, — одним ударом воткнул он меч в самое сердце быка, у быка подкосились ноги, он упал и умер. Это был

[4] notes: 4

Бандерилья — копье, иногда с цветными бумажными украшениями и лентами, употребляемое при бое быков.

чудесный удар, чистый и верный! Загремели аплодисменты, и многие в восторге бросали шляпы на арену. Мария Валенсуэла рукоплескала, как и все, — и Джон Харнед, холодное сердце которого осталось спокойным при виде этого зрелища, с любопытством посмотрел на нее.

— Вам это нравится? — спросил он.

— Всегда! — ответила она, продолжая хлопать.

— С детских лет, — вмешался Луис Сервальос. — Я помню ее на первом бое быков; ей было четыре года, она сидела с матерью и так же хлопала ручками, как сейчас. Она — настоящая испанка!

— Вы теперь видели, — обратилась Мария Валенсуэла к Джону Харнеду, в то время как к мертвому быку припрягли мулов, чтобы убрать его с арены, — вы видели бой быков, и он вам понравился, не правда ли? Что вы думаете об этом?

— Я думаю, что у быка не было шансов, — отвечал он. — Бык заранее обречен, исход не оставляет сомнений, — еще до выхода быка на арену всем известно, что он погибнет. Для спорта необходимо сомнение в благополучном исходе! И это был глупый бык, никогда не дравшийся с человеком, а на него выпустили пятерых мужчин, не раз дравшихся с быками! Не честнее ли было бы выпустить одного человека на одного быка?

— Или одного человека на пятерых быков, — сказала Мария Валенсуэла, и все мы расхохотались, а громче всех Луи Сервальос.

— Да, — продолжал Джон Харнед, — на пятерых быков; и человека, который, подобно быкам, раньше не бывал на арене, — человека вроде вас, сеньор Сервальос!

— И все же мы, испанцы, любим бой быков, — отозвался Луис Сервальос. (Я готов поклясться, что сам дьявол шепнул ему на ухо поступить так, как он поступил!)

— Вкус к этому нужно выработать в себе, — произнес Джон Харнед. — Вот мы в Чикаго убиваем ежедневно тысячи быков, но никто не платит денег за это зрелище.

— Там бойня, — возразил я, — здесь же… о, это искусство! Тонкое, изящное, редкое!

— Не всегда, — вмешался Луис Сервальос. — Я видел неловких матадоров и должен сказать, что это зрелище не из красивых.

Он вздрогнул, и на лице его появилось то, что вы называете отвращением. Я уверен, что в эту минуту дьявол что-то нашептывал ему и что он играл заранее обдуманную роль!

— Сеньор Харнед, может быть, я прав, — продолжал он. — Возможно, что это и нечестно по

отношению к быку. Разве мы все не знаем, что быку не дают воды целые сутки перед боем, и только перед выходом на арену дают пить сколько влезет?

— И он выходит на арену полный воды? — быстро спросил Джон Харнед, и взгляд у него стал серый, острый и холодный.

— Это необходимо для спорта, — объяснил Луис Сервальос. — Что же, вы хотели бы, чтобы бык был полон сил и убил тореадора?

— Мне хотелось бы, чтобы и у быка был шанс, — ответил Джон Харнед, глядя на арену, где появился второй бык.

Это был плохонький, трусливый бык. Он заметался по арене, ища, куда убежать. Кападоры вышли вперед и стали размахивать плащами, но бык уклонялся от нападения.

— Ну и глупый бык! — воскликнула Мария Валенсуэла.

— Простите, — возразил Джон Харнед, — но я нахожу его умным! Он знает, что не должен драться с человеком. Смотрите, он почуял смерть на арене!

И правда, бык, остановившись на том месте, где упал мертвым первый, зафыркал, стал нюхать мокрый песок и опять забегал по арене, под-

няв голову и заглядывая в физиономии тысячи людей, которые свистели, бросали в быка апельсинные корки и всячески ругали его. Запах крови заставил быка решиться, и он напал на кападора так неожиданно, что тот едва увернулся. Кападор набросил на быка свой плащ и спрятался за прикрытие; бык с треском ударился в стенку арены. Джон Харнед тихим голосом, как бы говоря сам с собой, произнес:

— Я пожертвую тысячу сукрэ на богадельню в Кито, если бык убьет сегодня человека…

— Вы любите быков? — улыбнувшись, спросила Мария Валенсуэла.

— Еще меньше я люблю таких людей, — ответил Джон Харнед. — Тореадор совсем не храбр, да он и не может быть храбрым. Смотрите, у быка уже высунулся язык, он измучен, а бой еще не начался!

— Это вода, — произнес Луис Сервальос.

— Да, это от воды, — подтвердил Джон Харнед. — Не лучше ли было бы подрезать быку поджилки перед тем, как выпустить?

Насмешка, прозвучавшая в словах Джона Харнеда, разозлила Марию Валенсуэлу. Но Луис Сервальос улыбнулся (так, что только я заметил это), и в ту минуту я окончательно понял, какую

игру он затеял. Я и он были бандерильеры, а в ложе с нами сидел большой американский бык. Нам предстояло колоть его дротиками, пока он не придет в ярость, и тогда, пожалуй, не состоится его брак с Марией Валенсуэлой. Это была интересная игра, а в нас ведь текла кровь любителей боя быков!

Бык теперь окончательно рассвирепел, и кападорам пришлось немало повозиться с ним. Он быстро поворачивался, порою так неожиданно, что оступался задними ногами, взрывая копытами песок, но все время попадал на развевающийся плащ и не причинял людям вреда.

— У него нет шансов, — твердил Джон Харнед, — он сражается с ветром.

— Ему кажется, что враг — это плащ, — объяснила Мария Валенсуэла, — смотрите, как умно кападор дурачит его!

— В этом его природа — бывать одураченным, — отвечал Джон Харнед. — Поэтому-то он и обречен сражаться с ветром. Тореадоры знают это, публика знает, вы знаете, я знаю — мы все заранее знаем, что он вынужден сражаться с ветром. Он один не знает этого по своей глупости. У него нет шансов!

— Очень просто, — произнес Луис Сервальос. —

Нападая, бык закрывает глаза, и поэтому…

— Человек отскакивает в сторону, а бык пробегает мимо? — перебил Джон Харнед.

— Да, — подтвердил Луи Сервальос, — именно так. Бык закрывает глаза, и человек знает это.

— А вот коровы не закрывают глаз, — сообщил Джон Харнед. — У нас дома есть джерсейская корова, — простая молочная корова; она хорошо расправилась бы с этой компанией.

— Но тореадоры не дерутся с коровами! — возразил я.

— Коров они боятся, — продолжал Джон Харнед.

— Да, — сказал Луис Сервальос, — они опасаются драться с коровами. Какая же была бы забава, если бы убивали тореадоров?

— Нет, было бы забавно, — ответил Джон Харнед, — если бы время от времени убивали тореадора. Когда я буду стариком и, пожалуй, калекой, и мне придется зарабатывать на жизнь, а тяжелым трудом я не могу заниматься, тогда я сделаюсь тореадором! Это легкое занятие для стариков и инвалидов!

— Да смотрите же! — воскликнула Мария Валенсуэла, наблюдая, как бык ловко бросился на кападора и тот отразил нападение, взмахнув пла-

щом. — Для этого требуется большое искусство!

— Верно, — согласился Джон Харнед, — но, поверьте, надо быть тысячекратно искуснее, чтобы отразить многочисленные и быстрые удары боксера, у которого глаза открыты и который наносит удары с умом! Притом же — бык совсем не хочет драться, он убегает!

Это был плохой бык: он опять закружился по арене, ища спасения.

— Вот такие быки иногда бывают очень опасны, — заметил Луис Сервальос. — Никогда не знаешь, что они сделают в следующую минуту. Они умны, такие быки, они наполовину коровы. Тореадоры не любят их. Смотрите, он снова повернулся!

Бык, обозленный стеной, которая не выпускала его, проворно кинулся на своих врагов.

— У него уже язык висит! — воскликнул Джон Харнед. — Сперва его поят водой, а потом дразнят — то один, то другой, заставляя сражаться с ветром. Пока одни изматывают его, другие отдыхают, быку же не дают передышки, и когда он вконец измучен и еле двигается, матадор пронзает его своей шпагой.

Между тем наступила очередь бандерильеров. Три раза один из них пытался воткнуть быку бан-

дерильо — и все три раза безуспешно: он только слегка поранил быка и привел его в ярость. Бандерильи (дротики) должны, как вы знаете, входить в тело по две сразу: у плеч, по обе стороны позвоночника и поближе к нему. Когда всажена только одна, это — неудача, толпа начала шикать, требовать Ордоньеса. И Ордоньес отличился на славу: он выбегал четыре раза — и все четыре раза с одного маху втыкал бандерильи, так что на спине быка их сразу выросло восемь штук. Толпа обезумела от восторга, и на арену посыпались градом шляпы.

И в это мгновение бык неожиданно устремился на матадора; человек поскользнулся и растерялся. Бык подхватил его — к счастью, человек очутился между его раскинутыми рогами. И в то время как публика, затаив дыхание, молча смотрела на это зрелище, Джон Харнед поднялся и радостно заревел. Один среди общего безмолвия Джон Харнед ревел! Он радовался за быка! Вы сами видите, Джону Харнеду хотелось, чтобы был убит человек! Зверь сидел в его сердце. Его поведение возмутило сидевших в ложе генерала Салазара, и они начали кричать на Джона Харнеда. А Урсисино Кастильо стал обзывать его прямо в лицо собакой-гринго и другими обидными

кличками. Однако они говорили по-испански, и Джон Харнед ничего не понял. Он стоял и вопил, может быть, десять секунд, пока быка не отвлекли на себя другие кападоры и упавший не поднялся невредимым.

— У быка ни единого шанса, — тоскливо проговорил Джон Харнед, садясь на место. — Человек остался невредим; они обманом отвлекли быка от врага! — Он повернулся к Марии Валенсуэле и произнес: — Простите, я погорячился!

Она улыбнулась и в знак укоризны хлопнула его веером по руке.

— Вы ведь в первый раз смотрите бой быков, — сказала она. — Когда вы посмотрите еще несколько раз, вы не станете радоваться смерти человека… Я вижу, вы, американцы, жестче нас. А все из-за вашего бокса! Мы ходим только смотреть, как убивают быка.

— Но мне хотелось бы, чтобы и у быка был шанс! — ответил он. — Вероятно, со временем меня перестанут возмущать люди, околпачивающие быка…

Опять раздались звуки труб. Ордоньес выступил вперед со шпагой и красным плащом; но бык, очевидно, раздумал и уже не хотел драться. Ордоньес топнул ногой, крикнул и взмахнул

своим красным плащом; бык бросился на него, но довольно вяло, без всякого воодушевления. Ордоньес неудачно ударил, шпага встретила кость и погнулась. Ордоньес взял новую шпагу. Бык, вновь вынуждаемый к бою, бросился на противника. Пять раз Ордоньес пытался нанести удар, но каждый раз шпага проникала неглубоко или натыкалась на кость; в шестой раз шпага вошла по рукоятку — и опять неудачно: она миновала сердце и насквозь прошла между ребер, высунувшись на пол-ярда из другого бока животного. Публика освистала матадора. Я посмотрел на Джона Харнеда: он сидел молча, без движения; но я видел, что зубы его крепко стиснуты, а руки впились в край ложи.

Бык потерял весь свой задор; удар был не смертелен, и он бегал прихрамывая: ему мешала шпага, торчавшая из тела. Он удирал от матадора и кападоров и кружился по арене, глядя на публику.

— Он говорит: «Ради Бога, выпустите меня отсюда; я не хочу драться!» — заметил Джон Харнед.

И все! Больше он ничего не сказал, а только смотрел на арену, временами косясь на Марию Валенсуэлу: как, мол, это ей нравится! А Марию возмущал матадор: он был неловок, а ей хотелось

интересного зрелища!

Бык совсем выбился из сил и ослабел от потери крови, но все не умирал. Он медленно ходил по арене, ища выхода. Он не хотел больше драться, довольно с него! Но его нужно было убить. На шее быка, за рогами, есть место, где позвоночник не защищен, и его можно мгновенно убить легким ударом в это место. Ордоньес подошел к быку и спустил свой красный плащ до земли. Бык не тронулся с места. Он тихо стоял и обнюхивал плащ, нагнув голову, и в это время Ордоньес ударил его в незащищенное место на шее; но бык поднял голову, и шпага миновала цель. Бык стал следить за шпагой. Когда же Ордоньес спустил плащ на землю, бык забыл о шпаге и, нагнув голову, стал обнюхивать плащ. Опять Ордоньес ударил — и опять неудачно. Он попытался снова и снова — это просто делалось глупо! Джон Харнед безмолвствовал. Наконец удар попал в цель, бык повалился и умер; привязали мулов и потащили его с арены.

— Гринго находят этот спорт жестоким, не так ли? — спросил Луис Сервальос. — Это бесчеловечно, нехорошо для быка, да?

— Нет, — ответил Джон Харнед, — не в быке дело. Нехорошо для тех, кто смотрит, это унизи-

тельно для них. Это учит их радоваться мучениям животного. Только трусы могут впятером нападать на одного глупого быка. И те, кто смотрит, научаются трусости. Бык умирает, но зрители остаются и получают урок трусости. Храбрость мужей никогда не воспитывается сценами трусости!

Мария Валенсуэла не произнесла ни слова. Она даже не взглянула на Джона. Но она слышала каждое слово и побледнела от гнева. Она смотрела на арену и обмахивалась веером. Но я видел, как дрожала ее рука. И Джон Харнед не смотрел на нее; он продолжал свое, как будто ее здесь не было. Он также был зол, холодно зол.

— Это трусливая забава трусливого народа! — проговорил он.

— А… — тихо спросил Сервальос, — вам кажется, что вы понимаете нас?

— Я понимаю теперь испанскую инквизицию, — ответил Джон Харнед. — Наверное, она была приятнее боя быков!

Луис Сервальос улыбнулся, но промолчал. Он посмотрел на Марию Валенсуэлу и понял, что бой быков в ложе выигран. Больше не будет она иметь дело с гринго, который произнес такие слова! Но ни я, ни Луи Сервальос не ожидали

того, что произошло в этот день. Я боюсь, мы не понимаем гринго! Как могли мы знать, что Джон Харнед, который все время был холодно зол, вдруг сойдет с ума? А он действительно сошел с ума, как вы увидите: не в быке было дело — он сам так сказал. Но почему же дело в лошади? Этого я понять не могу! Джон Харнед лишен был логики. Вот единственное объяснение…

— В Кито не принято выводить лошадей на бой быков, — проговорил Луис Сервальос, отводя глаза от афиши. — В Испании лошади всегда выступают в боях. Но сегодня, по особому разрешению, мы их увидим. Когда появится следующий бык, выедут и пикадоры на конях — знаете, всадники с копьями, верхом на лошадях[5].

— Бык заранее обречен, — сказал Джон Харнед, — и лошади также обречены!

— Им завязывают глаза, чтобы они не видели быка, — объяснил Луис Сервальос. — Сколько их было убито на моих глазах! Превосходное зрелище!

— Я видел, как убивают быка, — произнес Джон Харнед. — Теперь я увижу, как будут убивать лошадей, и вполне могу оценить все тонкости

---

[5] notes: 5
Обычно в Испании пикадоры начинают бой.

этого благородного спорта…

— Это же старые лошади! — продолжал объяснять Луис Сервальос. — Они ни на что другое не годятся!

— Я понимаю, — ответил Джон Харнед.

Появился третий бык и немедленно был окружен кападорами и пикадорами. Один пикадор стал как раз под нами. Действительно, лошадь под ним была старая и худая — мешок костей, покрытый шелудивой кожей.

— Удивительно, как бедное животное выдерживает тяжесть своего седока! — произнес Джон Харнед. — А какое же оружие у лошади, раз она дерется с быком?

— Лошадь не дерется с быком, — ответил Луис Сервальос.

— О, — воскликнул Джон Харнед, — так лошадь здесь присутствует только для того, чтобы бык ее забодал?.. Так вот почему у нее завязаны глаза: чтобы она не видела быка, когда он подойдет бодать ее!

— Не совсем так, — сказал я. — Копье пикадора не даст быку забодать лошадь.

— Так что лошади редко гибнут? — нетерпеливо допытывался Джон Харнед.

— О нет, — ответил Луи Сервальос. — Раз на

моих глазах в Севилье было убито восемнадцать лошадей в один день, публика шумела и требовала еще и еще!

— И они тоже были с завязанными глазами, как эта лошадь?

Луис Сервальос ответил утвердительно. Мы перестали разговаривать и устремили глаза на арену. Джон Харнед постепенно сходил с ума, а мы этого не замечали! Бык отказывался драться с лошадью, лошадь же стояла совершенно спокойно, она не видела, что кападоры натравляют на нее быка. Кападоры дразнили быка своими плащами, когда же он бросался на них, они прятались за лошадь и за прикрытия. Наконец бык достаточно рассвирепел и увидел перед собою лошадь.

— Лошадь не знает, лошадь не знает! — шептал Джон Харнед про себя, не замечая, что говорит вслух.

Бык бросился; лошадь, конечно, не знала ничего до тех пор, пока пикадор не промахнулся и она не очутилась на рогах у быка. Бык был необычайно силен, и зрелище получилось великолепное! Он высоко поднял лошадь на воздух, и когда она рухнула боком наземь, пикадор соскочил с нее и убежал, а другие пикадоры отвлекли быка от

лошади. Внутренности вывалились из ее брюха, но она с визгом поднялась на ноги. Этот визг лошади переполнил чащу; он окончательно свел с ума Джона Харнеда, заставив и его подняться на ноги! Я слышал, как он чуть слышно, но скверно выругался. Он не спускал глаз с лошади, которая, не переставая визжать, пыталась побежать, но свалилась и начала кататься на спине, лягая ногами воздух. И бык опять ударил ее и бодал до тех пор, пока она не издохла.

Джон Харнед выпрямился во весь свой рост; глаза его не были больше холодны, как сталь. В них пылал голубой огонь! Он смотрел на Марию Валенсуэлу, она на него — и на лице его было глубокое отвращение. Безумие овладело им! Все смотрели теперь на ложу, так как лошадь была уже мертва, а Джон Харнед был крупный человек, заметный издали.

— Сядьте, — произнес Луис Сервальос, — вы делаетесь посмешищем!

Джон Харнед ничего не ответил, он только сжал кулак и ударил Луиса Сервальоса по лицу так, что тот, как мертвый, упал на стулья и не поднялся больше. Он не видел дальнейшего — зато я видел много: Урсисино Кастильо перегнулся из своей ложи и ударил палкой Джона Харнеда прямо

по лицу, а Джон Харнед хватил его кулаком с такой силой, что тот, падая, опрокинул генерала Салазара! Джон Харнед был теперь в настоящем исступлении. Первобытный зверь, спавший в нем, вырвался на свободу и ревел — первобытный пещерный дикарь отдаленных веков.

— Вы пришли на бой быков? — услыхал я. — Так, клянусь Богом, покажу же я вам бой людей!

И был бой! Солдаты, охранявшие президентскую ложу, перескочили через барьер, но Джон Харнед выхватил у одного из них винтовку и начал колотить их по головам! Из другой ложи полковник Хасинто Фьерро стал палить в него из револьвера. Первый выстрел убил солдата; это я хорошо увидел. Второй попал Джону Харнеду в бок. Он выругался и всадил штык в полковника Хасинто Фьерро. Жуткое зрелище! Американцы и англичане зверски жестоки. Они высмеивают наш бой быков, а сами находят удовольствие в пролитии крови! Много людей было убито в тот день из-за Джона Харнеда, гораздо больше, чем за все время существования боя быков в Кито, в Гуаякиле и даже во всем Эквадоре!

И все это наделал визг раненой лошади! Почему Джон Харнед не сошел с ума, когда убили быка? Животное — только животное, будь это бык

или лошадь. Джон Харнед сошел с ума, другого объяснения нет. Он был сумасшедший, он был зверь. Судите сами, что хуже: то, что бык забодал лошадь, или что Джон Харнед штыком заколол полковника Хасинто Фьерро? Джон Харнед заколол и других. Бес в него вселился. Пронизанный пулями, он продолжал драться, и не легко удалось убить его. Мария Валенсуэла проявила мужество. Она не вскрикнула и не упала в обморок, как сделала бы другая женщина. Она спокойно сидела в ложе и смотрела на арену. Лицо ее побелело, она обмахивалась веером, но не оглядывалась.

Со всех сторон бежали солдаты, офицеры и просто публика, чтобы схватить обезумевшего гринго. Это правда: из толпы слышались возгласы, требовавшие перебить всех гринго! Это старый клич в Латинской Америке, где не любят гринго и их непонятные нравы. Такой крик действительно раздался! Но храбрые эквадорцы убили одного Джона Харнеда, а он убил семерых, не считая множества раненых! Я много раз бывал на бое быков, но никогда не видел более отвратительного зрелища, чем наши ложи после побоища. Словно участок поля сражения! Везде лежали убитые, раненые стонали, плакали, некоторые тут же умирали. Один человек, которого

Джон Харнед ранил в живот, уцепился в себя обеими руками и кричал. И говорю вам: этот крик был страшнее визга тысячи лошадей!

Нет, Мария Валенсуэла не вышла замуж за Луиса Сервальоса. Я очень жалею об этом: он был мой друг, и немалую часть денег вложил я в его предприятия. Только через пять недель врачи сняли повязку с его лица! И по сей день на его щеке под глазом красуется рубец, хотя Джон Харнед ударил его всего лишь кулаком, и то один раз. Мария Валенсуэла теперь в Австрии; говорят, она собирается замуж за эрцгерцога или что-то в этом роде, не знаю. Я думаю, она любила Джона Харнеда в то время, когда он ехал за ней в Кито на бой быков. Но почему лошадь? Вот что я хотел бы знать! Почему, глядя на быка, Харнед говорил, что не в быке дело, а потом внезапно и так страшно сошел с ума только от визга лошади? Не поймешь этих гринго. Просто варвары!

Когда мир был юным

I

Он был спокойный, хорошо владеющий собой человек. Сидя высоко на стене, он вслушивался в тишину окружающего мрака, как бы таившего в себе опасность. Но, кроме ветра среди невидимых деревьев и шелеста листьев на качающихся ветвях, до его слуха ничего не доносилось. Тяжелый туман клубился, подгоняемый ветром, и хотя он не мог видеть тумана, но влага ощущалась на лице и на стене, где сидел человек.

Он легко и беззвучно взобрался на стену со стороны дороги и так же легко спрыгнул на землю по другую сторону. Он вынул из кармана электрический фонарик, но не решился зажечь его, хотя кругом царил глубокий мрак. И этот мрак был ему приятнее света. Держа палец на кнопке фонарика, он пробирался вперед среди мрака. Земля под его ногами была бархатная, упругая благодаря покрывавшему ее густому слою сухой хвои и листьев; по ней, вероятно, уже много лет никто не ходил. Он по пути задевал ветви и сучья, но в такой тьме это было неизбежно.

Пришлось поэтому продвигаться с протянутой вперед рукой, которая то и дело натыкалась на толстые и массивные стволы огромных деревьев. Деревья теснились кругом, он чувствовал всюду их туманные очертания… У него было странное ощущение микроскопического ничтожества среди готовых раздавить человека громад. Он знал, что за деревьями находится дом, и думал набрести на ведущую к нему тропинку.

В одном месте ему показалось, что он попал в западню: куда бы он ни направлялся, всюду оказывались деревья и сучья, густая чаща кустарника; казалось, не было никакого выхода. Пришлось зажечь фонарик; медленно и осторожно наводил он белую полоску света на все препятствия, мешавшие продвигаться вперед. Он заметил между огромными стволами проход и, погасив свет, двинулся по направлению к нему, ступая по сухой тропинке, защищенной от влаги тумана навесом густых ветвей. Он чувствовал, что идет по верному направлению к дому.

И тут началось то необычайное и странное, чего он никак не мог предвидеть и вообразить. Он наступил ногой на что-то живое и мягкое, вскочившее с криком под тяжестью его тела. Он отскочил в сторону и притаился, ожидая нападе-

ния неизвестного врага.

Прошло несколько минут мучительного напряжения. Он был в полном недоумении относительно существа, которое выскочило из-под его ног и которое теперь, очевидно, где-нибудь скорчившись, неподвижно притаилось подобно ему. Напряжение стало нестерпимым. Он нажал кнопку фонарика, осветил пространство впереди себя и вскрикнул от ужаса. Он готов был увидеть все, что угодно, начиная от испуганного теленка или лани до свирепого льва; но то, что он увидел, было для него полной неожиданностью.

Яркий белый свет его маленького фонаря осветил перед ним то, чего он не мог бы забыть и за тысячу лет. Он увидел рыжебородого и рыжеволосого гиганта, совершенно нагого, если не считать мягких мокасинов и козьей шкуры вокруг бедер. Его руки и ноги были голы так же, как плечи и грудь. Под его гладкой и безволосой кожей вздувались, как жирные змеи, крепкие мускулы.

Но не это заставило его вскрикнуть. Что его привело в ужас — так это страшно свирепое лицо с диким, чисто звериным блеском голубых глаз, почти ослепленных светом фонарика, с запутавшимися в волосах и бороде сосновыми иглами — и вообще все огромное тело, приготовившееся

для нападения. Не успел он прийти в себя, как человек этот прыгнул. Он запустил в него фонариком, а сам припал к земле. Он почувствовал, как чьи-то ноги и бедра ударились об его ребра, и отскочил в сторону в то время, как перепрыгнувшая через него масса тяжело грохнулась в кусты.

Когда шум падения затих, он опустился на четвереньки и стал выжидать. Он слышал, как человек шарил вокруг, ища его, и решил не двигаться, чтобы не обнаружить своего присутствия. Он был уверен, что шорох в кустах выдаст его и он подвергнется преследованию. Он было вынул револьвер, но тут же отказался от своего намерения. К нему вернулось самообладание, он надеялся уйти без шума. Он слышал, как незнакомец бросался в чащу, ища его, временами останавливался и прислушивался. Опираясь одной рукой о кусок гнилого дерева, он вдруг поймал себя на одной мысли. Осторожно ощупав пространство вокруг себя и убедившись в том, что может размахнуться, он взял этот кусок и швырнул его со всего размаху. Кусок был небольшой и потому упал далеко, произведя шум в кустах. Незнакомец бросился туда же, а он поспешил уползти с этого места и до тех пор полз на четвереньках, пока не почувствовал под собой влажного чернозема.

Тут он прислушался: кроме воя ветра и шума падающих капель, ничего не было слышно. Он осторожно поднялся, подошел к каменной стене, перелез через нее и спрыгнул на дорогу.

Он вытащил из кустов свой велосипед и готовился уже сесть на него. Оставалось только двинуть машину, чтобы поймать ногой педаль, как вдруг он услышал, что кто-то легко соскочил вниз, очевидно, упав прямо на ноги. Не теряя времени, он побежал, держась за руль велосипеда, вскочил, наконец, в седло, поймал педаль и пустился полным ходом по дороге. Он слышал за собой быстрый топот ног по пыльной дороге, но он прибавил ходу и ушел от погони.

На беду он свернул в сторону от дороги в город и заехал в горы. Он знал, что здесь нет перекрестных дорог, а если вернуться назад, то надо было опять проезжать мимо того ужаса, на что он никак не решался. Дорога становилась все круче, и через полчаса ему пришлось слезть с велосипеда. Для большей безопасности он оставил велосипед при дороге, а сам перепрыгнул через изгородь. Он очутился на выгоне, разостлал газету на землю и уселся.

— Фу ты, черт! — проговорил он, отирая пот с лица. — Фу ты, черт! — повторил он, свертывая

папиросу и задавая себе мысленно вопрос, как ему вернуться домой. Но он не делал попыток вернуться. Он решил переждать здесь до рассвета, а пока что задремал, опустив голову на колени.

Сколько времени так прошло, он не знал: его разбудил лай молодого койота. Он огляделся и заметил койота на вершине холма, тянувшегося позади. За это время вокруг все изменилось. Туман рассеялся, звезды сверкали, луна светила, даже ветер утих. Стояла благоухающая калифорнийская летняя ночь. Он пытался вновь задремать, но лай койота ему мешал. Сквозь сон он услышал дикое, страшное пение. Взглянув, он увидел, что с горы быстро и молча мчится койот, а за ним во всю прыть, тоже молча, гонится голое создание, которое он видел в саду. Койот был молодой, и погоня, наверное, настигла его, когда они оба скрылись из виду. Человек весь дрожал от страха. Он вскочил на ноги, перепрыгнул через изгородь и сел на велосипед. Он решил воспользоваться моментом, когда между ним и Мельничной Долиной не было этого ужаса.

Сломя голову помчался он с горы, но внизу, на повороте, попал в яму, перекувырнулся через руль и растянулся на земле.

— Не везет мне нынче, — пробормотал он, раз-

глядывая поломанную часть велосипеда.

Вскинув на плечи бесполезную теперь машину, он потащился с ней вперед. Добравшись до каменной стены, он решил проверить случившееся с ним и стал искать следы на дороге. Действительно, в пыли виднелись следы широких мокасин, с глубоко вдавленными носками. Он все еще рассматривал их, наклонившись, когда опять услышал звуки жуткой песни. Он был свидетелем погони чудовища за койотом и знал, что ему, в случае чего, не уйти. Он и не пытался это сделать и только спрятался в тени, вправо от дороги.

И опять он увидел существо, похожее на голого человека, легко бегающего и поющего на ходу. Добежав до того места, где человек спрятался, существо остановилось, и сердце у человека замерло. Но вместо того, чтобы направиться к своему врагу, существо подскочило, ухватилось за сук придорожного дерева и стало легко взбираться на вершину его, перепрыгивая с сука на сук, как обезьяна. Оно перескочило через стену на высоте двенадцати футов над нею, перепрыгнуло на ветки другого дерева и исчезло, соскочив на землю. Человек подождал еще несколько минут, а потом двинулся в путь.

II

Дэйв Слоттер с решительным видом склонился над письменным столом, заграждавшим доступ в кабинет Джеймса Уорда, главного компаньона фирмы «Уорд, Ноулз и Ко». Дэйв злился. Все, находившиеся в этой комнате, подозрительно его оглядывали, особенно недоверчиво смотрел на него стоявший перед ним секретарь.

— Передайте мистеру Уорду, что я пришел к нему по очень важному делу, — настаивал он.

— Говорят же вам, — он диктует, и нельзя ему мешать, — ответил тот. — Приходите завтра.

— Завтра будет слишком поздно. Скажите мистеру Уорду, что дело идет о жизни и смерти!

Секретарь был в нерешительности, и Дйэв воспользовался этим.

— Скажите ему, что я прошлой ночью был в Мельничной Долине и что мне надо его предостеречь.

— Ваше имя!

— Дело не в имени, он меня все равно не знает!

Воинственное настроение Дэйва, в котором он не переставал пребывать, сразу с него слетело, когда он вошел в кабинет и увидел перед собой рослого рыжеволосого человека, который повер-

нулся к нему на вращающемся кресле, перестав диктовать стенографистке. Дэйв сам недоумевал, почему его настроение переменилось, и втайне был недоволен собой.

— Вы мистер Уорд? — задал он глупый вопрос, что вышло совсем неожиданно для него самого; и это обстоятельство еще больше разозлило его.

— Да, а вы кто?

— Гарри Бэнкрофт, — солгал Дэйв. — Вы все равно меня не знаете.

— Вы просили передать мне, что прошлой ночью были в Мельничной Долине?

— Ведь вы там, кажется, живете? — спросил Дэйв, подозрительно оглядываясь на стенографистку.

— Да. Что вам нужно от меня? Я очень занят.

— Мне нужно нечто сообщить вам с глазу на глаз, сэр.

Мистер Уорд бросил на него быстрый оценивающий взгляд и не сразу решился:

— Пожалуйста, мисс Потер, оставьте нас на несколько минут!

Девушка собрала свои заметки и удалилась. Дэйв смотрел на Джемса Уорда во все глаза, пока этот джентльмен не прервал течение его мыслей.

— Я вас слушаю.

— Прошлой ночью я был в Мельничной Долине, — нерешительно начал Дэйв.

— Я уже об этом слышал. Дальше!

Дэйв почувствовал, что в душе его уверенно растет какое-то совершенно необъяснимое предположение.

— Я был возле вашего дома или, во всяком случае, в ваших владениях.

— Что вы там делали?

— Я собирался вломиться к вам, чтобы обворовать вас, — откровенно признался Дэйв. — Я слышал, что вы живете там только с поваром-китайцем, и это меня привлекло. Но я не выполнил своего намерения, так как случилось нечто, помешавшее мне и из-за чего я нахожусь здесь. В ваших владениях я наткнулся на дикаря, бегающего на свободе, — настоящего дьявола! Он в состоянии растерзать на части малого вроде меня! Мне пришлось удирать от него. Он почти совершенно голый, по деревьям лазает, как обезьяна, а бегает не хуже оленя. Я видел, как он гнался за койотом, и готов поклясться, что он его догнал…

Дэйв умолк и следил за впечатлением, произведенным его рассказом, но был очень разочарован.

Лицо Джеймса Уорда выражало лишь спокойное любопытство.

— Очень, очень интересно. Так вы говорите — дикарь? А зачем мне нужно об этом знать?

— Чтобы предупредить вас об угрожающей вам опасности. Я сам человек не очень мягкий, в какой-то мере опасный, но не сторонник убийства людей… конечно, беспочвенного убийства. По-моему, вам угрожает опасность, и я решил вас предупредить. Могу вас уверить, что говорю правду. Конечно, если вам угодно будет вознаградить меня за беспокойство, я не откажусь. Я и об этом подумал. Но для меня и это не так уж важно; важно то, что вы предупреждены, и я исполнил свой долг.

Мистер Уорд задумчиво барабанил пальцами по столу. Дэйв отметил, что руки у него большие, сильные и хотя сильно загорелые, но выхоленные. Еще раньше он заметил на его лбу, над глазом, тонкую полоску липкого пластыря телесного цвета. В голове его промелькнула совершенно невероятная мысль.

Мистер Уорд достал из внутреннего кармана бумажник, вынул из него зеленую кредитку и протянул ее Дэйву, который спрятал ее в карман, успев заметить мимоходом, что это двадцать

долларов.

— Благодарю вас, — сказал мистер Уорд, давая понять, что свидание окончено. — Надо будет принять меры. Дикарь, бегающий на свободе, действительно опасен.

Невозмутимое спокойствие мистера Уорда придало смелости Дэйву, тем более, что у него в голове мелькнуло новое предположение. По-видимому, этот дикарь был братом мистера Уорда, может, быть, помешанный, которого прячут от людей. Он слыхал о таких случаях. Может быть, мистер Уорд хотел купить его молчание двадцатью долларами?

— Позвольте, — начал он. — Я сейчас припоминаю, что этот дикарь очень похож на вас…

Не успел Дэйв сказать это, как у него на глазах произошла необычайная метаморфоза: перед ним оказалось лицо с теми самыми свирепыми глазами, какие он видел ночью, те же когтеобразные скрюченные пальцы, то же гигантское тело, готовое прыгнуть. Но теперь у него не было фонаря, который можно было бросить в нападающего, и Дэйв ощутил оба свои бицепса в таких страшных тисках, что застонал от боли, он видел перед собой крупные белые зубы, оскаленные, как у собаки, готовой вцепиться. Борода мисте-

ра Уорда коснулась лица Дэйва, и зубы готовы были перекусить горло… Но этого не случилось. Дэйв почувствовал, что тело противника вдруг оцепенело, сдержанное усилием железной воли, а затем его отбросили без всякого усилия, но так стремительно, что он с размаху ударился об стенку и без сил рухнул на пол.

— Ты что это, вздумал заниматься вымогательством? Отдай назад деньги!

Дэйв беспрекословно вернул кредитку.

— Я думал, ты явился с добрыми намерениями. Теперь я тебя понял! Вон отсюда, чтобы духу твоего здесь не было, не то попадешь в тюрьму, где на самом деле тебе место. Понял?

— Да, сэр, — пробормотал Дэйв.

— Убирайся!

Дэйв молча двинулся к выходу, с отчаянной болью в обоих бицепсах после страшных тисков. Когда он взялся за дверную ручку, его остановили.

— Ты счастливо отделался, — сказал ему мистер Уорд, и Дэйв заметил, что в его лице и глазах сверкнул огонек злобного торжества. — Да, ты счастливо отделался. Я мог бы вырвать твои руки и выбросить их в эту корзину!

— Да, сэр, — ответил Дэйв, нисколько не сомне-

ваясь в справедливости сказанного.

Он распахнул дверь и вышел. Секретарь вопросительно посмотрел на него.

— Черт побери! — только и мог сказать Дэйв, покидая контору и дом.

III

Джемс Уорд был сорокалетний мужчина, очень удачливый делец, но глубоко несчастный человек. Сорок лет старался он разрешить загадку, кем же он являлся на самом деле, которая с годами становилась для него все мучительнее. Он воплощал в себе двух людей, хронологически разделенных между собой несколькими тысячелетиями. Без сомнения, он глубже изучил вопрос раздвоения личности, чем полдюжины выдающихся специалистов в этой загадочной и сложной психологической области. Сам он представлял собою совершенно исключительный тип, отличающийся от всего, что было известно до последнего времени. Самый фантастический полет писательского воображения не мог выдумать такого случая. Он не был похож на доктора Джекилла или мистера Хайда; ни на несчастного юношу из «Самой великой истории на свете» Киплинга. Его оба «я» были так тесно связаны

между собой, что каждое всегда чувствовало присутствие другого.

Одно существо, жившее в нем, было человеком современного воспитания, человеком конца девятнадцатого века и первого десятилетия двадцатого. Другое существо — дикарь и варвар первобытного мира, каким он был несколько тысячелетий назад. Но какое из двух «я» было его настоящим, он сам не знал, потому что оба «я» жили в нем одновременно. В редких случаях одно «я» не сознавало, что делает другое. У него никогда не было никаких видений и воспоминаний из той эпохи, когда жило его древнее «я»; оно жило в настоящем, но в то же время стремилось жить жизнью отдаленного прошлого.

В детстве своем он был загадкой для своих родителей и домашних врачей. Никто из них не приблизился к разгадке его необычайного поведения. Им, например, совершенно непонятна была его необычайная сонливость по утрам и такая же подвижность по ночам. Когда его увидели блуждающим ночью по коридорам или карабкающимся на высокие крыши или бегающим по горам, его посчитали лунатиком. В действительности же он совсем не спал, а просто бродил, движимый импульсом своего древнего «я». Когда

он однажды признался во всем одному настойчиво допрашивавшему его врачу, этот бездарный тупица назвал все «бреднями».

Как только наступали сумерки и вечер, он будто просыпался. Стены дома давили его, и он чувствовал себя как бы в тюрьме. Он слышал тысячи голосов из тьмы. Ночь звала его, ибо в этот период суток он превращался в ночного бродягу. Но никто из окружающих не мог этого понять, и сам он больше не пытался никому объяснять свое состояние. Все решили, что он лунатик, и принимали соответствующие меры, которые в большинстве случаев ни к чему не приводили. С годами он становился хитрее и умудрялся проводить большую часть ночей под открытым небом, удовлетворяя этим потребность своего второго «я», а отсыпался по утрам до полудня. Школа и утренние занятия в ней были ему невыносимы, и пришлось прибегнуть к послеобеденным занятиям у частных преподавателей, чтобы научить его хоть чему-нибудь. Только при этих условиях могло развиться и получить образование его второе «я».

Да, в детстве он представлял собой загадку. Это был настоящий маленький демон, бессмысленно жестокий и свирепый. Домашние врачи в глу-

бине души считали его нравственным уродом и дегенератом. Немногие его товарищи преклонялись перед ним как перед чудом, хотя все боялись его. В лазанье, плавании, беге никто не мог его перещеголять; вступать с ним в драку никто не отваживался — он был слишком силен и слишком свиреп.

Десяти лет отроду он бежал в горы, где целые семь недель наслаждался бродячей ночной жизнью, пока его не разыскали и не доставили домой. Каким чудом ему удалось прожить это время, сохранив жизнь и здоровье, оставалось для всех загадкой. Он никому не говорил о том, что убивал кроликов и ловил молодых и старых перепелов, которых пожирал сырыми, и о своих налетах на фермерские птичники. Никто также не знал о его пещерной берлоге, которую он устлал сухими листьями и травой и где в тепле и с комфортом спал до полудня в течение всего этого времени.

В колледже он отличался вялой сонливостью и тупостью в утренние часы и блестящими успехами в послеобеденное время. Благодаря тому, что параллельно со школьным учением он занимался сам по конспектам товарищей, ему кое-как удавалось преодолеть трудности утренних занятий, зато в послеобеденные часы он пожинал

лавры.

В футболе он был титан и наводил ужас на партнеров, во всех атлетических состязаниях был непобедим. Ему всегда можно было довериться, если им не овладевал припадок дикой, слепой ярости. Товарищи боялись вступать с ним в борьбу, особенно после того, как он однажды, торжествуя победу над противником, впился зубами ему в плечо.

Когда он, наконец, окончил колледж, отец послал его на ранчо в Вайоминг к своим скотоводам. Через три месяца удалые молодцы-ковбои телеграфировали отцу, чтобы он приехал и забрал сына: им стало невмоготу его присутствие. Когда отец прибыл, пастухи признались ему, что они предпочли бы иметь дело с каннибалами, с сумасшедшим, с гориллой, с серым медведем, с тигром-людоедом, чем с этим окончившим колледж молодым джентльменом с прямым пробором на голове. Была одна вещь, которая прорывалась у него временами, несмотря на полное забвение прошлой жизни его «я», — это язык. По какой-то игре атавизма у него остались в памяти обрывки языка, на котором его «я» говорило в давно прошедшие времена. В минуты радости, возбуждения или борьбы он вдруг начинал петь

какие-то варварские песни. Благодаря этому можно было определить время и место жизни второй половины его существа, жившей за несколько тысячелетий до нашего времени. Однажды он специально пропел несколько таких песен в присутствии профессора Верца, известного филолога, преподававшего древнесаксонский язык. При первых звуках этой песни профессор живо заинтересовался «этой помесью древнегерманских наречий». После второй песни профессор заволновался. Джемс Уорд закончил свой цикл песней, которая всегда неудержимо рвалась из его уст во время борьбы и драки. После этого профессор Верц заявил, что это древнегерманский, или древнетевтонский язык древнейшей эпохи, неизвестный ни одному ученому, который он не решался сам точно определить, но в реальном существовании которого нисколько не сомневался, ибо находил в нем общие корни с теми языками, которые он знал. Он осведомился у Уорда об источнике его песен и просил одолжить ему драгоценную книгу, в которой они приведены. Он к тому же спросил Уорда, почему тот разыгрывал невежду по части немецкого языка. Уорд, понятно, не мог ни уверить его в своем незнакомстве с языком, ни дать ему книгу. В результате после

нескольких недель тщательных просьб и переговоров профессор Верц охладел к Уорду, считая его лгуном и эгоистом, не желающим доставить ему великую радость проникновения в чудесный мир древнейшего языка, не известного ни одному ученому-филологу.

Несчастного юношу мало утешало то, что он наполовину был современным американцем, а наполовину — древним тевтонцем. Поскольку его американская половина почти не уступала в силе древнетевтонской, ему пришлось войти в компромисс с обеими половинами своего «я»; его первобытное «я» отсыпалось по утрам, после чего его второе, культурное и утонченное «я», жаждавшее любви и нормальной жизни, занималось делами наравне с другими людьми. Послеобеденное время и вечер посвящались одному «я», а часть ночи другому. Вторую половину ночи и утро он высыпался за обоих.

Утром он спал в постели, как всякий цивилизованный человек. Ночью он спал, как дикое животное, как и в ту ночь, когда Дэйв Слоттер наткнулся на него в лесу.

Добившись того, чтобы отец выделил ему часть своего капитала, он успешно и ловко повел свои дела, посвящая им все послеобеденное время. Его

компаньон занимался делами по утрам. Начало вечера он проводил в обществе других людей, но по мере приближения к девяти-десяти часам им начинало овладевать такое беспокойство, что он покидал общество до следующего дня. Его друзья и знакомые решили, что он отдает много времени спорту. Отчасти они не ошибались, хотя были бы немало удивлены, узнав, какого рода этот спорт, даже если бы им удалось увидеть его ночные погони за койотами в Мельничной Долине. Не верили и капитанам шхун, рассказывавшим, что они видели холодным зимним утром человека, плавающего в бурных водометах Пролива Енота или в водоворотах между Козьим Островом и Островом Ангела, в нескольких милях от берега.

В своем бунгало в Мельничной Долине он жил одиноко, в обществе только Ли Синга, повара-китайца, доверенного лица, знавшего многое о странностях своего хозяина, но не болтавшего об этом, так как его молчание хорошо оплачивалось. После ночных удовольствий, утреннего сна и завтрака, приготовленного Ли Сингом, Джемс Уорд переправлялся на пароме через залив в Сан-Франциско и отправлялся в клуб или в свою контору, как всякий нормальный коммерсант этого города. Но к концу вечера ночь начинала его звать.

Все его чувства необычайно обострялись. Слух становился более чутким: мириады ночных звуков нашептывали ему соблазнительные вещи. Если он в это время был один, он начинал бегать по комнате, как дикий зверь в клетке.

Однажды он решился влюбиться. Но больше он не позволял себе этого удовольствия, так как боялся себя. Молодая женщина, благосклонно принявшая его ухаживания, много дней носила на руках, плечах и кистях рук следы его ласк в ночные часы. Он сделал большую ошибку. Если бы он ухаживал в послеобеденное время, все прошло бы благополучно, как у нормального человека, ночью же он превращался в необузданного умыкателя женщин, древнего жителя дремучих тевтонских лесов. Этот опыт показал ему, что дневное ухаживание было бы успешнее, но в то же время убедился, что брак для него немыслим. Он с ужасом думал о том, что ему пришлось бы оставаться вместе с женой после наступления темноты.

Он решил прекратить всякие ухаживания, урегулировал свою двойную жизнь, занялся усерднее делами, на которых заработал миллион, избегал предприимчивых маменек, ловящих женихов для дочек, а также блестящих и увле-

кательных женщин всех возрастов, встречался с Лилиан Джерсдейл, стараясь не видеться с ней после восьми часов вечера. По ночам он гонялся за койотами и тщательно скрывал это от всех, исключая Ли Синга, а теперь еще Дэйва Слоттера. Его очень страшило то, что этот последний проник в тайну его двойного существования. Хотя тот получил от него здоровую встрепку, все же он мог разболтать. В конце концов это не могло долго оставаться тайной ни для кого.

Джемс Уорд решил повести решительную борьбу с сидевшим в нем тевтонским варваром и предпринял для этого целый ряд героических усилий. Он не отступал от своего плана встречаться с Лилиан только днем и ранним вечером. И вот наступил момент, когда она согласилась стать его подругой жизни на радость и горе, причем он про себя молил судьбу, чтобы горя не было. С этого времени он усердно принялся за тренирование своего «я» к предстоящему укрощению сидевшего в нем дикаря, и ни один борец не мог бы сравниться с ним в энергии и настойчивости. В числе его мероприятий было старание утомить себя в течение дня настолько, чтобы быть глухим к призывам ночи. Случалось, что среди дня он оставлял дела в конторе и отправлялся на охоту за

оленями в самые неприступные места. К ночи он утомлялся и оставался у себя. Дома он поставил десятка два приборов для гимнастики, и каждое упражнение проделывал сотни раз, в десять раз быстрее, чем всякий нормальный человек. Сделав уступку своей потребности в свежем воздухе, во втором этаже своего дома он устроил себе для спанья нишу с двойными решетками, которые не давали ему возможности убежать в лес. Ежедневно вечером Ли Синг запирал его там, а утром выпускал.

Наконец в августе он нанял в помощь Ли Сингу нескольких слуг и решился пригласить к себе в Мельничную Долину гостей. Его гостями были Лилиан с матерью и братом и еще с полдюжины общих друзей. Первые двое суток все шло гладко. На третий день в одиннадцать часов вечера, когда он заигрался в бридж, он имел полное право гордиться собой. Он ловко скрывал свое беспокойное состояние, но, к его несчастью, противницей с правой стороны была Лилиан Джерсдейл. Она была хрупкая, как нежный цветок, и в его специфически ночном настроении ее хрупкость разжигала его. Он не любил ее меньше, но у него возникла какая-то неодолимая потребность схватить ее, стиснуть и смять, — особенно, когда она

выигрывала.

Он подозвал одну из своих охотничьих собак, и в те минуты, когда его состояние становилось невмоготу, он гладил собаку и это приносило ему облегчение. Прикосновение пушистой шерсти животного давало ему минутное успокоение, и он мог довести партию до конца. Никто из окружающих не подозревал, какую борьбу с собой вел хозяин дома, он так беспечно смеялся и так небрежно и умело играл!

Когда расходились ко сну, он нарочно простился с Лилиан в присутствии других. Как только он остался один, запертый на ключ в своем ночном убежище, он удвоил, утроил и даже учетверил свои ежедневные упражнения, пока окончательно не обессилел, улегся на кушетку, чтобы уснуть и вместе с тем обдумать две вещи, не дававшие ему покоя. Одна касалась его упражнений. Получалась полная нелепость. Чем больше он упражнялся, тем сильнее он становился. Правда, этим он достигал того, что доводил свое ночное, тевтонское «я» до изнеможения, но это отодвигало роковой день, когда собственная сила станет ему бременем и он станет еще страшнее прежнего. Другая проблема касалась его предстоящего брака и тех мер, к которым ему придется прибе-

гать, чтобы не встречаться с женой после сумерек. С этими безнадежными мыслями он уснул.

Откуда появился в эту ночь огромный серый медведь — долго оставалось загадкой, пока не стало известно, что владельцы цирка «Братья Спрингс» из Сосалито долго и безуспешно искали Большого Бена, «величайшего гризли в неволе», который из тысячи имевшихся в его распоряжении окрестных бунгало удостоил своим посещением как раз Джемса Уорда. Мистер Уорд, очнувшись, увидал себя на ногах; его била лихорадка нетерпения, из уст его неудержимо рвался древний боевой клич. Снаружи доносился неистовый вой и лай собак. И среди этой массы звуков он отчетливо расслышал предсмертный вопль собаки, его собаки.

Не подумав надеть туфли, в одной пижаме он проломил запертую Ли Сингом дверь и бросился вниз по лестнице в окружающую тьму. Босыми ногами коснувшись песчаной дорожки подъезда, он вдруг остановился, направился к потайному местечку под лестницей, ему одному известному, и вытащил оттуда большую узловатую дубинку, без которой не обходилось ни одно из его похождений в горах. Между тем звуки борьбы и собачьего воя приближались, и он бросился

навстречу, размахивая тяжелой дубинкой.

Все население дома проснулось, и все собрались на широкой веранде. Кто-то зажег электричество, но, кроме испуганных лиц, ничего не было видно. За ярко освещенной дорогой подъезда деревья образовали черную стену непроницаемого мрака, но где-то в глубине его слышна была отчаянная борьба. Слышался адский вопль животных, страшное рычание и рев, звуки борьбы и наносимых ударов и треск и шуршание кустарника под тяжестью тел.

Огромный клубок борющихся тел выкатился из-за деревьев на дорогу перед зрителями. При виде этого зрелища миссис Джерсдейл вскрикнула и без сознания упала на руки сына. Лилиан стиснула в судороге перила, так что у ней надолго остались следы ссадин на концах пальцев; она со страхом всматривалась в рыжеволосого гиганта с диким взглядом, в котором она узнала своего жениха. Он размахивал в воздухе огромной дубиной и свирепо, но хладнокровно боролся с косматым чудовищем, крупнейшим экземпляром медвежьей породы. Одним взмахом своей огромной лапы зверь сорвал с Уорда пижаму и исцарапал его когтями до крови.

Лилиан Джерсдейл, конечно, испугалась за лю-

бимого человека, но и сам этот человек внушал ей своим видом немалый — и вполне понятный — страх.

Она никак не воображала, что всякие условности и приличный костюм с крахмальной сорочкой могут скрывать под собой такой великолепный экземпляр свирепого дикаря в лице ее жениха. Она и представления не имела о такого рода борьбе. Это было нечто несовременное, как был несовременным и этот человек, хотя она не сознавала этого. Это, бесспорно, не был мистер Джемс Уорд, один из крупных дельцов Сан-Франциско, — перед ней был неизвестный безымянный дикарь, свирепый и неотесанный, капризом случая возникший из бездны трех тысячелетий.

Собаки не переставали лаять и выть, не отставали ни на шаг от сражающихся, то нападая на медведя, то отвлекая его внимание на себя. Когда зверь, отбиваясь, поворачивался к ним, человек наскакивал на него и ударял его дубиной. Разъяренный зверь кидался на него, но человек, отскакивая и вертясь во все стороны, стараясь не мешать собакам, либо пятился, либо кружил то вправо, то влево. Собаки же, пользуясь удобным случаем, опять бросались к зверю и отвлекали

его внимание.

Конец наступил сразу. Повернувшись, гризли с маху ударил лапой собаку, перешиб ей два ребра и сломал спину, отшвырнув ее на двадцать футов в сторону, где она забилась на земле. Тут человек-зверь вконец рассвирепел. С пеной у рта и с диким нечленораздельным воплем схватил он дубину обеими руками и со всего размаха ударил по голове ставшего на дыбы медведя. Удар был такой страшной силы, что череп медведя не выдержал его, зверь рухнул на землю, и собаки бросились на него. Человек перескочил через них на тело убитого зверя, оперся на свою дубину и, освещенный белым светом электричества, запел дикую победную песнь на совершенно неведомом языке, столь древнем, что профессор Верц отдал бы за него десять лет своей жизни.

Гости, окликая его, бросились к бойцу, и из глаз древнего тевтона вдруг выглянул Джемс Уорт: он увидел прекрасную нежную девушку двадцатого века, которую он любил, и почувствовал, что что-то в нем оборвалось… Обессиленный, он, шатаясь, направился к ней, выронил дубину и чуть не упал. С ним творилось неладное. В мозгу его болезненно сверлило. Душа, казалось, разрывалась на части. Следуя за взорами окружающих,

он обернулся и увидел мертвую тушу медведя. Он пришел в ужас, дико вскрикнул и хотел убежать, но его окружили и увели в дом.

Джемс Уорд все еще является главой фирмы «Уорд, Ноулз и Ко». Но он уже не живет в деревне и не гоняется в лунные ночи за койотами. Древний тевтон умер в нем в ночь битвы с медведем в Мельничной Долине. Джемс Уорд теперь только Джемс Уорд; он не делит своего «я» с бродячим анахронизмом древнего мира. Он сделался настолько современным человеком, что познал всю горечь проклятия страха цивилизованных людей — он боится темноты, а о том, чтобы провести ночь в лесу, он без содрогания не может и думать.

В его городском доме образцовый порядок и всякие усовершенствования, и он проявляет большой интерес к разным приборам, оберегающим от воров. Дом опутан электрической проволокой, всяческими сигнализациями, так что ночью его гостям вздохнуть нельзя, чтобы не поднять тревоги. Он сам изобрел довольно сложный дверной замок без ключа, который можно носить с собой в кармане и мгновенно применять в нужных случаях. Несмотря на все это, жена не считает его трусом. Она знает, в чем дело, а он,

как всякий герой, избрал покой и почивает на лаврах. В его храбрости не сомневается никто из тех, кто стал свидетелями происшествия в Мельничной Долине.

Польза сомнения

I

Картер Уотсон, со свежим номером журнала под мышкой, медленно брел по улице, с любопытством озираясь кругом. Двадцать лет прошло с тех пор, как он был на этой самой улице, и изменения, которым она подверглась, были велики и поразительны. В ту пору, когда он, будучи мальчиком, постоянно шатался по улицам этого западного города, насчитывающего ныне триста тысяч душ, тот населяло всего лишь тридцать тысяч жителей. В те дни улица, на которой он сейчас находился, была мирным обиталищем, улицей благопристойного рабочего квартала. В этот же вечер он увидел, что она погрязает в пороке. На каждом шагу встречались лавчонки и притоны китайцев и японцев, вперемежку с притонами для белой «черни», и кабаки. Спокойная улица его юных лет превратилась в самый буйный квартал города.

Он посмотрел на часы. Половина шестого. В эти часы дня в таком районе все погружалось в сон, но ему хотелось еще понаблюдать. В течение

двух десятков лет, посвященных скитаниям и изучению социальных условий всех стран земного шара, родной город неизменно представлялся в его памяти приятным и здоровым уголком. Теперь же он стал свидетелем поразительной метаморфозы. Он обязательно продлит свою прогулку, чтобы убедиться, до какого позора мог пасть его город.

Еще одно обстоятельство: Картер Уотсон был наделен чуткой гражданской совестью. Будучи человеком независимым и состоятельным, он не был расположен расточать свою энергию на званые чаепития и затейливые обеды в светском обществе; он был равнодушен к актрисам, скаковым лошадям и другим подобного рода развлечениям. Он был немножко помешан на морали; он считал себя реформатором отнюдь не мелкого калибра, хотя деятельность его заключалась преимущественно в том, что он сотрудничал в толстых журналах и ежемесячниках и писал блестящие, умные труды о рабочем вопросе и обитателях трущоб.

Среди двадцати семи книг, вышедших под его фамилией, встречались такого рода заглавия: «Если бы Христос явился в Новый Орлеан», «Истощенный рабочий», «Жилищная рефор-

ма в Берлине», «Сельские трущобы в Англии», «Население Восточной Стороны», «Реформа в противовес революции», «Университетская организация как теплица радикализма», «Пещерные люди цивилизации».

Однако Картер Уотсон не был ни помешанный, ни фанатик. Он не терял головы, наталкиваясь на ужасы, которые он подвергал изучению и описывал. Не было в нем и ребяческого энтузиазма. Его выручал природный юмор, приобретенный им обширный опыт и консервативный философский темперамент. Он отнюдь не симпатизировал и молниеносным преобразованиям. Он полагал, что общество может совершенствоваться лишь путем мучительно долгих и болезненно тяжких процессов эволюции. Здесь не бывает ни резких остановок, ни мгновенных возрождений. Совершенствование человечества достигается ценой отчаянной борьбы и страданий, совершенно так же, как и все прошлые успехи в области социальных улучшений.

Но в этот летний вечер Картер Уотсон был полон любопытства. Продолжая свою прогулку, он остановился перед баром кричащего вида. Над ним красовалась вывеска «Вандом». Здесь было два входа. Одна дверь вела, очевидно, к буфетной

стойке. Этого входа Картер не стал исследовать. Другой ход вел в узкий коридор. Пройдя его, он очутился в огромной комнате, заставленной столиками и стульями. При тусклом освещении он различил в дальнем углу пианино. Заметив себе мысленно, что сюда нужно будет вернуться и поизучать категорию людей, выпивающих за этими многочисленными столиками, он стал обходить помещение.

Небольшой коридор из комнаты вел в миниатюрную кухню, где за столом сидел в одиночестве Пэтси Хоран, владелец «Вандома», торопясь проглотить свой ужин до наплыва вечерних дел. Пэтси Хоран был зол на весь мир. Утром он встал не с той ноги, и в течение всего дня все у него не ладилось. Если бы спросить его работников, они охарактеризовали бы его душевное состояние как хандру. Но Картеру Уотсону это было неизвестно. Когда он шел по коридорчику, угрюмый взгляд Пэтси Хорана случайно упал на журнал, который тот держал под мышкой. Пэтси не знал Картера Уотсона, не знал и того, что под мышкой у него иллюстрированный журнал. Удрученный хандрой, Пэтси решил, что незнакомец принадлежит к разряду тех назойливых субъектов, которые уродуют стены его заведения, заклеивая их ре-

кламами. Ярко раскрашенная обложка журнала показалась ему подобного рода рекламой. С этого и началась история. С ножом и вилкой в руках Пэтси набросился на Картера Уотсона.

— Убирайся прочь! — заревел Пэтси. — Знаю я ваши штучки!

Картер Уотсон оторопел. Человек вырос перед ним, как чертик из табакерки.

— Стены мои пачкать? — кричал Пэтси, изрыгнув ряд ярких и мерзких ругательств.

— Если я вас чем-нибудь неумышленно обидел…

Большего, однако, не удалось выговорить посетителю. Пэтси перебил его.

— Убирайся прочь! Заткни свою глотку! — изрек Пэтси, для большей выразительности сопроводив приглашение взмахами ножа и вилки.

В воображении Картера Уотсона на мгновение промелькнул образ вилки, воткнутой меж его ребрами; он понял, что поступит опрометчиво, если не «заткнет свою глотку», и быстро повернулся к выходу. Вид его покорного отступления, должно быть, еще более разъярил Пэтси Хорана, ибо этот достойный субъект, выронив из рук столовые принадлежности, ринулся на него.

Пэтси Хоран весил сто восемьдесят фунтов,

столько же весил и Уотсон. В этом отношении они были равны. Но Пэтси был напористый, грубый и неотесанный трактирный забияка, тогда как Уотсон был боксер. В этом заключалось преимущество последнего: сильно размахнувшись своей ручищей, Пэтси попал в пустоту. Уотсону следовало бы ударить слева наотмашь и бежать. Но Уотсон обладал и другим преимуществом: боксерский и другой опыт, приобретенные при изучении трущоб и гетто чуть не всего мира, научили его сдержанности. Он повернулся налево кругом и вместо того, чтобы нанести удар, нагнулся, избежав удара противника, и схватил последнего. Но на стороне Пэтси, нападавшего, как бык, была инерция, сообщенная разбегом, тогда как Уотсон, повернувшийся ему навстречу, не имел разгона. В результате оба всей тяжестью своих трехсот шестидесяти фунтов с грохотом треснулись об пол, причем Уотсон очутился под противником. Голова его касалась задней стены большой комнаты. Улица находилась в ста пятидесяти футах отсюда — надо было что-нибудь придумать. Прежде всего нужно было постараться избежать шума. У Картера не было желания попасть в газеты этого города — города его детства, где еще жили многие из родных и друзей

его семьи.

Он сомкнул свои руки вокруг тела лежавшего на нем человека, плотно сжал его и стал ждать помощи, которая должна была явиться в ответ на шум, вызванный падением. Помощь явилась: шестеро мужчин выбежали из-за стойки и полукругом выстроились около них.

— Уберите его, ребята, — сказал Уотсон. — Я его не трогал и не желаю вступать в драку.

Но полукруг хранил молчание. Уотсон держал противника и ждал. После ряда неудачных покушений причинить боль Пэтси предложил противнику:

— Пусти меня, и я от тебя отстану.

Уотсон отпустил его, но Пэтси, встав на ноги и наклонившись над своим лежачим недругом, приготовился драться.

— Вставай! — приказал Пэтси.

Голос его звучал грозно и неумолимо, подобно гласу божьему в день страшного суда, и Уотсон понял, что тут не приходится ждать пощады.

— Отойдите, и я встану, — ответил он.

— Вставай, джентльмен! — проговорил Пэтси; бледно-голубые глаза его зажглись гневом, и кулак сжался для сокрушительного удара.

В тот же миг он откинул ногу назад с наме-

рением ударить противника в лицо. Скрестив руки, Уотсон загородил лицо от удара и вскочил на ноги с такой быстротой, что успел схватить противника прежде, чем последний изловчился для удара. Держа его, он обратился к свидетелям:

— Уберите его от меня, ребята. Вы видите, что я не бью его. Я не хочу драться. Я хочу выбраться отсюда.

Круг оставался недвижим и безмолвен. Молчание принимало зловещий характер, и у Уотсона захолонуло сердце. Пэтси сделал попытку повалить его, кончившуюся тем, что Уотсон опрокинул Пэтси на спину. Вырвавшись, Уотсон вскочил на ноги и устремился к дверям. Однако круг людей стал стеной на его пути. Он обратил внимание на их лица — белые, как бы вылепленные из теста, лица людей, которые никогда не видят солнца, и понял, что люди, загородившие ему дорогу, — это ночные грабители, хищники городских дебрей. Его оттиснули назад к Пэтси, опять ринувшемуся на него с опущенной головой. Снова он обхватил врага и, пользуясь минутной передышкой, обратился к кучке людей. И опять его обращение не было услышано. И тогда он ощутил страх. Ему было известно много случаев подобного рода, когда в таких притонах одиночки

подвергались физическому насилию, — им ломали ребра, расшибали физиономии, избивали до смерти. Он понял также, что если хочет спастись, он не должен наносить ударов ни нападающему, ни его пособникам.

Справедливым негодованием запылала его душа. Семеро против одного — ни при каких обстоятельствах этого нельзя было бы назвать честной игрой. Он уже злился, в нем начал просыпаться дремлющий в душе всякого человека зверь, жаждущий боя. Но он вспомнил о своей жене и детях, о своей незаконченной книге, о десятке тысяч акров своего ранчо — горного пастбища, которое он так любил. Мимолетным видением сверкнуло перед ним голубое небо, золотое солнце, льющее свет на усеянные цветами луга, ленивый скот, по колено бродящий в ручьях, и плеск форелей в водяных струях. Жизнь была хороша — слишком хороша, чтобы рисковать ею под влиянием минутной вспышки звериной ярости. Короче говоря, Картер Уотсон несколько струсил и скоро остыл.

Его противник, мастерски взятый в тиски, силился сбросить его. Уотсон вновь положил его на пол, отскочил и был оттеснен расположившимися вокруг людьми с тестовидными

физиономиями; нагнув голову, он увернулся от кулаков Пэтси и принужден был снова обхватить его. Это повторилось несколько раз. Уотсон становился все спокойнее и увереннее, тогда как озадаченный Пэтси, бессильный справиться с врагом, все больше распалялся дикой яростью. Зажатый в тиски, он стал колотиться головой о противника. Для начала ударился лбом в нос Уотсона. В последовавших за этим схватках Уотсон прижимался лицом к груди Пэтси. Разъяренный Пэтси стал колотиться об его темя и таким образом подбил себе собственный глаз, нос и щеку. И чем больше изъянов причинял себе Пэтси, тем ожесточеннее колотился он о голову Уотсона.

Это одностороннее побоище продолжалось двенадцать-пятнадцать минут. Уотсон не нанес ни единого удара и лишь старался увертываться. Если он в минуты передышки, вертясь между столами, делал попытки приблизиться к выходу, люди с тестовидными лицами хватали его за полы и отбрасывали назад, под размахнувшиеся кулаки Пэтси. Время от времени — и это повторялось бесконечное число раз — он обхватывал Пэтси и клал его на лопатки, опять начинал кружить его и подталкивать к двери; в направлении этой цели он подвигался всякий раз на длину

упавшего тела.

В конце концов, потеряв шапку, с растрепанными волосами, окровавленным носом и подбитым глазом, Уотсон выскочил на тротуар и попал в руки полисмена.

— Арестуйте этого человека, — задыхаясь вымолвил Уотсон.

— Алло, Пэтси, — сказал полисмен, — из-за чего перепалка?

— Алло, Чарли, — был ответ. — Этот парень ходит…

— Арестуйте этого человека, полицейский, — повторил Уотсон.

— Пошел! Проваливай! — сказал Пэтси.

— Проваливай, — добавил полисмен. — Если не уйдешь, я тебя арестую.

— Не уйду, пока не арестуете этого человека. Он совершил на меня нападение, учинил ничем не вызванное насилие.

— Так ли было дело, Пэтси? — спросил полицейский.

— Нет. Я все расскажу тебе, Чарли, и, клянусь Богом, у меня есть на это свидетели. Сижу я это в своей кухне за миской супа, как вдруг входит этот парень и начинает шутки шутить. Сроду я его не видел раньше! Он был пьян…

— Поглядите на меня, полицейский, — протестовал возмущенный социолог. — Разве я пьян?

Полицейский окинул его грозно-враждебным взглядом и кивнул Пэтси головой в знак того, что тот может продолжать рассказ.

— Этот парнюга начинает со мной шутки шутить. «Я Тим Мак-Грэт, — говорит он, — и могу сделать с тобой все, что мне вздумается. Руки вверх!» Я улыбнулся, а он-то хвать — двинул меня раз и другой и пролил мой суп. Посмотрите на мой глаз. Я чуть живой!

— Как вы поступите, полицейский? — спросил Уотсон.

— Ступай, убирайся, — послышалось в ответ, — не то я наверняка арестую тебя.

В Уотсоне заговорили возмущенные гражданские чувства.

— Господин полицейский, я протестую…

В тот же миг полисмен схватил его, дернув за руку так свирепо, что чуть не опрокинул его на землю.

— Пойдем, ты арестован!

— Арестуйте же и его! — потребовал Уотсон.

— Как бы не так! — был ответ. — Ты зачем напал на него, когда он мирно ел свой суп?

II

Картер Уотсон был в бешенстве. Он не только подвергся беспричинному нападению, сильным побоям и аресту — все без исключения утренние газеты мрачно повествовали о его пьяной ссоре с владельцем пресловутого «Вандома». Ни одна печатная строка не сообщила правды и не соответствовала действительности. Пэтси Хоран и его приятели описали драку со всеми подробностями. Неоспорим был лишь тот факт, что Картер Уотсон был пьян. Трижды выбрасывали его вон в канаву — и три раза возвращался он назад, дыша гневом и яростью и грозясь разнести заведение вчистую.

«Выдающийся социолог арестован в пьяном виде» — гласил первый попавшийся ему на глаза заголовок на первой странице газеты; тут же красовался его собственный большого размера портрет. Другие заголовки гласили:

«Картер Уотсон домогается звания чемпиона!»

«Картер Уотсон получил по заслугам!»

«Известный социолог покушается на

разгром кафе сомнительной репутации!»

«Картер Уотсон побит Пэтси Хораном в три раунда!»

Выпущенный на поруки, Картер Уотсон на следующее же утро явился в полицейский суд в качестве ответчика в тяжбе: «народ против Картера Уотсона, обвиняемого в нападении на некоего Пэтси Хорана и избиении его». Но прежде чем приступить к делу, прокурор, которому платили за обвинение обидчиков народа, отвел Уотсона в сторону и завел с ним приватный разговор.

— Отчего бы не прекратить дело? — сказал прокурор. — Я дал бы вам такой совет, мистер Уотсон: обменяйтесь рукопожатием с мистером Хораном и покончите с вашей ссорой; мы же со своей стороны прекратим дело. Одно слово судье — и возбужденное против вас дело будет прекращено.

— Но я не желаю прекращать его, — последовал ответ. — Ваша обязанность как будто заключается в том, чтобы вести против меня обвинение, а отнюдь не в том, чтобы предлагать мне помириться с этим… этим субъектом.

— О, я буду обвинять вас по всем правилам! — резко возразил прокурор.

— Вам предстоит также вести обвинение и против этого Пэтси Хорана, — предупредил его Уотсон, — я хочу добиться, чтобы и его арестовали за учиненное на меня нападение и побои.

— Лучше бы вам обменяться рукопожатием и помириться, — повторил прокурор, и на этот раз в голосе его прозвучала едва ли не угроза.

Оба дела были назначены к слушанию через неделю у полицейского судьи Уитберга.

— У тебя нет шансов выиграть дело, — сказал Уотсону старый друг его детства, бывший издатель самой большой газеты города. — Каждому известно, что этот человек напал на тебя. Он пользуется самой дурной репутацией. Но последнее обстоятельство нисколько тебе не поможет. Оба дела будут замяты. Это потому, что ты — это ты, а не кто-нибудь другой. Обыкновенный человек на твоем месте получил бы обвинительный приговор.

— Но я не понимаю, — возражал сбитый с толку социолог. — Без всякого предупреждения этот человек напал на меня и жестоко избил. Я не нанес ему ни единого удара. Я…

— Это к делу не относится, — оборвал его собеседник.

— Что же в таком случае относится к делу?

— Я объясню тебе. В данный момент ты восстал против местной полиции и ловко слаженной политической машины. Кто ты такой? Этот город — не постоянное твое местожительство. Ты живешь в деревне. Здесь у тебя нет избирательного ценза. Еще меньше у тебя влияния среди избирателей. А владелец этого кабака командует многими избирателями в своем околотке — у него этих голосов, как бус на нитке.

— Этим самым ты хочешь сказать, что судья Уитберг способен нарушить святость своего звания и своей присяги, отпустив на волю это животное? — спросил Уотсон.

— Увидишь сам, — последовал суровый ответ. — О, он сделает все честь честью. Он вынесет архизаконное, архиюридическое решение, изобилующее всеми встречающимися в нашем лексиконе синонимами о праве и справедливости.

— Но существуют же газеты? — вскричал Уотсон.

— В настоящее время они не ссорятся с администрацией. От них тебе придется круто. Ты, надеюсь, видел, что они уже успели наделать тебе.

— Стало быть, эти молодчики не напишут прав-

ды в протоколе?

— Они напишут что-нибудь настолько приближающееся к истине, что публика им поверит. Знаешь ли ты, что они составляют отчеты по приказу свыше? Им прикажут изменить или подкрасить — и от тебя мало что останется, когда они сделают свое дело. Лучше теперь же ликвидировать все дело. Ты влопался в скверную историю.

— Но ведь дело назначено к слушанию?

— Скажи лишь слово — и они замнут его. Человек не может бороться с машиной, если он сам не опирается на машину.

III

Тем не менее Картер Уотсон оставался непреклонным. Он был убежден, что машина раздавит его, но он всю жизнь искал переживаний социального характера, а в данном случае перед ним было нечто совсем новое.

В утро судебного разбирательства прокурор вторично попытался уладить дело.

— Раз вы в таком настроении, мне придется пригласить юриста, который бы вел обвинение, — заявил Уотсон.

— В этом нет надобности, — сказал прокурор. — Народ платит мне за то, чтобы я вел обвинение,

и я буду его вести. Но позвольте разъяснить вам дело. У вас нет никаких шансов на выигрыш. Мы соединим оба дела в одно, и вам надо быть начеку.

Судья Уитберг произвел на Уотсона приятное впечатление. Довольно молодой, невысокий, в меру дородный, гладко выбритый, с умным лицом — он действительно казался весьма приятным человеком. Это благоприятное впечатление создавали улыбающиеся губы и морщинки смеха в уголках его черных глаз. Глядя на него и изучая его внешность, Уотсон был почти убежден в том, что его старый друг заблуждается.

Но Уотсон скоро разочаровался. Пэтси Хоран и два его приспешника дали под присягой целую кучу ложных показаний. Уотсон не поверил бы в возможность этого, если бы сам не стал очевидцам. Они отрицали самое существование остальных четырех свидетелей. Из двух свидетелей один заявил, что находился в кухне и наблюдал оттуда ничем не вызванное нападение Уотсона на Пэтси, тогда как другой, оставаясь за стойкой, был очевидцем второго и третьего вторжения Уотсона в кабак с целью добить ни в чем не повинного Пэтси. Ругань, которую они приписывали Уотсону, была так разнообразна

и невыразимо гнусна, что Уотсон почувствовал, как они этим портят свое собственное дело. Было так невероятно, чтобы он мог произносить подобные слова. Когда же они стали описывать зверские удары, которыми он осыпал физиономию бедного Пэтси, и стул, сокрушенный им во время тщетных попыток сразить последнего, Уотсону стало просто смешно, но вместе с тем и грустно. Судебное разбирательство превратилось в фарс, и он с грустью думал: сколько еще нужно человечеству подниматься, чтобы выбраться из этой грязи.

Уотсон не узнавал себя в человеке, каким его изобразили, да и худший враг его не признал бы его в забияке и драчуне, на которого давались свидетельские показания. Впрочем, как и во всех случаях запутанных лжесвидетельств, в отдельных версиях рассказа встречались пробелы и противоречия. Судья каким-то образом совсем не замечал их, а прокурор и поверенный Пэтси ловко их обходили. Уотсон не позаботился запастись собственным адвокатом, и теперь был рад, что не сделал этого.

Подойдя к пюпитру и собираясь приступить к изложению дела, он еще не утратил окончательно доверия к судье Уитбергу.

— Я случайно гулял по улице, ваша милость, — начал Уотсон, но судья перебил его:

— Мы собрались здесь не для того, чтобы рассматривать ваши предшествующие поступку действия! — закричал он. — Кто первый нанес удар?

— Ваша милость, — настаивал Уотсон, — у меня нет свидетелей этого столкновения, и удостовериться в правдивости моего рассказа вы сможете лишь в том случае, если я все расскажу до конца.

— Мы не собираемся издавать здесь журналов! — загремел судья Уитберг, взглянув на него с таким свирепым недоброжелательством, что Уотсон с трудом заставил себя поверить, что это тот самый человек, внешность которого он изучал несколько минут тому назад.

— Кто нанес первый удар? — спросил поверенный Пэтси.

Тут вмешался прокурор, потребовавший, чтобы ему объяснили, какое из двух дел, соединенных в одно, сейчас рассматривается и по какому праву адвокат Пэтси в этой стадии производства стал допрашивать свидетеля. Поверенный Пэтси отразил удар. Судья Уитберг заявил, что ему неизвестно о существовании двух дел, соединенных в одно. Все это потребовало выяснения. Разгоре-

лось генеральное сражение, закончившееся тем, что оба поверенных извинились перед судом и друг перед другом. Так развивалось дело, и Уотсону казалось, что он видит перед собой кучку карманных воришек, шныряющих вокруг честного человека и тормошащих его, пока другие вытаскивают кошелек. Машина была пущена в ход — вот и все.

— Зачем вы зашли в это место, пользующееся неблаговидной репутацией? — спросили его.

— За целый ряд лет, изучая экономику и социологию, я завел обыкновение знакомиться…

Только это Уотсон и успел вымолвить.

— Нам нет дела до ваших «ологий», — зарычал судья Уитберг. — Вопрос ясен. Дайте на него ясный ответ. Правда или нет, что вы были пьяны? В этом вся суть вопроса.

Когда Уотсон начал рассказывать, как Пэтси расшиб себе лицо, колотясь головой, Уотсона подняли на смех, и судья Уитберг снова насел на него.

— Понимаете ли вы значение присяги, которую вы принесли, торжественно обещав говорить на этом свидетельском месте только правду? — спросил судья. — Вы нам рассказываете какую-то сказку. Было бы чистым безумием, если бы че-

ловек нанес себе повреждение и продолжал наносить их себе, колотясь чувствительными частями своего лица о вашу голову. Вы — здравомыслящий человек. Ведь это противно здравому смыслу, не правда ли?

— В гневе люди теряют благоразумие, — мягко ответил Уотсон.

И от этого судья Уитберг почувствовал себя глубоко оскорбленным и воспылал справедливым гневом.

— Какое вы имеете право говорить это! — закричал он. — Ваше утверждение голословно. Это не имеет никакого отношения к делу. Здесь, сэр, вы лишь свидетель происшествий, обнаруженных судом. Суду нет никакого дела до ваших мнений о чем бы то ни было.

— Я лишь ответил на ваш вопрос, ваша милость, — смиренно протестовал Уотсон.

— Ничего подобного! — раздалось в ответ. — И позвольте мне предостеречь вас, сэр, позвольте мне предупредить вас, что подобная дерзость может быть истолкована как неуважение к суду. И да будет вам ведомо, что мы умеем соблюдать закон и правила вежливости в этой маленькой судебной камере. Мне стыдно за вас.

И пока длился начавшийся вслед за этим ме-

лочной юридический спор между поверенными, прервавший повествование Уотсона о событиях в «Вандоме», Картер без горечи, с веселым любопытством, но с некоторой печалью наблюдал, как перед ним вырастала во всем своем масштабе и во всех деталях машина, управлявшая страной, видел безнаказанное и бесстыдное взяточничество в тысячах городов, учиняемое паукообразными гадами, состоящими при этой машине. И здесь она перед ним в образе этой судебной камеры и судьи, угодливо склонившегося под давлением машины перед этим кабатчиком, располагающим массой голосов. Несмотря на свое ничтожество и подлость, это все же была одна из граней многоликого механизма, которая высилась колоссальной громадой во всех городах и штатах, бросая на страну тень от тысячи своих воплощений.

В ушах его звучала знакомая фраза: «Это, наконец, смешно!» В самый разгар спора он не мог как-то удержаться от короткого смешка, в ответ на что судья Уитберг поднял на него сердитый взгляд. Он пришел к убеждению, что эти жуликоватые адвокаты и буянящий судья в миллионы раз хуже лихих штурманов на третьеразрядных торговых судах: эти последние умели не только

задирать, но и защищаться. С другой стороны, эти мелкие жулики искали защиты под сенью закона. Сами они нападали, но не давали возможности отражать их удары, прячась за тюремные камеры и дубинки тупых полисменов — профессиональных бойцов и драчунов на жалованье. Но озлобления он не испытывал. Уродливость и карикатурность процедуры заставляла его забывать ее бесстыдство и грязь, к тому же он не был лишен спасительного чувства юмора.

Несмотря на всю травлю и мытарства, ему удалось в конце концов дать ясное и правдивое описание схватки, и, несмотря на явно пристрастный характер перекрестного допроса, ни одна мелочь его не была опровергнута. Совсем другой характер носил крикливый рассказ Пэтси и двух его свидетелей, полный явных лжесвидетельств.

Как защитник Пэтси, так и прокурор поддерживали обвинение, не представляя со своей стороны возражений. Уотсон протестовал против этой системы, но прокурор заткнул ему рот, заявив, что он общественный обвинитель и знает свое дело.

— Пэтси Хоран показал, что жизни его угрожала опасность, и он вынужден был прибегнуть к обороне, — гласило начало вердикта, вынесенного судьей Уитбергом. — Аналогичное показание

о себе дано и мистером Уотсоном. Каждый из них под присягой свидетельствует, что первый удар был нанесен противником; каждый клянется, что подвергся ничем не вызванному нападению со стороны противника. Одна из аксиом права гласит, что сомнение толкуется в пользу ответчика. В данном случае существует весьма основательное сомнение. Поэтому в деле «Народ против Картера Уотсона» сомнение толкуется в пользу вышеназванного Картера Уотсона, который тем самым освобождается от наказания. Аналогичные доводы приложимы к делу «Народ против Пэтси Хорана». Сомнение толкуется в его пользу, и он освобождается от наказания. Я рекомендую обоим ответчикам обменяться рукопожатием и помириться.

Первый заголовок на страницах вечерних газет, бросившийся в глаза Уотсону, гласил:

«Картер Уотсон оправдан!»

Во второй газете значилось:

«Картер Уотсон избежал штрафа».

Но венцом всего были следующие строки:

«Картер Уотсон — славный малый!»

В заметке говорилось, что судья Уитберг посоветовал обоим драчунам обменяться рукопожатием, что они и поспешили выполнить. Далее он прочел следующее:

«Что ж, дерябнем по маленькой по сему случаю? — промолвил Пэтси Хоран.

— Идет, — ответил Картер Уотсон.

И рука об руку они зашагали в ближайший бар».

IV

Приключение в целом не оставило никакой горечи в душе Картера Уотсона. Оно свелось к социальному переживанию нового порядка, и в результате Картером была написана еще одна книга, озаглавленная: «Полицейское судопроизводство. Опыт анализа».

Год спустя в одно летнее утро, находясь на своем ранчо, Картер слез с лошади и стал пробираться через небольшое ущелье с намерением посмотреть группу горных папоротников, посаженных им там предыдущей зимой. Достигнув вершины ущелья, он выбрался на одну из принадлежавших

ему усеянных цветами лужаек, очаровательный уединенный уголок, отгороженный от остального мира низкими холмами и группами деревьев. Тут он застал человека, по-видимому, вышедшего на прогулку из летней гостиницы, находившейся в маленьком городке на расстоянии мили. Они столкнулись лицом к лицу и узнали друг друга. Это был судья Уитберг. Налицо был явный факт нарушения границ чужого владения, ибо Уотсон, правда, не придававший этому значения, выставил на рубеже своих владений межевые знаки.

Судья Уитберг протянул ему руку, но Уотсон сделал вид, что этого не заметил.

— Политика — грязное дело, не правда ли, судья? — сказал он. — О да, я вижу вашу руку, но мне что-то не хочется пожать ее. Газеты сообщили, что после суда я обменялся рукопожатием с Пэтси Хораном. Вы знаете, что я этого не сделал, но позвольте мне сказать вам, что я в тысячу раз охотнее пожал бы руку ему и подлой свите его приспешников, нежели вам.

Судья Уитберг испытывал тягостное замешательство. Покуда он, откашливаясь и запинаясь, силился заговорить, Уотсона, следившего за ним, осенила внезапная причуда, и он решился на веселую, хотя и злую проделку.

— Не думал я, что встречу злопамятство в человеке столь просвещенном и знающем свет! — начал судья.

— Злопамятство? — возразил Уотсон. — Вот уж нет! Моей натуре несвойственно такое чувство. В доказательство этого разрешите мне показать вам нечто весьма любопытное, чего вы никогда не видели. — Пошарив на земле, Уотсон поднял камень с шероховатой поверхностью, величиной с его кулак. — Видите это? Смотрите на меня.

И с этими словами Картер Уотсон нанес себе сильный удар по щеке. Камень рассек щеку до кости, и кровь брызнула струей.

— Камень слишком остер, — пояснил он изумленному полицейскому судье, решившему, что тот сошел с ума.

— Я разотру малость. В таких делах главное — реализм.

Отыскав гладкий камень, Картер Уотсон несколько раз аккуратно ударил им себя по щеке.

— Ага, — бормотал он, — через несколько часов щека приобретает великолепную зелено-черную окраску.

— Вы не в своем уме, — пролепетал судья Уитберг.

— Не ругайтесь, — сказал Уотсон, — вы видите мое расшибленное и окровавленное лицо? Это вы сделали вашей правой рукой. Два раза вы ударили меня — бац! бац! Это зверское, ничем не вызванное нападение. Моя жизнь в опасности. Я вынужден защищаться.

Перед грозными кулаками противника судья Уитберг попятился.

— Только ударьте меня, и я прикажу вас арестовать, — пригрозил судья Уитберг.

— Это самое и я говорил Пэтси, — последовал ответ. — И знаете, что он сделал, услышав это?

— Нет.

— Вот что!

И в то же мгновение правый кулак Уотсона обрушился на нос судьи Уитберга, и этот джентльмен навзничь упал на траву.

— Вставайте, вставайте! — приказывал Уотсон. — Если вы джентльмен, вставайте! Вот что говорил мне Пэтси; вы это знаете.

Судья Уитберг отказался встать, но Уотсон поднял его за воротник пальто, поставил на ноги — лишь для того, чтобы подбить ему глаз и снова опрокинуть его на спину. После этого началось избиение по методам краснокожих индейцев. Судью Уитберга избивали не жалеючи, по всем

правилам мордобойной науки: били по щекам, давали затрещины, возили лицом по траве. В течение всего этого времени Уотсон демонстрировал, как это с ним самим проделывал Пэтси Хоран. Иногда, но с большой осторожностью, расшалившийся социолог наносил удар, оставлявший настоящие кровоподтеки, и раз, поставив бедного судью на ноги, он умышленно ударился своим носом о голову этого джентльмена. Из носа пошла кровь.

— Смотрите! — вскричал Уотсон, отступая на шаг и искусно размазывая кровь по всей манишке. — Вы это сделали. Вы это сделали своим кулаком. Это ужасно. Я избит до полусмерти. Я вынужден вновь защищаться.

И еще раз судья Уитберг натолкнулся своим лицом на кулак и был брошен на траву.

— Я арестую вас, — всхлипнул он на траве.

— Вот то же самое говорил я Пэтси.

— Зверское… хны-хны… и ничем не вызванное… хны-хны… нападение.

— Это самое говорил я Пэтси.

— Я вас арестую, не сомневайтесь.

— Скорее всего — нет, хоть я и побил вас!

С этими словами Картер Уотсон спустился в ущелье, вскочил на свою лошадь и отправился

в город.

Когда час спустя судья Уитберг, прихрамывая, добрался до своей гостиницы, он был арестован деревенским констеблем по обвинению в нападении и побоях по жалобе, поданной Картером Уотсоном.

V

— Ваша милость, — говорил на следующий день Уотсон деревенскому судье, зажиточному фермеру, получившему тридцать лет тому назад ученую степень в институте садоводства. — Ввиду того, что вслед за предъявленными мной обвинениями в учинении надо мной побоев этому Солю Уитбергу пришла фантазия обвинить меня в избиении его, я предложил бы, чтобы оба дела слушались вместе: свидетельские показания и факты в обоих случаях совершенно одинаковы.

Судья согласился, и оба дела разбирались одновременно. В качестве свидетеля обвинения Уотсон выступил первым и так излагал происшествие.

— Я рвал цветы, — показывал он, — свои цветы на моей собственной земле и не помышлял ни о какой опасности. Вдруг этот человек ринулся на меня из-за деревьев. «Я Додо, — говорил он, — и

могу исколотить тебя в пух и прах. Руки вверх!» Я улыбнулся, но тут он — бац! бац! — как хватит меня — сшиб меня с ног и рассыпал мои цветы. И ругался он — страх! Это — ничем не вызванное зверское нападение. Смотрите на мою щеку, смотрите, какой у меня нос. Все совершенно непонятно. Должно быть, он был пьян. Не успел я прийти в себя от изумления, как он начал меня избивать. Жизни моей грозила опасность, и я вынужден был защищаться. Вот и все, ваша милость; хотя должен сказать, что я до сих пор еще нахожусь в недоумении. Почему он назвал себя «Додо»? Почему он без какой-либо причины напал на меня?

Таким образом Солю Уитбергу был дан полновесный урок лжесвидетельства. С высоты своего кресла ему часто приходилось снисходительно выслушивать лжесвидетельства в подстроенных полицией делах; но впервые лжесвидетельство оказалось направленным против него самого, причем он уже не председательствовал на суде, имея за собой судебных приставов, полицейские дубинки и тюремные камеры.

— Ваша милость, — возопил он, — никогда еще мне не доводилось слышать подобного количества лжи, нагороженной таким бесстыдным

вруном!

Тут Уотсон вскочил на ноги.

— Ваша милость, я протестую! Дело вашей милости решить, где правда и где ложь. Свидетель, в свою очередь, должен давать показания о тех событиях, которые имели место в действительности. Его личное мнение об общем положении вещей или обо мне не имеет никакого отношения к делу.

Судья почесал себе голову и флегматически принял негодующий вид.

— Совершенно верно, — решил он. — Меня изумляет, мистер Уитберг, то, что вы, претендуя на звание судьи и будучи искушенным в юридической практике, все же провинились в таких незаконных поступках. Ваши повадки, сэр, и ваш образ действия выдают в вас сутягу. Перед нами простой случай нападения и побоев. Нам надо решить, кто нанес первый удар, и нам нет никакого дела до той оценки личных свойств мистера Уотсона, которую вы даете. Продолжайте.

Судья Уитберг с досады прикусил бы свою ушибленную и распухшую губу, если бы она и без того не болела. Но он сдержал себя и изложил дело ясно, правдиво и верно.

— Ваша милость, — сказал Уотсон, — я пред-

ложил бы вам спросить его, что он делал в моих владениях.

— Разумный вопрос. Что вы делали, сэр, во владениях мистера Уотсона?

— Я не знал, что это его владения.

— Это было нарушение чужих границ, ваша милость, — вскричал Уотсон. — Знаки выставлены на видном месте.

— Я не видел знаков, — сказал Соль Уитберг.

— Я сам видел их! — резко возразил судья. — Они бросаются в глаза. Должен предупредить вас, сэр, что если вы в таких мелочах будете уклоняться от правды, то вызовете подозрение по главным пунктам ваших показаний. Почему вы ударили мистера Уотсона?

— Ваша милость, как я уже говорил, я не нанес ему ни одного удара.

Судья посмотрел на расшибленное и распухшее лицо Картера Уотсона и устремил грозный взгляд на Соля Уитберга.

— Посмотрите на щеку этого человека! — загремел он. — Если вы не нанесли ему ни одного удара, то почему он так обезображен и изранен?

— Как я уже говорил…

— Будьте осторожны, — предостерег его судья.

— Я буду осторожен, сэр, я буду говорить только

правду. Он сам ударил себя камнем. Он ударил себя двумя разными камнями.

— Разумно ли, чтобы человек — любой человек, если он только не душевнобольной, — нанес себе такие повреждения и продолжал наносить их, расшибая камнем чувствительные части своего лица? — спросил Картер Уотсон.

— Это звучит, как волшебная сказка, — заметил судья. — Мистер Уитберг, вы тогда выпили?

— Нет, сэр.

— Разве вы никогда не выпиваете?

— При случае.

Приняв утонченно-глубокомысленный вид, судья задумался над этим ответом.

Уотсон воспользовался моментом, чтобы подмигнуть Солю Уитбергу, но, претерпев столько оскорблений, этот джентльмен не видел ничего смешного в своем положении.

— Крайне странный случай, весьма странный случай, — объявил судья, приступая к чтению приговора. — Показания обеих сторон совершенно противоречивы. Кроме главных лиц, нет иных свидетелей. Каждый из них утверждает, что нападение совершил другой, и у меня нет формальной возможности установить истину. Но у меня создалось свое личное мнение, мистер

Уитберг, и я посоветовал бы вам не приближаться к владениям мистера Уотсона и уехать подальше из этой части страны.

— Это возмутительно! — брякнул Соль Уитберг.

— Остановитесь, сэр! — приказал громовым голосом судья. — Если вы еще раз перебьете судью таким манером, я оштрафую вас за неуважение к суду. И предупреждаю — сильно оштрафую! Сами будучи судьей, вы должны уметь блюсти достоинство суда. Сейчас я прочту приговор.

Одна из статей закона гласит, что сомнение толкуется в пользу ответчика. Как я уже говорил — и повторяю — у меня нет формальных способов установить, кто нанес первый удар. Поэтому, к моему великому сожалению, — тут он сделал паузу и грозно посмотрел на Соля Уитберга, — по каждому из этих дел я вынужден толковать сомнения в пользу ответчика… Джентльмены, вы оба свободны.

— Что ж, может, выпьем по сему случаю? — обратился Уотсон к Уитбергу, когда они вышли из суда, но этот оскорбленный субъект отказался обменяться рукопожатием и пойти в ближайший кабак.

Крылатый шантаж

Питер Уинн, с комфортом развалившись в библиотечном кресле и закрыв глаза, погрузился в размышления о плане кампании, в которой он намеревался разгромить в ближайшем будущем своих финансовых противников. Основная мысль возникла у него еще прошлой ночью, а теперь он упивался уточнением мельчайших деталей. Захватив в свои руки надзор за одним провинциальным банком, двумя оптовыми складами и несколькими лесосплавными предприятиями, он мог еще получить в свое ведение большую водно-силовую установку. Идея была настолько проста, что он чуть не расхохотался, когда она пришла ему в голову. Неудивительно, что его старинные, чересчур хитрые недруги не додумались до простой штуки!

Дверь библиотеки раскрылась: вошел тощий, средних лет мужчина. Он был близорук и носил очки. В руках у него был конверт и распечатанное письмо. Как секретарь Питера Уинна, он обязан был распечатывать, сортировать и распределять корреспонденцию своего хозяина.

— Пришло с утренней почтой, — извиняясь

и слегка хихикая, произнес он. — Понятно, это чепуха; но мне казалось, что вам интересно будет взглянуть.

— Читайте, — приказал Питер Уинн, не открывая глаз.

Секретарь прокашлялся.

— Датировано семнадцатым июля, но без адреса. Почтовый штемпель Сан-Франциско. Написано совершенно безграмотно, орфография невероятная. Вот что в письме:

> Мистеру Питеру Уинну.
>
> Сер, почтительно пасылаю вам пантового голубя, каторый стоит больших денег. Это лу-лу.

— Что такое «лу-лу»? — прервал Питер Уинн.

Секретарь хихикнул.

— Не имею представления. Должно быть, превосходная степень чего-то. Вот что написано дальше:

> Не Аткажити нагрузить ево парой кредитных билетов по тыще долларов — И атпустите Ежели вы это зделаете, я никогда больше ни побезпокою вас в противном случае — вы пожилеите.

— Вот и все, и без подписи. Я думал, это вас позабавит.

— А голубь здесь? — спросил Питер Уинн.

— Я не догадался спросить.

— Так узнайте!

Через пять минут секретарь вернулся.

— Да, сударь, голубь прилетел этим утром.

— Принесите его!

Секретарь готов был обратить происшествие в шутку, но Питер Уинн, осмотрев голубя, пришел к иному выводу.

— Посмотрите на него, — говорил он, гладя и лаская голубя. — Какое длинное туловище и продолговатая шея. Настоящий почтовый голубь! Кажется, я лучших и не видывал. Какие мощные крылья и мускулы! Правильно пишет наш анонимный корреспондент, что он лу-лу. Хочется даже задержать его!

Секретарь хихикнул.

— Почему нет? Не отпустите же вы его обратно к автору письма?

Питер Уинн отрицательно покачал головой.

— Я отвечу. Я никому не позволю угрожать мне, будь то анонимно или в шутку!

На клочке бумаги он написал краткий, но выразительный ответ: «Убирайтесь к черту!»,

подписался и положил бумажку в специальное приспособление, которым голубя предусмотрительно снабдили.

— А теперь отпустим его. Где мой сын? Я бы хотел, чтобы он проследил полет голубя.

— Он в мастерской. Он провел в ней всю ночь и просил утром прислать туда завтрак.

— Сломает он себе шею! — проворчал Питер Уинн раздраженно, но с некоторой гордостью и вышел на террасу.

Став наверху широкой лестницы, он подбросил красавца-голубя вверх. Голубь взмахнул крыльями, с минуту трепетал на месте в нерешимости, затем взлетел.

В вышине он как бы заколебался, потом, найдя, как видно, направление, полетел на восток, через дубовые рощицы.

— Великолепно, великолепно! — шептал Питер Уинн. — Я почти жалею, что отпустил его.

Но Питер Уинн был очень занятой человек; в его голове роилось множество планов, а в руках было столько вожжей, что он скоро позабыл инцидент. Через три дня левый флигель его дачи был взорван. Взрыв был не очень силен, никто из людей не пострадал, но флигель разнесло. С первым же пароходом утром примчалось с пол-

дюжины сыщиков из Сан-Франциско, а спустя несколько часов секретарь в сильном возбуждении ворвался к Питеру Уинну.

— Он опять здесь! — пролепетал он, задыхаясь, выпучив под очками глаза и обливаясь потом.

— Кто здесь? — спросил Питер Уинн.

— Он… он… голубь «лу-лу»!

Финансист понял.

— Вы уже разобрали почту?

— Только начал, сударь.

— Так продолжайте, — может быть, найдете второе письмо от нашего таинственного друга-голубятника!

И письмо оказалось! В нем было:

Мистеру Питеру Уинну

Уважаимый сер, бросьти глупить! Ежели бы вы исполнили Мою просьбу сразу, ваш Хлигел не был бы взорван. Пачтительно извищаю вас, что опять посылаю голубя. Обращайтись с ним Асторожно, зарании благодарю вас Привижите к ему пять тысяч долларовых билетов и Атпустите. Не кормити ево. Не пытайтесь приследовать ево. Голубь теперь Харашо знаит дорогу — и политить, не теряя

время. Ежели не послушайтесь, — берегитесь.

Питер Уинн искренно возмутился. На этот раз он не послал записки с голубем. Вместо этого он созвал сыщиков и, по их совету, нагрузил голубя дробью. Поскольку в первый раз голубь полетел на восток, к заливу, то отряжена была самая быстроходная моторная лодка в Тибурне следить за птицей, если она полетит через залив.

Но дроби переложили, и голубь устал, прежде чем долетел до берега. Теперь сделали другую ошибку: положили слишком мало дроби, и он взвился высоко в воздух, взял направление и полетел на восток, через залив Сан-Франциско. Он направился через остров Ангела, и здесь моторная лодка потеряла его из виду, так как ей пришлось объезжать остров кругом.

В эту ночь вооруженные патрули оберегали имение. Но взрыва не было. Зато рано утром Питер Уинн был извещен по телефону, что дом его сестры в Аламеде сгорел дотла. Через два дня голубь опять явился; на этот раз он прибыл в товарном вагоне, в бочке из-под картофеля. С ним пришло письмо:

Мистеру Питеру Уинну.

Уважаимый сер, эта я сжег дом вашей сестры. Вы сами вызвали всю эту сумятицу. Пришлите теперь десить тысич.

Буду павышать все время. Не привязывайте слишком чижолый груз птице. Все равно вы не выследит ее Зачем мучить животных.

Питер Уинн почти готов был признать себя побежденным, сыщики были бессильны, и Питер не знал, откуда грянет следующий удар, может быть, смертельный для кого-нибудь из близких и дорогих ему. Он даже затребовал по телефону десять тысяч долларов билетами крупных купюр. Но у Питера был сын Питер Уинн Младший, с такой же, как у отца, крепкой челюстью и с такой же непреклонной волей во взгляде. Ему было двадцать шесть лет, это был вполне зрелый человек, постоянный источник тайных страхов и восторгов финансиста, у которого восхищение авиационными открытиями сына сменялось страхом за его жизнь.

— Подожди еще, отец, не посылай денег, — настаивал Питер Младший. — Номер Восьмой готов, я добился возможности регулировать размах крыльев. Приспособление действует, оно

внесет переворот в авиацию. Скорость — вот что самое главное, также и широкие несущие поверхности для подъема и набирания высоты. Я достиг того и другого! Поднявшись вверх, я могу расширить крылья, уменьшить их поверхность. Вот так! Чем меньше несущая поверхность, тем больше скорость. Это закон, открытый Ланглеем, и я его применил! Я могу подниматься и в тихую погоду, когда воздух полон ям, и в бурю; скорость аэроплана в моих руках, я могу развить ее как хочу, особенно с этим новым мотором Сэнгстер-Энгольма.

— Ты свернешь себе шею на этих днях, — поощрительно заметил отец.

— Нет, папа, говорю тебе, я могу развивать скорость в девяносто миль в час, право! И даже все сто! Послушай только! Я думал предпринять пробный полет завтра, но могу сделать его сегодня часа через два. Я поднимусь после полудня. Спрячь пока деньги! Дай мне голубя, и я прослежу его до самого дома, где бы этот дом ни находился. Подожди, я только переговорю с механиком!

Войдя в мастерскую, он начал распоряжаться таким решительным и уверенным тоном, что растрогал старика. Да, его единственный сын был подлинный отпрыск старого дерева, цену

которому Питер Уинн хорошо знал!

Ровно через два часа молодой человек был готов к полету. В кобуре лежал большой заряженный револьвер. Тщательно осмотрев аэроплан в последний раз, он занял свое место. Он включил мотор, и прекрасная машина с жужжанием и пыхтением устремилась вверх. Поворачивая на лету к западу, он кружил и маневрировал, готовясь к принятию надлежащего направления.

Направление зависело от голубя. Питер Младший держал птицу в руках. К ней не подвесили на этот раз дроби, а вместо того привязали к ноге кусок яркой ленты, чтобы за ней легче было следить. Питер Младший выпустил птицу, и она легко поднялась в воздух, не смущаясь лентой. Голубь летел вполне уверенно. Он уже в третий раз проделывал этот путь, хорошо зная дорогу.

На высоте нескольких сот футов голубь полетел прямо на восток. Аэроплан также изменил курс и полетел в том же направлении. Гонка началась. Питер Уинн, взглянув вверх, увидел, что голубь обгоняет. Но он видел и другое: аэроплан мгновенно уменьшился в размерах; крылья были расширены, и теперь обнаружилась вся его быстроходность. Вместо огромного аэроплана, который на широких крыльях поднялся вверх,

теперь в воздухе качался на длинных, невероятно узких крыльях миниатюрный, похожий на ястреба моноплан.

Когда Питер Уинн быстро расширил крылья аэроплана, он был приятно поражен результатом. Это было первое испытание его изобретения, и хотя он и ожидал увеличения скорости, но не был готов к столь поразительному ее увеличению. Результат превзошел самые смелые его мечты! Он не успел опомниться, как уже стал догонять голубя. Бедная птица, испуганная исполинским ястребом, какого ей никогда не приходилось видеть, взмыла еще выше, как это всегда делают голуби, норовящие подняться выше врага.

Большими зигзагами взвился моноплан вверх, все выше и выше в синеву неба. Трудно было снизу следить за голубем, но молодой Уинн не спускал с него глаз. Он еще расширил крылья, чтобы подниматься быстрее. Выше и выше поднимались они, пока голубь, верный своему инстинкту, не упал на спину воображаемого ястреба. Удара о скользкую безжизненную поверхность машины было достаточно, чтобы голубь перестал подниматься вверх и взял первоначальное направление на восток.

Почтовый голубь, возвращаясь с поручением,

может развить необычайную скорость, и Уинну пришлось еще раз сузить крылья, и опять, к полному своему удовлетворению, он увидел, что догоняет голубя. Теперь он даже немного увеличил площадь крыльев и на время замедлил полет. Он видел, что инициатива в его руках, и затянул песенку, которая время от времени бессознательно срывалась с его уст. Он пел:

— Идет, идет, не говорил ли я? Идет!..

Но лететь было не так легко. В лучшем случае воздух — очень неустойчивая среда, и аэроплан внезапно скользнул под острым углом в воздушный поток, в некий воздушный Гольфстрим, вытекавший из устья Золотых Ворот. Правое крыло первым почувствовало его, — внезапный острый толчок едва не опрокинул моноплан. Но он спустился по «вольной кривой», быстро (но без лишней спешки) изменил наклон крыльев, опустил конец горизонтального руля и направил машину против ветра, переместив задний отвесный руль. Моноплан выровнялся; летчика подхватило невидимое воздушное течение, он выровнял кончики крыльев, еще больше уменьшил плоскость и понесся, догоняя голубя, порядочно обогнавшего его в те секунды, которые отняла у летчика борьба с воздушной стихией.

Голубь летел прямо к берегам графства Аламеды, и у самого берега Уинн пережил другое приключение: он попал в воздушную яму. Не раз случалось ему во время прежних полетов попадать в воздушные ямы, но такой глубокой, как эта, он еще не встречал! Он не спускал глаз с ленты, привязанной к голубю, и по развевающемуся цветному лоскуту отмечал глубину своего падения. Все ниже падал он, испытывая в желудке то самое ощущение, какое бывало у него, когда он еще мальчиком быстро спускался на лифте. Но Уинн, среди прочих тайн авиации, знал и то, что иногда для подъема полезно бывает спуститься. Воздух отказывался держать его! Вместо бесплодной и опасной борьбы с ним он решил подчиниться. Твердой рукой, с полным сознанием предпринимаемого шага, он надавил передний горизонтальный руль — слегка, ни на йоту больше, чем нужно, — и моноплан быстро, носом вниз стал падать в пустоту. Он врезывался в пространство, как острый клинок. С каждым мгновением скорость падения возрастала. Так летчик набирал момент силы, который мог спасти его. В несколько секунд, быстро ворочая рулями вперед и назад, он поднялся вверх и выскочил из ямы.

На высоте пятисот футов голубь направился через город Беркли к горам Контра-Коста. Поднимаясь за голубем, молодой Уинн рассмотрел дворы и постройки Калифорнийского университета — его университета!

На этих горах Контра-Коста его чуть не постигла новая беда. Голубь летел теперь низко, и в том месте, где густые эвкалипты преграждали дорогу ветру, птица вдруг затрепетала крыльями и взлетела вверх футов на сто. Уинн тотчас же догадался, в чем дело. Птица попала в восходящий воздушный поток, поднимавшийся вверх на сотни футов над тем местом, где в крепкую стену рощи ударял свежий западный ветер. Он быстро сузил до предела крылья, в то же время изменив угол полета, чтобы выдержать встречную волну. Несмотря на это, моноплан качало из стороны в сторону на протяжении почти трехсот футов, пока опасность не осталась позади.

Еще две линии холмов пересек голубь и опустился на расчищенный косогор, где стояла небольшая хижина. Уинну сама судьба послала эту поляну. На нее не только удобно было спуститься, но благодаря крутизне косогора и подняться с нее было легко.

Человек, читавший газету, поднялся при виде

подлетевшего голубя; вдруг он услышал жужжание пропеллера и увидел громадный моноплан с раздвинутыми крыльями, спускавшийся с неба. Моноплан внезапно остановился на воздушной подушке, образованной поворотом горизонтальных рулей, скользнул на несколько ярдов, пробежал по земле и остановился за пару шагов от него. Увидев молодого незнакомца, который, спокойно сидя в кабинке, направлял на него револьвер, человек бросился бежать. Но он не добежал до угла хижины: пуля, попав ему в ногу, заставила его шлепнуться наземь.

— Что вам нужно? — угрюмо спросил он, когда молодой человек подошел к нему.

— Хочу, чтобы вы прокатились на моей новой машине, — ответил Уинн. — Могу вас уверить, она лу-лу.

Хозяин не спорил — у странного гостя были убедительные приемы. По его указаниям, подкрепляемым все время револьвером, он сымпровизировал бинт и перевязал раненую ногу. Уинн помог ему сесть в машину, затем направился к голубятне и взял голубя с привязанной к ноге лентой.

Незнакомец оказался очень смирным пленником. Поднятый в воздух, он замер в ужасе.

Поклонник воздушного шантажа, он сам не был склонен к воздушному передвижению. Глядя на мелькавшие внизу леса и воды, он даже не пытался напасть на своего похитителя, теперь беззащитного, так как обе его руки были заняты.

Он только старался усесться как можно крепче.

Питер Уинн Старший, всматриваясь в небо через сильные стекла, увидел аэроплан, который быстро увеличивался в размерах, проносясь над горами острова Ангела. Спустя несколько минут он крикнул ожидавшим сыщикам, что на машине есть пассажир. Замедлив ход, моноплан плавно спустился на землю.

— Зарифляющее приспособление оказалось очень удачным! — воскликнул молодой Уинн, вылезая. — Вы видели, как я летел? Я почти что обогнал голубя! Идет, идет, отец! Что я говорил? Идет! Идет!

— Кто это с тобой? — поинтересовался отец.

Молодой человек оглянулся на пленника и вспомнил.

— А это любитель голубей! О нем, вероятно, позаботится полиция, — ответил он.

Питер Уинн молча пожал руку сына, лаская голубя, которого тот передал ему. И, продолжая

ласкать драгоценную птицу, он промолвил:

— Первый бы ей приз на народной выставке!

Горсти костяшек

На яхте «Сэмосет» шли последние приготовления к празднованию Рождества. Корабль не заглядывал в порты цивилизованных стран уже много месяцев, и кладовая не могла похвалиться обилием деликатесов. Минни Дункан удалось, однако, подготовить настоящий банкет для бака и кают-компании.

— Послушай, Бойд, — говорила она мужу. — Вот какое меню для кают-компании — сырая макрель в туземном стиле, черепаховый суп, омлет «*a la* Сэмосет»…

— Что за чушь! — прервал ее Бойд Дункан.

— Видишь ли, я откопала банки с грибами и пакет яичного порошка, которые завалились за ящик, и еще кое-что. Но ты не перебивай меня! Вареный ямс, жареный таро, груша-авокадо — ах, ты совсем запутал меня! А еще я нашла полфунта чудесной сушеной каракатицы. Подадим печеные бобы по-мексикански, если мне удастся вколотить в башку Тойямы рецепт их приготовления — печеную дыню-папайю с медом с Маркизских островов и наконец — дивный пирог, секрет которого Тойяма отказывается выдать.

— Хотел бы знать, можно ли состряпать пунш или коктейль из купленного на рынке рома, — мрачно пробурчал Дункан.

— Ах, я и забыла! Пойдем!

Жена схватила мужа за руку и повела его через дверцу в свою крохотную каютку. Не выпуская его руки, она порылась в недрах шляпной коробки и извлекла литровую бутылку шампанского.

— Обед хоть куда! — воскликнул он.

— Погоди!

Она опять порылась, и труды ее были вознаграждены бутылкой виски в серебряной обертке. Она подержала ее на свету иллюминатора, жидкости оказалось немного, всего четверть содержимого.

— Уж сколько недель я берегу ее! — объяснила она. — Тут хватит и для тебя, и для капитана Детмара.

— На пару ужасно маленьких глотков! — жалобно проговорил Дункан.

— Было больше, но я поила Лоренцо, когда он болел.

— Могла поить его ромом! — шутливо зарычал на жену Дункан.

— Этакую гадость? Больному-то? Не жадничай, Бойд! Я даже рада, что больше виски нет, — ра-

да за капитана Детмара. Во хмелю он всегда раздражается. Теперь слушай, какой обед для экипажа: крендельки на соде, сладкие пирожки, леденцы…

— Питательно, нечего сказать!

— Молчи! Рис с коринкой, ямс, таро, макрель; разумеется, огромный пирог, который испечет Тойяма, затем молодой поросенок…

— Это уж слишком! — запротестовал он.

— Что ты, Бойд! Через три дня мы будем в Ату-Ату. И ведь это же мой поросенок. Старый вождь — как, бишь, его! — определенно преподнес его мне! Ты сам был свидетелем! Кроме того, две банки консервированных устриц. Это их обед. Теперь насчет подарков. Будем ждать до завтра или раздадим нынче вечером?

— Как хочешь, полагается в сочельник. Созовем «все руки» наверх по восьмой склянке; я поднесу им всем по капле рому, а ты раздашь презенты… Пойдем на палубу. Тут душно! Надеюсь, Лоренцо теперь больше повезет у динамо; без вентиляторов спать в эту ночь не удастся, если придется лечь внизу!

Они прошли через небольшую кают-компанию, поднялись по крутому трапу и вышли на палубу. Солнце садилось, погода обещала ясную

тропическую ночь. «Сэмосет», слегка распустив паруса, лениво скользил — со скоростью четырех узлов — по ровной глади моря. Из люка машинного отделения доносились удары молотка. Они прошли на корму, где капитан Детмар, упершись ногой в перила борта, смазывал механизм патентованного лага. За штурвалом стоял рослый туземец островов Южного океана, облаченный в белую рубаху и алый запон[6].

Бойд Дункан был чудак — по крайней мере, так полагали его приятели. Обладая приличным состоянием и имея полную возможность жить припеваючи, он предпочел странствовать по белу свету самым некомфортабельным образом. Между прочим, у него были свои взгляды на образование коралловых рифов, сильно расходившиеся со взглядами Дарвина, и Бойд изложил их в нескольких монографиях и одном объемистом труде. Теперь он опять оседлал своего конька, шатаясь по Южным морям на крохотной яхточке в тридцать тонн водоизмещением и изучая коралловые формации.

Жену его, Минни Дункан, также считали оригиналкой, так как она радостно делила с ним его

---

[6] notes: 6
Запон — набедренная повязка.

бродяжничество. В числе прочего, она за шесть волнующих лет их брака поднималась с мужем на Чимборазо, прошла три тысячи миль в глухую зиму по Аляске на санях, запряженных собаками, проехала верхом на лошади из Канады в Мексику, избороздила Средиземное море на десятитонном ялике и проехала в челноке из Германии в Черное море через самое сердце Европы. Это была царственная пара бродяг: рослый, широкоплечий мужчина и миниатюрная брюнетка, счастливая женщина, стопятнадцатифунтовое тело которой было закалено и выносливо, и вдобавок — прекрасно.

В то время, когда Дункан купил ее в Сан-Франциско, «Сэмосет» была торговой шхуной. Он перестроил ее изнутри заново, так что трюм ее превратился в кают-компанию и пассажирские каюты, за мидшипом[7] к корме были поставлены двигатели, динамо-машина, изготовляющая лед машина, электрические аккумуляторы, а в самой корме — резервуары с бензином. Естественно, что экипаж ее был малочислен: Бойд, Минни и капитан — единственные белые на ее борту, хотя Лоренц, малорослый, засаленный машинист,

---

[7] notes: 7
Средняя часть палубы.

претендовал на принадлежность к белой расе, будучи наполовину португальцем. Поваром был японец, «боем» — лакеем при каютах — китаец. Первоначально экипаж бака составляли четверо белокожих, но они один за другим поддались чарам поросших пальмами островов Южного океана и были заменены туземцами этих островов. Один из этих чернокожих матросов был родом с острова Пасхи, второй — с Каролинских островов, третий — с Паумоту, четвертый же был исполинского роста самоанец. В море Бойд Дункан, сам будучи отменным моряком, выстаивал штурманские вахты с капитаном Детмаром, и оба время от времени брались за штурвал или лазили на мачту нести дозорную службу. В случае надобности и Минни сумела бы постоять у штурвала, и в таких экстренных случаях она оказывалась надежнее по части управления судном, чем матросы-туземцы.

По восьмой склянке «все руки» собрались у штурвала, показался Бойд Дункан с бутылкой и кружкой в руках. Ром он раздавал самолично — по полкружке на человека. Они глотали напиток с гримасами восторга на физиономиях, одобрительно причмокивая, хотя ром был грубый и едкий и жег слизистую оболочку. Пили все,

кроме Ли Гума, воздержанного каютного «боя». Выполнив этот обряд, матросы стали дожидаться другого — раздачи подарков. Эти стройные, с красивыми чертами полинезийцы, рослые и мускулистые, как дети, весело смеясь, радовались получаемым вещицам, и их черные глаза сверкали в свете фонарей, когда их большие тела мерно покачивались в такт качки корабля.

Выкликая каждого по имени, Минни раздавала подарки, сопровождая свои действия веселыми замечаниями, поднимающими настроение. Тут были дешевые часики, складные ножи, изумительные ассортименты рыболовных крючков в пакетиках, прессованный табак, спички и роскошные полотнища бумазеи для запонов — набедренных повязок. Взрывы смеха, которыми туземцы приветствовали малейшую шутку Бойда Дункана, показывали, что они любили хозяина.

Капитан Детмар, белый как мел, улыбавшийся только, когда хозяину случалось взглянуть на него, стоял прислонившись к штурвальному ящику и созерцал происходившее. Он дважды отделялся от этой группы и спускался вниз, оставаясь там каждый раз не больше минуты. Позднее, в кают-компании, когда Лоренцо, Ли Гум и Тойяма получили свои подарки, он опять два-

жды скрывался в свою каюту. Дремавший в душе капитана Детмара дьявол избрал почему-то как раз этот момент для своего пробуждения. Может быть, вина лежала и не целиком на нечистом, ибо капитан Детмар, прятавший кварту виски в течение многих недель, выбрал сочельник для того, чтобы начать ее.

Вечер только начался — как раз пробило две склянки, — когда Дункан с женой стали у трапа в кают-компанию, вглядываясь в ночную темень — туда, откуда дул ветер, и начали обсуждать вопрос о возможности стелить постели на палубе. Медленно формировавшееся на горизонте черное облачко таило в себе угрозу дождевого шквала, и об этом спорили супруги, когда капитан Детмар, приблизившийся с кормы и собиравшийся спуститься вниз, взглянул на них с внезапным подозрением. Он остановился, и лицо его исказилось судорогой. Он произнес:

— Вы говорите обо мне!

В хриплом голосе его слышалась дрожь возбуждения. Минни Дункан вздрогнула, взглянула на неподвижное лицо мужа, поняла намек и промолчала.

Детмар сжал кулаки.

— Повторяю, вы говорили обо мне! — опять

произнес он, теперь уже со злобным рычанием.

Детмар не пошатывался и ничем не выдавал своего опьянения, если не считать судорожных подергиваний лица.

— Минни, ты бы лучше сошла вниз, — тихо проговорил Дункан. — Скажи Ли Гуму, что мы ночуем внизу. Очень скоро налетит шквал и начнется ливень.

Жена, поняв, в чем дело, ушла, задержавшись лишь настолько, чтобы успеть окинуть тревожным взглядом туманные лица обоих мужчин.

Дункан попыхивал сигарой и выжидал до тех пор, пока голос его жены, заговорившей с «боем», не донесся к нему через открытый колпак над трапом.

— Ну? — негромко, но резко спросил Дункан.

— Я сказал, что вы говорили обо мне. Я повторяю это. О, я не ослеп! День за днем вижу я, что вы толкуете обо мне. Почему не прийти и не сказать мне прямо в лицо? Я знаю, что вам известно. И знаю, что вы решили уволить меня в Ату-Ату.

— Мне жаль, что вы из-за всего поднимаете шум, — спокойно ответил Дункан.

Но капитан Детмар был настроен на ссору.

— Вы-то знаете, что собираетесь рассчитать меня. Вы слишком деликатны, чтобы водиться с

подобными мне, — вы с вашей супругой!

— Будьте любезны не касаться этого, — предостерегающе заметил Дункан. — Чего вы хотите?

— Я хочу знать, что вы собираетесь предпринять.

— После всего этого — уволить вас в Ату-Ату.

— Вы это затеваете все время.

— Неправда! К этому меня вынуждает ваше теперешнее поведение.

— Вы не можете разговаривать со мной в таком духе!

— Я не могу держать капитана, называющего меня лжецом!

На мгновение капитан Детмар опешил. Лицо и губы его исказились судорогой, но он не смог вымолвить ни слова. Дункан спокойно курил свою сигару и глядел через корму на приближающееся грозовое облако.

— В Таити Ли Гум принес на борт почту, — начал капитан Детмар. — В то время мы поднимали якорь, отплывая в море. Вы даже не взглянули на письма, пока мы не вышли в открытое море, а потом уже было поздно. Вот почему вы не уволили меня в Таити. О, я знаю! Я заметил длинный конверт, когда Ли Гум перемахивал через борт. Он был от калифорнийского губерна-

тора, это было видно по штампу в углу конверта. Вы действовали за моей спиной. Какой-нибудь портовый бродяга в Гонолулу нашептал вам, а вы обратились к губернатору за справками. Вот какой ответ принес вам Ли Гум! Почему вы не пришли ко мне как мужчина? Но вы действовали исподтишка, зная, что это место — единственный мой шанс встать на ноги. И как только вы прочли письмо губернатора, вы в душе приняли решение избавиться от меня. Я читал это решение на вашем лице все эти месяцы. Я видел, что вы оба чертовски вежливы со мной — и в то же время прячетесь по углам и толкуете обо мне и об этой истории в Фриско.

— Вы закончили? — спросил Дункан напряженным, но негромким голосом. — Совсем закончили?

Капитан Детмар не ответил.

— Ну, так я вам скажу кое-что. Именно благодаря этой истории в Фриско я не уволил вас в Таити! Богу известно, что вы достаточно провоцировали меня к этому. Я считал, что если кто-либо нуждается в возможности реабилитировать себя — так это вы. Не будь на вас этого черного пятна, я уволил бы вас, узнав, как вы обкрадываете меня!

Капитан Детмар изобразил на лице изумление,

хотел было перебить Дункана, но раздумал.

— Например, дело с конопачением палубы, бронзовыми оковками для руля, переделка машины, новый грот, новые шлюпбалки, ремонт вельбота. Вы подтвердили неверный счет дока — на четыре тысячи сто двадцать два франка. По правильным ставкам он не мог быть ни сантимом выше двух тысяч пятисот франков…

— Если вы верите этим береговым акулам, а не мне… — начал хрипло Детмар.

— Не трудитесь отягощать ложь новой ложью, — холодно перебил его Дункан. — Я заставил привести Флобина к самому губернатору, и старый плут признался, что написал лишних тысячу шестьсот. Тысяча двести пошло вам, а ему достались четыреста и работа… Не прерывайте! У меня есть его письменное признание. Вот когда я оставил бы вас на берегу, если бы не нависшая над вами туча! Нужно было дать вам этот единственный шанс оправдаться — или провалиться в преисподнюю. Я дал вам этот шанс. Что вы можете сказать на это?

— Что сказал губернатор? — злобно спросил капитан Детмар.

— Какой губернатор?

— Калифорнийский. Солгал ли вам и он, как

все прочие?

— Я скажу вам, что он сообщил. Он сказал, что вы были осуждены на основании косвенных улик, почему и получили пожизненную тюрьму вместо веревки на шею; что вы всегда упорно настаивали на своей невиновности, что вы были уродом в семье мэрилэндских Детмаров; что они подняли все на ноги, чтобы исхлопотать вам помилование; что вы вели себя в тюрьме самым примерным образом; что он был прокурором-обвинителем, когда вас судили; что когда вы отбыли семь лет заключения, он внял мольбам вашей семьи и отпустил вас на свободу; и что лично он сомневается, что вы убили Максуина.

Наступила пауза; Дункан всматривался в надвигавшийся шквал; по лицу капитана Детмара пробегали страшные судороги.

— Что ж, губернатор ошибся! — объявил он с коротким смешком. — Я убил Максуина. В ту ночь я напоил сторожа. Я забил Максуина насмерть на его койке. Я действовал железным шкворнем, который фигурировал в качестве улики. Максуин даже не защищался. Я превратил его в студень. Хотите знать подробности?

Дункан посмотрел на него с любопытством, как смотрят на чудовище, но ничего не ответил.

— О, я не боюсь рассказать вам! — с бахвальством продолжал капитан Детмар. — Свидетелей нет. К тому же теперь я свободный человек! Я помилован, и они не могут опять посадить меня в эту яму. Я раздробил Максуину челюсть первым же ударом. Он спал, лежа на спине. Он проговорил: «Боже мой, Джим, Боже мой!» Забавно было смотреть, как у него болталась при этом разбитая челюсть. Потом я размозжил ему… я спрашиваю, хотите ли вы знать детали?

— Это все, что вы можете сказать? — спросил Дункан.

— Разве этого недостаточно? — возразил капитан Детмар.

— Достаточно!

— Что вы думаете сделать после этого?

— Спустить вас на берег в Ату-Ату.

— А до тех пор?

— До тех пор… — Дункан молчал. Поднявшийся ветерок заиграл его волосами. Звезд уже не видно было на небе, «Сэмосет» отклонился от своего курса на четыре пункта румба под нерадивой рукой рулевого. — До тех пор бросьте фалы на палубу и посматривайте за штурвалом! Я вызову людей.

Через мгновение налетел шквал. Капитан Детмар, спрыгнув на корму, поднял свернутые фалы

грота и швырнул их на палубу. Трое островитян выбежали из крохотного бака, двое побежали к фалам и подхватили их, а третий, захлопнув дверцу трапа в машинное отделение, закрыл вентиляторы.

Внизу Ли Гум и Тойяма спускали крышки фонарей и задраивали люки. Дункан потянул и задраил люк кают-компании и стоял, принимая на лицо град дождевых капель; «Сэмосет» бешено мчался вперед, валясь то направо, то налево под давлением порывов ветра.

Все ждали, что будет дальше. Но спускать паруса не пришлось. Ветер потерял силу, и тропический дождь потоком низвергнулся на корабль. Только теперь, когда опасность миновала и канаки начали снова наворачивать фалы, Бонд Дункан пошел вниз.

— Все благополучно! — весело крикнул он жене. — Только раз пыхнуло!

— А капитан Детмар? — спросила она.

— Напился — вот и все. Я сплавлю его в Ату-Ату.

Но прежде чем лечь на свою койку, Дункан опоясался под пижамой кожаным ремнем с пристегнутым к нему тяжелым браунингом.

Одаренный способностью целиком отдаваться

отдыху, он уснул почти мгновенно. Он работал всем организмом, как работают дикари; но как только необходимость исчезала, он ослабевал душой и телом. Так и теперь — он крепко спал, в то время как дождь продолжал заливать палубу, а яхта ныряла и переваливалась на коротких, но высоких волнах.

Проснулся он с чувством удушья и тяжести в голове. Вентиляторы перестали работать, воздух был тяжелый и спертый. Мысленно проклиная всех Лоренцо и аккумуляторные батареи, он слышал, как его жена повозилась в смежной каюте и вышла в кают-компанию.

«Должно быть, на палубу подышать свежим воздухом», — подумал он и решил, что не мешает последовать хорошему примеру. Нацепив туфли и взяв под мышку подушку и одеяло, он пошел вслед за ней. Когда он находился у самого выхода из трапа кают-компании, начали бить часы в каюте, и он остановился послушать. Пробило четыре склянки. Это значило — два часа ночи. Снаружи доносилось скрипение гафелей, трущихся о мачту. «Сэмосет» покачнулся и выпрямился на волне и в налетевшем легком бризе гулко заполоскался.

Дункан ставил ногу на мокрую палубу, когда

услышал, как крикнула жена. Это был испуганный, отчаянный крик, и за бортом послышался всплеск. Дункан побежал на корму. В бледном свете звезд ему удалось различить голову и плечи жены, исчезавшие за кормой в следе шхуны.

— Что случилось? — спросил капитан Детмар, стоявший у штурвала.

— Миссис Дункан, — ответил Дункан, срывая спасательный круг с крючка и бросая его за корму. — Держите к штирборту, ставьте к ветру! — скомандовал он.

И вслед за тем Бойд Дункан допустил оплошность: он прыгнул за борт.

Вынырнув, он завидел синий огонек на буйке, вспыхнувший автоматически, как только круг коснулся воды. Он поплыл к нему и увидел, что Минни первая добралась до него.

— Алло! — промолвил он. — Прохлаждаешься?

— О Бойд, — ее мокрая рука протянулась и коснулась его руки.

Синий огонек отчего-то погас. Когда их подняло на гладкий гребень волны, Дункан обернулся посмотреть в сторону «Сэмосета», маячившего во тьме смутным пятном. Огней не было видно, но слышался какой-то шум. Голос капитана Детмара покрывал все остальные крики.

— Должен сказать, что он не торопится, — проворчал Дункан. — Почему он не переносит паруса? Вот яхта и уходит.

До них донесся скрип блоков и рев, и хлопанье паруса.

— Это был грот, — бормотал Дункан. — Перенес налево, когда я приказал ему — вправо.

Опять их подняло волной и еще несколько раз, пока они разглядели зеленый огонек штирборта «Сэмосета». Но вместо того, чтобы оставаться на месте в знак того, что яхта движется к ним, огонек начал перемещаться поперек их поля зрения.

Дункан выругался.

— Что там делает этот тюлень? — спросил он себя. — Ведь у него есть компас. Он знает наше направление.

Но зеленый огонь — это было все, что они могли видеть, и то лишь с гребня волны, — неуклонно удалялся от них. Он направлялся к ветру и все больше тускнел. Дункан громко и часто кричал, и каждый раз в минуты тишины они различала слабый голос капитана Детмара, выкрикивавшего приказы.

— Как он может расслышать меня в этаком гаме! — пожаловался Дункан.

— Он нарочно делает так, чтобы экипаж не

услышал твоего голоса… — промолвила Минни.

В спокойном голосе ее слышалась нотка, мгновенно заставившая ее мужа насторожиться.

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что он и не пытается подобрать нас, — ответила она тем же невозмутимым тоном. — Он бросил меня за борт!

— Ты не ошибаешься?

— Как можно! Я стояла у снастей грота и всматривалась в темноту, не собирается ли снова дождь. Должно быть, он оставил штурвал и подкрался ко мне сзади. Одной рукой я держалась за поручни. Он оторвал мою руку и бросил меня за борт. Беда в том, что ты этого не знал — иначе ты бы остался на борту!

Дункан простонал, затем несколько минут безмолвствовал. Зеленый огонек переменил направление.

— Яхта повернула, — доложил он. — Ты права.

Он умышленно объезжает нас кругом и держит к ветру. Против ветра они ни за что не расслышат меня. Но все же попробуем!

Он долго кричал, делая минутные интервалы. Зеленый огонек исчез, сменившись красным, — это значило, что яхта опять повернула.

— Минни, — проговорил он наконец, — мне

больно признаться, но ты вышла замуж за олуха. Только такой олух мог прыгнуть за борт.

— Какие у нас шансы быть подобранными… каким-нибудь судном, хочу я сказать? — спросила она.

— Один на десять тысяч, или на десять тысяч миллионов. Эту часть океана не пересекают ни пароходные линии, ни линии купеческих парусников. Китоловные суда тоже не заглядывают в Южные моря. Разве какая-нибудь заблудшая торговая шхуна из Тутуванга. Но случайно мне стало известно, что этот остров посещается раз в год. Наши шансы — один на миллион…

— А мы поборемся и за такой шанс! — стойко возразила она.

— Да ты — одна радость! — он поднес ее руку к своим губам. — А тетя Элизабет все удивлялась — что я такого нашел в тебе! Понятно, мы будем бороться и за этот шанс. И выиграем обязательно! Немыслимо, чтобы вышло иначе. Идет?

Он отстегнул от пояса тяжелый браунинг и пустил его на дно. Пояс, однако, он оставил на себе.

— А теперь заберись в круг и поспи. Поднырни снизу!

Она нырнула и выплыла в середине пробкового спасательного круга. Он пристегнул ее ремнями,

потом пристегнул и себя к буйку снаружи — за плечо, при помощи ремешка от револьвера.

— Мы устроены на весь завтрашний день, — проговорил он. — Слава Богу, что вода теплая! Первые двадцать четыре часа во всяком случае не будет трудно; а если нас не подберут до вечера, придется повисеть на круге еще денек, вот и все!

В течение получаса они хранили молчание. Дункан, положив голову на руку, пристегнутую к кругу, казалось, спал.

— Бойд! — тихо произнесла Минни.

— Я думал, ты спишь, — буркнул он.

— Бойд, если мы не вывернемся…

— Заткни глотку! — невежливо посоветовал он. — Разумеется, мы вывернемся! В этом нет ни малейшего сомнения! Где-нибудь в этом океане существует корабль, идущий прямо на нас. Вот подожди — и увидишь! Жаль, конечно, что мой мозг не оборудован коротковолновой радиостанцией. А теперь я буду спать, если ты не хочешь!

Но сон не шел к нему. Час спустя он услышал, что Минни пошевеливается внутри круга, и понял, что она не спит.

— Знаешь, о чем я думала? — спросила она.

— Нет, а о чем?

— Что я еще не поздравила тебя с Рождеством.

— Батюшки, и я об этом забыл! Да, наступило Рождество. Нам еще не раз придется праздновать его! А знаешь, о чем я думал? Какая подлость, что нас лишили нашего рождественского обеда. Подожди, пока я наложу руки на Детмара! Я ему покажу! И уж ни шкворнем, ни еще чем-нибудь. Просто двумя горстями голых костяшек — только всего!

Несмотря на шутливое настроение, Бойд Дункан в душе питал мало надежды. Он хорошо понимал, что значит шанс — один на миллион, и спокойно сознавал, что они с женой доживают последние часы своей жизни, — часы, неизбежно связанные с трагическими, страшными мучениями.

Тропическое солнце взошло на безоблачном небе. На горизонте ни пятнышка. «Сэмосет» скрылся за краем горизонта. Когда солнце поднялось выше, Дункан разодрал пополам нижнюю часть своей пижамы и смастерил два грубых тюрбана. Намоченные в морской воде, они защищали голову от палящих лучей.

— Когда я начинаю думать об этом обеде, я прихожу в настоящую ярость, — проговорил он, заметив, что на лице жены появляется выражение тревоги. — Я хочу, чтобы ты присутствовала

при моей расправе с Детмаром! Я всегда протестовал против присутствия женщин при кровавых сценах, но это — другое дело. Это будет лупка! Надеюсь, мне не придется совсем разбить о него свои кулаки, — добавил он помолчав.

Полдень прошел, а они все плавали в центре необъятной окружности горизонта. Легкое дыхание замирающего пассата обвевало их, и они монотонно поднимались и опускались на легкой зыби совершенно гладкого летнего моря. Раз только их завидела морская птица, с полчаса описывавшая над ними величественные круги. В другой раз огромный скат, имевший несколько футов между концами плавников, проплыл в нескольких ярдах от них.

На закате солнца Минни начала бредить, тихо лепеча, как ребенок. Дункан бледнел, наблюдая и слушая ее, и напряженно думал, как сократить наступающие часы агонии. С такими мыслями, поднявшись случайно на очень высокой волне, он обвел глазами горизонт и увидел нечто, заставившее его громко вскрикнуть.

— Минни! — Она не ответила, и ему пришлось несколько раз покричать ей в ухо самым громким голосом, на который он еще был способен. Она раскрыла глаза — наполовину в сознании,

наполовину в бреду. Он хлопал ее по кистям и ладоням, пока боль не привела ее в чувство.

— Вот он — шанс из миллиона! — вскричал он. — Целый пароход — и идет прямо на нас. Клянусь богами, это крейсер! Он самый — «Аннаполис», возвращающийся с астрономами из Тутуванги!

* * *

Консул Соединенных Штатов Лингфорд был суетливый пожилой джентльмен; за два года его службы в Ату-Ату никогда ему не приходилось иметь дело с казусом, подобным тому, о котором рассказал ему Бойд Дункан. Этот последний вместе со своей женой высадился здесь с «Аннаполиса», немедленно отбывшего со своим грузом астрономов на Фиджи.

— Это хладнокровное, обдуманное покушение на убийство, — говорил консул Лингфорд. — Правосудие пойдет своим чередом. Не знаю, как, собственно, следует поступить с этим капитаном Детмаром, но если он явится в Ату-Ату, — поверьте, с ним поступят… кхм… гм… с ним поступят! Пока что я освежу в своей памяти законы. А вам с вашей милой супругой не угодно ли будет отзавтракать у меня?

Покуда Дункан выражал свое согласие, Минни, глядевшая на гавань из окна, вдруг высунулась вперед и тронула мужа за рукав. Обернувшись, он увидел «Сэмосет» с приспущенным до половины мачты флагом, поворачивавшийся и бросавший якорь меньше чем в сотне ярдов расстояния.

— А вот и мой корабль! — объявил Дункан консулу. — Вот спущена шлюпка, и в нее садится капитан Детмар. Если я не ошибаюсь, он едет докладывать вам о нашей гибели.

Шлюпка пристала к белому взморью; капитан Детмар, оставив Лоренцо возиться с двигателем, зашагал по берегу и направился по дорожке, ведущей в консульство.

— Пусть делает свой доклад! — промолвил Дункан. — Мы выйдем в соседнюю комнату и послушаем.

И через полуприкрытую дверь супруги слушали капитана Детмара, который со слезами в голосе описывал исчезновение своих хозяев.

— Я перенес парус и пошел назад по тому же самому месту, — закончил он. — Ни следа! Я кричал, кричал, но не получил ответа. Два добрых часа колесил я по этому месту, потом лег в дрейф до утра и весь день напролет ездил взад и вперед, держа двух дозорных наверху мачты. Ужасно!

Душа разрывается! Мистер Дункан был чудесный человек, и я никогда больше…

Но он не закончил фразы, ибо в это мгновение его чудесный хозяин двинулся прямо на него, оставив Минни на пороге дверей. Бледное лицо капитана Детмара побелело еще больше.

— Я сделал все, что мог, чтоб подобрать вас, сэр, — начал он.

Бойд Дункан облек свой ответ в термины горстей костяшек — двух горстей, обрушившихся справа и слева на физиономию капитана Детмара. Капитан Детмар отшатнулся, овладел собой и кинулся, размахивая руками, на своего хозяина, но успел в одном — получить удар прямо между глаз. На этот раз капитан Детмар рухнул на пол, увлекши в своем падении пишущую машинку.

— Это не дозволено! — засуетился консул Лингфорд. — Прошу вас, прошу вас, перестаньте!

— Я заплачу за убытки, причиненные конторской мебели, — отвечал Дункан, одновременно отпечатывая горсти костяшек на носу и на глазах Детмара.

Консул Лингфорд прыгал в этой сумятице, как мокрая курица; конторская мебель его шла прахом. Раз ему удалось схватить Дункана за руку, но он в ту же минуту отлетел, задыхаясь, на полдли-

ны комнаты в сторону. В другой раз он обратился с мольбой к Минни:

— Миссис Дункан, прошу вас, пожалуйста, укротите вашего супруга!

Но бледная, дрожавшая Минни решительно мотнула головой и жадно наблюдала схватку.

— Да это безобразие! — кричал консул Лингфорд, метаясь между сталкивающимися телами бойцов. — Это оскорбление правительству, правительству Соединенных Штатов! Предупреждаю вас, это не пройдет даром! О, прошу вас, перестаньте, мистер Дункан! Вы убьете этого человека. Я прошу вас! Прошу вас, прошу…

С грохотом упавшая ваза с алыми цветами гибиска заставила его оцепенеть в безмолвии.

К этому времени капитан Детмар не мог уже подняться на ноги. Он приподнялся на руках и коленях, попытался встать совсем, но смяк окончательно. Дункан потрогал стонущую развалину ногой.

— Он готов! — объявил он. — Я только вернул ему то, чем он угощал многих матросов, да еще почище этого!

— Великий Боже, сэр! — вскричал консул Лингфорд, с ужасом глядя на человека, которого он пригласил на завтрак. Дункан невольно усмех-

нулся, но взял себя в руки.

— Я прошу извинения, мистер Лингфорд! Боюсь, что я дал себя немножко увлечь своим чувствам…

Консул Лингфорд задыхался и молча ловил воздух руками.

— Немножко, сэр? Немножко? — выдавил он наконец из себя.

— Бойд! — тихонько окликнула Минни из дверей.

Он обернулся.

— Ты — ты моя радость! — проговорила она.

— А теперь, мистер Лингфорд, мое дело с ним кончено, — сказал Дункан. — Что осталось — вручаю вам и закону.

— Это? — с ужасом в голосе спросил консул Лингфорд.

— Это самое! — ответил Бойд Дункан, с сожалением осматривая свои побитые костяшки.

Война

I

Это был молодой человек, не старше двадцати четырех-двадцати пяти лет; он сидел бы на своем коне с беззаботной грацией юности, если бы не эта нервная настороженность и напряжение. Его черные глаза бегали по сторонам, ловя каждое движение ветвей и сучьев, по которым прыгали мелкие пташки; он тщательно осматривал изменчивые перспективы деревьев и кустов, то и дело возвращаясь к низкой, густой заросли по сторонам дороги. Он чутко прислушивался, хотя кругом была полная тишь, если не считать отдаленного буханья пушек, доносившегося откуда-то с запада. Он слышал его уже не первый час, и только прекращение этого звука пробудило бы в нем тревогу. Теперь же он занят был более важным делом. Через луку его седла был перекинут карабин.

Нервы его были так напряжены, что внезапно вспорхнувший под самым носом коня выводок куропаток страшно испугал седока и он машинально натянул поводья и вскинул карабин к

плечу. Впрочем, тотчас же опомнившись, он конфузливо улыбнулся и поехал дальше. Он до того весь ушел в предстоящее ему дело, что не отирал пота, едко щипавшего глаза, катившегося беспрепятственно по носу и капавшего на седло. Даже лента его кавалерийской шляпы промокла от пота. Гнедая лошадь под ним тоже была вся в поту. Стоял полдень жаркого безветренного дня. Даже птицы и белки не решались показаться на солнце и прятались в тенистых местах под защиту деревьев.

И человек, и лошадь были покрыты листьями и желтой пыльцой цветов; на открытое место они выезжали лишь в случае крайней необходимости. Они пробирались сквозь кусты и деревья; и если приходилось пересечь поляну или высохший участок горного пастбища, всадник немедленно останавливался и хорошенько осматривался. Он подвигался к северу, хотя и очень извилистой дорогой, и, как видно, с севера грозила ему опасность, навстречу которой он направлялся. Он не был трусом, но, обладая мужеством обыкновенного цивилизованного человека, искал не смерти, а жизни.

Поднимаясь по узкой пастушьей тропе на невысокий бугор, он попал в такую густую чащу

кустов, что ему пришлось спешиться и повести лошадь под уздцы. Но когда тропинка повернула на запад, он сошел с нее и снова направился к северу по вершине поросшего дубняком горного хребта. Этот горный хребет кончался крутым спуском, настолько крутым, что всаднику пришлось спускаться зигзагами, скользя и спотыкаясь, среди мертвой листвы и спутанных лоз и не отрывая взгляда от лошади, которая ежеминутно могла свалиться на него. Пот катился с его лица, едкая цветочная пыльца, наполнявшая его рот и ноздри, усиливала жажду. Как ни старался он, спуск все-таки не был бесшумным, и он часто останавливался, задыхаясь в сухом зное и прислушиваясь к малейшему шуму снизу.

Внизу он очутился на равнине, так густо заросшей лесом, что он не мог определить ее размеров. Характер леса здесь был иной, и он мог сесть на лошадь. Вместо искривленных горных дубов здесь из жирной сырой земли поднимались высокие, прямые деревья с толстыми стволами. Там и сям попадались чащи, которые легко было объезжать, как и встречавшиеся поляны — былые пастбища скота до войны. Теперь, находясь в долине, он двигался быстрее — и через полчаса остановился у старого забора на краю лужайки.

Открытый характер местности не понравился ему, но надо было пересечь ее, чтобы добраться до рощи у реки. По открытому месту ехать пришлось бы всего с четверть мили, но самая мысль об этом была неприятна. Один карабин, два десятка, тысяча карабинов могли таиться в этой чаще у реки!

Дважды пытался он выехать — и оба раза останавливался. Его пугало собственное одиночество. Пульс войны, бившийся на западе, означал тысячи сражающихся: здесь же была тишина, да одинокий всадник, да еще, пожалуй, смертоносные пули, таящиеся в засаде. Но ведь он должен был выполнить задание — найти то, чего боялся искать! Он должен ехать все дальше и дальше, пока где-нибудь, когда-нибудь не встретит другого человека или нескольких людей из неприятельского лагеря, посланных, как и он, на разведку, чтобы сообщить, как и он, о соприкосновении с неприятелем…

Он передумал, вернулся в лес и вскоре опять выглянул. Теперь он разглядел в середине поляны небольшую ферму. В ней не было признаков жизни. Дым не вился из трубы, не было слышно гама домашней птицы. Кухонная дверь была настежь раскрыта, и он так долго, не отрываясь,

смотрел в зияющую раму, что казалось, будто сейчас должна выйти жена фермера.

Он слизнул цветочную пыльцу и дорожную пыль с сухих губ и, закоченев телом и душой, выехал на солнечный припек. Нигде никакого движения! Он проехал мимо дома и приблизился к чаще высоких деревьев на берегу реки. Одна неотвязная мысль сводила его с ума — мысль о пуле, молниеносно пронизывающей тело. Эта мысль делала его каким-то слабым и беззащитным, и он все ниже склонялся к своем седлу.

Привязав лошадь у опушки леса, он пешком прошел расстояние футов в сто и приблизился к реке, шириной не более двадцати футов. Течения не было заметно; прохладная вода манила измученного жаждой путника. Но он ждал, спрятавшись за стеной деревьев и не отрывая глаз от чащи на противоположном берегу. Чтобы не так трудно было ждать, он сел, положив карабин на колени. Минута проходила за минутой, понемногу его напряжение слабело. Наконец он решил, что никакой опасности нет; но только он собрался раздвинуть кусты и наклониться к воде, как движение в кустах на противоположном берегу заставило его насторожиться. Это могла быть и птица. Но он ждал. Опять кусты задвигались,

и вдруг — так внезапно, что он чуть не вскрикнул, — кусты раздвинулись, и из них выглянуло лицо! Не бритое несколько недель, обросшее бородой имбирного цвета. Голубые широко расставленные глаза были окружены морщинками смеха, странно противоречившими усталому и тревожному выражению всего лица.

Все это он видел отчетливо, как под микроскопом, — ведь расстояние между ними было не больше двадцати футов. И разглядел он все это в то краткое мгновение, в которое поднимал карабин на плечо. Он смотрел на мушку и знал, что видит перед собой человека, обреченного на смерть. Невозможно было не попасть в такую близкую цель!

Но он не выстрелил. Тихо опустил карабин и решил подождать. Высунулась рука, крепко сжимавшая бутылку, и имбирная борода наклонилась к воде. Он мог даже расслышать бульканье воды в бутылке. Затем рука, бутылка и имбирная борода исчезли в сомкнувшихся кустах. Он долго ждал; наконец, все-таки не решившись напиться, пополз к своему коню, медленно выехал на залитую солнцем поляну и скрылся в чаще леса.

II

Другой день — жаркий и безветренный. Покинутая ферма, большая, со множеством построек и фруктовым садом, стоит на поляне. Из леса, на гнедой лошади, с карабином через седло выехал молодой человек с быстрыми черными глазами. Подъехав к дому, он вздохнул с облегчением. Всюду виднелись следы недавнего сражения. На земле валялись пустые гильзы от патронов, успевшие покрыться зеленью; еще сырая земля была изрыта лошадиными копытами. За огородом были свежие могилы с пронумерованными дощечками. Возле кухонной двери на дубе висели тела двух мужчин в грязных лохмотьях. Сморщенные, обезображенные лица потеряли человеческий облик. Лошадь захрапела при виде покойников, и всадник, гладя и лаская коня, привязал его подальше от дуба.

Войдя в дом, он увидел картину разгрома. Переходя из комнаты в комнату и наступая на пустые патроны, он не забывал выглядывать из окон. Очевидно, здесь был привал, и люди спали повсюду, а на полу одной комнаты остались пятна, ясно показывавшие, что здесь лежали раненые.

Выйдя из дома, он повел лошадь вокруг сарая и

вошел в сад. С дюжину деревьев были покрыты спелыми яблоками. Он наполнил ими карманы, на ходу набивая рот. Вдруг его осенила какая-то мысль, и он, глядя на солнце, стал соображать, успеет ли он вернуться в лагерь. Он сдернул с себя рубашку и, завязав рукава, сделал нечто вроде мешка, который и начал набивать яблоками.

Он собирался уже сесть на коня, как вдруг конь насторожил уши. Человек тоже прислушался — и услышал топот копыт по сырой земле. Он отполз за угол сарая и стал выглядывать. Дюжина всадников, врассыпную приближаясь с противоположной стороны поляны, была не более чем в ста шагах от него. Они подъезжали к дому. Некоторые сошли с лошадей, другие остались, словно собираясь скоро ехать дальше. По-видимому, они держали совет — до него доносился их возбужденный разговор на ненавистном языке иноземных завоевателей. Время шло, а они, видно, все не могли сговориться. Он вложил карабин в чехол, сел на лошадь и нетерпеливо ждал, покачивая мешок с яблоками на седле.

Вдруг он услышал приближавшиеся шаги и с такой силой вонзил в бока лошади шпоры, что гнедой, застонав, бросился вперед. На углу сарая он увидел юношу девятнадцати-двадцати лет в

мундире, быстро отскочившего, чтобы не попасть под лошадь. В то же мгновение гнедой бросился в сторону, и всадник разглядел группу встревоженных людей возле дома. Несколько человек соскочили с коней и взяли карабины на плечо. Он проехал мимо кухонной двери и покойников, раскачивавшихся в тени, и тем вынудил своих врагов обогнуть дом с фасада. Раздался выстрел, другой, но он быстро помчался, низко склонясь к седлу, одной рукой держа рубашку с яблоками, а другой — поводья.

Ограда была не менее четырех футов вышины, но всадник знал своего гнедого — и на всем скаку перемахнул через ограду под аккомпанемент нескольких разрозненных выстрелов. Лес был в восьмистах ярдах, и гнедой широкими скачками приближался к нему. Теперь все стреляли, с такой быстротой выпуская заряды, что он перестал различать отдельные выстрелы. Пуля пробила его шляпу, но он не заметил этого, а заметил другую пулю, попавшую в мешок с яблоками. Он нахмурился и еще ниже нагнулся, когда третья пуля ударилась в камень между ногами его лошади и, отлетев рикошетом в воздух, засвистела и зажужжала, как какое-нибудь небывалое насекомое.

Выстрелы затихали по мере того, как иссякали

обоймы, и наконец совсем прекратились. Молодой человек ликовал: он остался невредим после такого обстрела. Он оглянулся. Верно, они выпустили все заряды. Он увидел, как одни заряжали карабины, другие побежали к дому за лошадьми, а двое уже верхом показались из-за угла, быстро погоняя лошадей. И в то же самое время он увидел человека с имбирной бородой, стоявшего на коленях в траве; он поднял карабин и спокойно начал целиться.

Молодой человек всадил шпоры в коня, еще ниже пригнулся и бросился в сторону, чтобы сбить с направления целившегося. И все еще не было выстрела! С каждым скачком коня лес приближался. Оставалось каких-нибудь две сотни ярдов, а тот все медлил с выстрелом.

Но вот он услышал его — последнее, что он услышал в жизни, ибо он умер прежде, чем его тело с шумом сползло с седла на землю. И те, кто наблюдал у дома, видели, как он упал, — видели, как его тело подпрыгнуло, ударившись оземь, видели, как посыпались из мешка и покатились во все стороны краснощекие яблоки. Они расхохотались неожиданному извержению яблок и наградили аплодисментами человека с имбирной бородой за меткий выстрел.

Под палубным тентом

— Может ли мужчина — джентльмен, я хочу сказать — назвать женщину свиньей?

Бросив этот вопрос целой группе попутчиков, маленький человечек с вызывающим видом откинулся назад в палубном кресле и потянул лимонад из стакана. Никто не ответил. Все привыкли к этому человечку и его гневным вспышкам.

— Повторяю, в моем присутствии он назвал одну даму, имени которой вы не знаете, свиньей! Он даже не сказал «свинство», он просто сказал: свинья! А я уверяю, что ни один мужчина, считающий себя джентльменом, не может выразиться так ни о какой женщине!

Доктор Доусон невозмутимо попыхивал своей черной трубкой; Метьюз, подняв колени и обхватив их руками, сосредоточенно следил за полетом морской птицы. Суит, допив виски с содовой, искал глазами стюарда.

— Я спрашиваю вас, мистер Трелор, может ли мужчина назвать женщину свиньей?

Трелор, случайно сидевший возле маленького человечка, вздрогнул от неожиданного обраще-

ния и удивился, на каком основании тот считает, что он способен назвать женщину свиньей.

— Я бы сказал, — нерешительно проговорил он, — что это… ммм… зависит… ммм… от женщины.

Человечек остолбенел.

— Вы говорите?.. — пролепетал он.

— Я говорю, что видел особ женского пола столь же отвратительных, как свинья, и даже хуже…

Наступило продолжительное, тягостное молчание. Маленький человечек словно увял от грубовато-резкого ответа. На его лице были написаны невыразимая боль и огорчение.

— Вы говорили о мужчине, который сделал не очень лестное замечание, и охарактеризовали его, — продолжал Трелор холодным ровным тоном. — А теперь я расскажу вам о женщине, — простите — о леди, и когда я кончу, будьте добры охарактеризовать ее! Я буду называть ее мисс Кэрьюферз, главным образом потому, что это не настоящее ее имя. Дело происходило на пароходе Восточной компании несколько лет тому назад.

Мисс Кэрьюферз была очаровательна. Нет, не то! Она была изумительна! Это была молодая женщина из высшего общества. Отец ее занимал видный пост. Его фамилия, если бы я назвал ее,

оказалась бы всем вам известной. В то время она жила с матерью и двумя горничными и ехала к отцу, который путешествовал где-то на Востоке.

Она, простите за повторение, была изумительна! Это единственное подходящее слово. Даже самые незначительные прилагательные к ней должны применяться в превосходной степени. Все, что она ни делала, выходило у нее лучше, чем у всякой другой женщины и большинства мужчин. Петь, играть? Ба! Как сказал некто, соперничество бежало от нее! Плавать? Она могла бы сделать себе состояние и имя на публичных гонках! Она была из тех редких женщин, которые могут снять с себя все, и в купальном костюме казаться еще прекраснее. Одеваться? В этом она была художница!

И какой же она была пловец! Физически она была совершенна — вы понимаете, что я имею в виду: не грубой мускульной силой акробата, но тонкостью линий, хрупкостью своего сложения и форм. И с этим соединялась сила. Да, плавала она прекрасно. Скажите, ведома ли вам красота женской руки у предплечья, где округлый бицепс нежно переходит через крохотный локоть в твердую припухлость у кисти маленькой, невероятно маленькой ручки, круглой и сильной? Такова

была ее рука. И смотреть, как она плавала быстрыми английскими саженками, было…

Да, я разбираюсь в анатомии и атлетике — и все же для меня было загадкой, как это ей давалось!

Она могла оставаться под водой целых две минуты. Я следил по часам. Никто на борту, кроме Деннитсона, не мог достать со дна в один раз столько монет, сколько она. В передней части верхней палубы был устроен большой полотняный бассейн шести футов глубиной. Мы забавлялись, бросая в него мелкие монеты. Я видел, как она ныряла с палубного мостика — немало ловкости требовалось уже для этого! — в шестифутовую глубину и подбирала зараз не меньше сорока семи монет, разбросанных по всему дну бассейна. Деннитсон, спокойный молодой англичанин, не мог превзойти ее, всегда стараясь хотя бы идти с ней наравне.

Поистине это была дочь моря, но не менее искусна была она и в спорте на суше и на воде — словом, это была… универсальная женщина. Видя ее, нежную, в легком платье, окруженную полудюжиной пылких молодых людей, с которыми она обращалась небрежно и томно, порой осыпая и пронизывая их стрелами своего остроумия и веселья, вы бы подумали, что она ни на

что другое не способна. В такие минуты я заставлял себя вспомнить, как она, ныряя, доставала сорок семь монет со дна бассейна. Но такова уж была она — извечное чудо женственности!

Она очаровала положительно всех мужчин, окружавших ее. Даже меня — я не стыжусь признаться в этом — привязала к себе вместе с другими. Молодые щенки и старые седые псы, которым полагалось бы быть рассудительнее — о, все увивались за ней, пресмыкались у ее ног, визжали и виляли хвостом, как только она, бывало, свистнет. Все в этом были грешны: и молодой Ардмор, розовый херувим лет девятнадцати, который ехал служить по консульской части, и старик-капитан Бентли, поседевший на море и бесстрастный на вид, как китайский идол. Был тут и средних лет славный малый Перкинс, который, кажется, забывал, что с ним на пароходе жена, пока мисс Кэрьюферз не отвадила его, указав ему его настоящее место.

В ее руках люди были, как воск. Она расплавляла их, отливала в формы или испепеляла — по минутному капризу. Не было ни одного стюарда, даже из самых степенных и суровых, который — только прикажи она — задумался бы запустить тарелкой супа в своего капитана. Вы все знаете

таких женщин — они служат магнитом для всех мужчин. Как покорительница сердец она была совершенно неотразима. Это был меч, жало, пламень, искра электричества! Но, знаете ли, иногда на эту красавицу нападало такое дикое своенравие, что обаяние красоты пропадало, и ее жертву охватывал самый идиотский страх…

И, заметьте, она была страшно горда, как вы увидите из дальнейшего. Гордость породы, сословия, гордость пола и власти — у нее была эта гордость, странная, властная, страшная.

Она забрала в руки весь пароход, направляла его курс, командовала всеми — и больше всего Деннитсоном. Что он всех опередил в этой гонке — было ясно всем нам, даже самым недогадливым. Он ей нравился, в этом не было сомнения, и чувство ее к нему все росло. Я уверен, что она посматривала на него благосклоннее, чем когда-либо на какого бы то ни было мужчину. Мы же боготворили ее и постоянно околачивались поблизости, ожидая, когда она свистнет, хотя отлично знали, что Деннитсон в этом отношении даст нам много очков вперед. Чем бы это все кончилось, мы не знаем, но мы приехали в Коломбо, а там случилось нечто совсем неожиданное.

Вы знаете Коломбо и, наверное, видели, как

туземные мальчики ныряют там за монетами на дно бухты, кишащей акулами. Понятно, они осмеливаются на это только тогда, когда в бухту заходят так называемые рыбные акулы. У этих мальчишек почти сверхъестественное чутье, которым они узнают настоящих акул, заблаговременно угадывая приближение акулы-людоеда — тигровой акулы, например, или серой няньки, приплывающей из австралийских вод. Как только появится такая акула, все пострелята, спасая жизни, в диком страхе выскакивают из воды прежде, чем пассажиры сообразят, что же произошло.

Дело происходило после второго завтрака. У мисс Кэрьюферз был обычный прием под палубным тентом. Старого капитана Бентли позвали наверх, и он разрешил ей то, чего ни раньше, ни после никому не разрешал — созвать на палубу портовых мальчишек. Как вы уже знаете, мисс Кэрьюферз была хорошим пловцом; она заинтересовалась этими маленькими пловцами. Забрав у нас всю мелочь, она бросала ее за борт то по одной монете, то пригоршнями, объявляла условия состязания, журила малоискусных, выдавала особые награды наиболее ловким — словом, заправляла всем этим представлением.

Ее особенно восхищали их прыжки. Вы знаете, как трудно, прыгнув с высоты ногами вперед, сохранить вертикальное положение тела в воздухе. Центр тяжести у человека расположен высоко, и тело при прыжке стремится перевернуться. Но эти маленькие бездельники изобрели прием, который, по словам мисс Кэрьюферз, был ей неизвестен, и ей хотелось научиться ему. Прыгнув со шлюпбалок[8] спасательной лодки, они бросались вниз, наклонив голову и плечи и глядя в воду. И только в последний момент они быстро выпрямляли корпус и вертикально врезывались в воду.

Красивая была картина! Не все ныряли одинаково хорошо, но один выделялся в нырянии, как и во всем прочем. Какой-нибудь белый, вероятно, учил его, потому что он нырял «ласточкой» и так красиво проделывал это! Вы знаете, что, ныряя вниз головой с большой высоты, нужно врезаться в воду под правильным углом. Ошибитесь — и вы получите вывих позвоночника и останетесь калекой на всю жизнь. Для малоопытных же это — верная смерть. Но этот мальчик умел нырять: он делал прыжок в семьдесят футов, считая от

[8] notes: 8

Шлюпбалки — деревянные или железные брусья по бортам судна, служащие для подъема и спуска гребных судов.

такелажа; прижав к груди руки, откинув назад голову, он летел, как птица, распластав тело в воздухе; и если бы в таком положении ударился в воду, его разрезало бы пополам, как селедку. Но перед тем как коснуться воды, он наклонял голову вперед, вытягивал руки, округляя их дугой впереди головы, и, грациозно изогнув тело, врезывался в воду по правилам.

Мальчик проделывал это не один раз к общему нашему восторгу; но больше всех восторгалась мисс Кэрьюферз. Мальчишка был не старше двенадцати-тринадцати лет, а он был ловчее всех в своей компании. Он был любимцем своей компании и ее главой. В ней были мальчишки и постарше его, но они признавали его главенство. Это был красивый мальчик, стройный, как молодой Бог, как одушевленная бронза, с широко расставленными глазами, умный и смелый, — яркая прекрасная искра, блестка жизни! Он вызывал в вашем воображении какое-нибудь стройное животное — коня, леопарда, неукротимое, горячее, неугомонное, с гладкими мускулами и грациозными движениями. Жизнь била ключом в этом мальчике. Кожа его пылала жизнью, жизнь горела в его глазах. Мне кажется, я даже слышал, как она поскрипывает в нем! Так

он был свеж, так необузданно дик, так искрился жизнью, что глядеть на него — дух захватывало, как от свежего ветра. Вот каков был этот мальчик! И он первый поднял тревогу в самый разгар состязания. Мальчишки поплыли, беспорядочно смешавшись, к пароходным мосткам, широко забирая руками, брызгая и барахтаясь, и физиономии их были искажены страхом; толкаясь, но поддерживая друг друга, они повыскакивали из воды и, выстроившись в ряд на мостках, стали глядеть в воду.

— Что случилось? — спросила мисс Кэрьюферз.

— Акула, я думаю, — отвечал капитан Бентли. — Повезло же этим попрошайкам, что ни один из них не попался!

— Разве они боятся акул? — спросила она.

— А вы? — ответил он вопросом.

Она вздрогнула, посмотрела через перила в воду и сделала гримасу отвращения.

— Ни за что на свете не пошла бы я в воду, зная, что там акула! — произнесла она, снова вздрогнув. — Они отвратительны! Отвратительны!

Мальчишки пробрались на верхнюю палубу и с обожанием смотрели на мисс Кэрьюферз, которая так щедро бросала им целые пригоршни монет. Представление кончилось, и капитан

Бентли приказал им убираться восвояси. Но мисс Кэрьюферз остановила его.

— Одну минуту, капитан, пожалуйста! Я всегда была убеждена, что туземцы не боятся акул.

Она поманила к себе мальчика, нырявшего «ласточкой», и знаком предложила ему нырнуть. Тот покачал головой и со всей своей компанией, толпившейся сзади, засмеялся, словно услышал веселую шутку.

— Акула, — проговорил он, указывая на воду.

— Нет, — возразила она, — там нет акулы.

Но он уверенно мотнул головой, и стоявшие сзади мальчишки закивали с такой же решительностью.

— Нет! Нет! Нет! — восклицала она. И обратилась к нам: — Кто ссудит мне полкроны и соверен?

Тотчас же полдюжины рук потянулись к ней с полукронами и соверенами, и она взяла две монеты у молодого Ардмора.

Она подняла полукрону вверх и показала мальчишкам. Но никто из них не ринулся к борту, чтобы броситься в воду. Они стояли, глупо улыбаясь. Она предлагала монету каждому в отдельности, и каждый, когда подходила его очередь, только почесывал ногой икру другой ноги,

качал головой и улыбался. Тогда она бросила монету за борт. Пристально, с сожалением на лице следили они за серебристым полетом монеты в воздухе, но ни один не кинулся ей вслед.

— Не делайте этого с совереном, — тихо сказал ей Деннитсон.

Она пропустила это мимо ушей и поднесла монету к глазам мальчика, нырявшего «ласточкой».

— Перестаньте! — обратился к ней капитан Бентли. — Я не бросил бы и больной кошки за борт, зная, что там акула!

Но она смеялась, настаивая на своем, и продолжала соблазнять мальчика монетой.

— Не искушайте его, — настаивал Деннитсон. — Для него это целое состояние, и он может кинуться в воду.

— А вы не кинулись бы? — и она обожгла его взглядом. — Если бы я бросила? — тише добавила она.

Деннитсон покачал головой.

— Высоко вы себя цените, — проговорила она. — За сколько же соверенов вы бросились бы в воду?

— Еще столько не начеканено, чтобы мне прыгнуть за борт, — был ответ.

Она размышляла с минуту, забыв мальчика в препирательстве с Деннитсоном.

— Для меня? — повторила она с большой нежностью в голосе.

— Для спасения вашей жизни — да; но ни для чего больше!

Она повернулась к мальчику. Опять поднесла она монету к его глазам, искушая ее большой ценностью. Потом она сделала вид, что бросает монету, — и он непроизвольно двинулся к перилам, но громкие укоризненные крики товарищей остановили его. В их голосе звучало негодование.

— Я знаю, что это только шутка, — обратился к ней Деннитсон. — Продолжайте шутить сколько угодно, но, ради неба, не бросайте монеты!

Овладел ли ею бес непостижимого своеволия, или же она сомневалась в возможности переубедить мальчика, — кто может сказать? Произошло нечто для всех неожиданное. Из тени тента вылетела монета, блеснула в солнечных лучах и полетела в море сверкающей дугой. Прежде чем кто-нибудь мог удержать его, мальчик перемахнул через борт и описал изящную дугу вслед за монетой. Оба мелькали в воздухе одновременно. Зрелище получилось красивое. Соверен резко

рассек воду — и в том же самом месте, почти в тот же миг мальчик с легким всплеском тоже врезался в воду.

Быстроглазые черные мальчишки испустили дикий вопль. Мы все бросились к борту. Не пытайтесь уверить меня, что акула, прежде чем напасть, должна перевернуться на спину. Эта не перевернулась! В прозрачной воде с высоты, на которой мы находились, нам все было хорошо видно. Акула — громадное животное, и она сразу перекусила мальчика пополам.

Среди нас начался ропот — кто начал, не знаю: может быть, и я. Затем наступило молчание. Первая заговорила мисс Кэрьюферз. Ее лицо было мертвенно бледно.

— Я… не могла и представить себе… — произнесла она, засмеявшись коротким истерическим смехом.

Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы овладеть собой. Она с трудом перевела взгляд на Деннитсона, затем поочередно на всех нас. В глазах ее была написана страшная мука, и губы дрожали. Мы были скоты — о, я понимаю это теперь, оглядываясь назад! Но мы не тронулись с места.

— Мистер Деннитсон, — проговорила она. —

Том, не проводите ли вы меня вниз?

Он не переменил даже направления своего взгляда — самого мрачного, какой я когда-либо видел на человеческом лице, и даже ресницей не шевельнул. Он вынул папиросу из портсигара и закурил. У капитана Бентли заколотило в горле, и он сплюнул за борт. И это было все; потом — молчание.

Она повернулась и твердо зашагала по палубе. Но, пройдя футов двадцать, она зашаталась и рукой ухватилась за стену, чтобы не упасть. Так она шла, держась за стенки каюты и очень медленно подвигаясь вперед…

Трелор смолк. Он повернул голову и почтил маленького человечка холодным вопросительным взглядом.

— Ну-с, каково ваше мнение о ней? — произнес он наконец.

Маленький человечек поперхнулся.

— Мне нечего сказать вам, — проговорил он, — положительно нечего!

Убить человека

Несмотря на то, что фонари тускло горели, она свободно двигалась по большим комнатам и громадным залам, безуспешно разыскивая недочитанную книгу стихов, которую положила не на место и только теперь вспомнила куда. Зажженный в гостиной свет озарил молодую женщину в легком неглиже из бледно-розовой ткани, с шеей и плечами, покрытыми кружевами. На руках ее красовались кольца, а на голове — массивный желтый шиньон, который она еще не успела снять. Это была грациозная и изящная женщина, с нежным овальным лицом, алыми губами, с легким румянцем на щеках и с голубыми глазами, изменчивыми, как хамелеон: они могли по желанию широко раскрываться с выражением девической невинности, становиться жесткими, серыми и блестяще-холодными или зажигаться своенравно и властно.

Она погасила свет и прошла через зал в другую комнату. У входа она остановилась и прислушалась. Издали послышался не шум, а как бы легкое движение. Она могла бы поклясться, что ничего не слышала, и все-таки что-то было. Ноч-

ной покой был нарушен. «Кто бы это из слуг мог бродить по дому?» — недоумевала она. Понятно, не дворецкий, который всегда ложился рано, исключая экстренные случаи. Это не могла быть и ее горничная, которой она разрешила уйти на весь вечер.

Проходя в столовую, она нашла дверь закрытой. Почему она отворила ее и вошла, она сама не знала — разве по безотчетному чувству, что здесь таится причина, нарушившая ночной покой. В комнате было темно, она ощупью добралась до выключателя и повернула его. Когда вспыхнул яркий свет, она отпрянула назад и вскрикнула. Это был, впрочем, не крик, а лишь негромкое:

— Ох!

Перед ней, возле выключателя, у самой стены, стоял человек. В его руке был направленный на нее револьвер. Несмотря на испуг, она заметила, что револьвер черный, с необыкновенно длинным дулом. Она узнала систему Кольта. Человек был среднего роста, дурно одетый, с темными глазами, смуглый от загара. По-видимому, он вполне владел собой. Револьвер в его руке не дрожал и был направлен ей прямо в живот, но не от вытянутой руки, а от бедра, в который упирался локоть.

— Ох! — проговорила она. — Прошу прощения. Вы испугали меня! Что вам нужно?

— Думаю, что мне нужно выйти отсюда, — ответил он, комически поджав губы. — Я вроде как заблудился в этой келье, и если вы будете так добры и покажете мне выход, я не причиню вам никакого беспокойства и, право, уйду.

— Но что вы тут делаете? — спросила она, и голос ее стал резким, как у человека, привыкшего повелевать.

— Просто пришел ограбить вас, мисс, больше ничего. Я искал, чего бы тут пощипать. Я думал, что вас нет дома, ведь вы садились в машину с вашим стариком. Стало быть, это был ваш «па», а вы мисс Сетлиф?

Миссис Сетлиф заметила его ошибку, одобрила его наивный комплимент, но решила не разуверять его.

— Откуда вы знаете, что я мисс Сетлиф? — спросила она.

— Разве это не дом старого Сетлифа?

Она кивнула.

— Я не знал, что у него есть дочь: полагаю, это вы? Так вот, если это вам не в тягость, покажите мне выход, за что я буду вам очень благодарен!

— Но зачем мне делать это? Ведь вы вор, гра-

битель!

— Если бы мне это дело не было внове, я бы сорвал кольца с ваших пальцев вместо того, чтобы деликатничать с вами, — возразил он. — Я пришел пощипать старого Сетлифа, а вовсе не грабить женщин. Если вы отойдете в сторону, я и сам сумею отыскать выход!

Миссис Сетлиф была умная женщина и сразу поняла, что такого человека нечего опасаться. Что он не заправский злодей, в этом она была уверена. По его говору она поняла, что он не городской житель, и на нее даже как будто пахнуло свежим воздухом степных просторов.

— А если я крикну? — с любопытством спросила она. — Если позову на помощь? Неужели вы решитесь стрелять в меня? В женщину?..

Она уловила минутную растерянность в его глазах. И он ответил медленно и раздумчиво, как бы решая сложную задачу:

— Думаю, что в таком случае мне пришлось бы придушить вас и порядком изувечить.

— Женщину?

— Уверен, что пришлось бы так сделать, — повторил он, и она увидела, как мрачно сжались его губы. — Вы-то, положим, слабая женщина, но видите ли, мисс, я не могу позволить себе сесть

в тюрьму. Нет, мисс, никак не могу! У меня товарищ на Западе, он ждет меня. Он сидит в яме, и я должен вызволить его. — Он еще мрачнее сжал губы. — Мне кажется, я мог бы задушить вас, не сделав вам вот настолечко больно!

В ее глазах появилось выражение младенческого недоверия.

— Я до сих пор никогда не видела грабителей, — объясняла она, — и не могу вам передать, как это интересно!

— Я не грабитель, мисс. Не настоящий, значит, — торопливо добавил он, заметив ее недоверчивую усмешку. — Оно похоже на то, раз я нахожусь у вас в доме. Но это я в первый раз взялся за такую работу. Мне нужны деньги — до зарезу! Кроме того, я вроде как собираю то, что мне причитается.

— Не понимаю, — улыбнулась она поощрительно. — Вы пришли сюда грабить, а грабить — значит брать то, что не ваше.

— И да и нет в настоящем случае. Но я думаю, мне лучше уйти!

Он направился к дверям столовой, но она преградила ему путь — и какая же это была очаровательная преграда! Он протянул было левую руку, чтобы схватить ее, но остановился в

нерешительности. Было очевидно, что на него подействовало нежное очарование женственности.

— Видите? — воскликнула она торжествующе. — Я знала, что вы не тронете меня!

Человек пришел в замешательство.

— Я никогда не обижал женщин, — объяснил он, — это не так легко. Но если вы закричите, я непременно уйму вас!

— Не побудете ли вы со мной несколько минут, потолкуем, что ли? — уговаривала она. — Это так занятно! Вы бы мне объяснили, почему красть — значит собирать то, что причитается вам!

Он с восхищением посмотрел на нее.

— Я всегда думал, что женщины боятся воров, — признался он. — Но вы как будто не из таких!

Она весело рассмеялась.

— Вор вору рознь, как вы знаете. Я не боюсь вас, потому что уверена — вы не из тех людей, которые могут обидеть женщину. Право, поговорите со мной немножко! Нам никто не помешает, я одна дома. Мой… мой отец уехал с ночным поездом в Нью-Йорк, слуги все спят. Мне хочется накормить вас — ведь женщины всегда готовят полуночный ужин для пойманных воров — так по крайней мере они поступают в рассказах, которые печатаются в журналах. Но я не знаю,

где искать еду. Может, вы хотите чего-нибудь выпить?

Видимо, колеблясь, он не ответил, но она видела по его глазам, как растет его восхищение ею.

— Не боитесь ли вы? — спрашивала она. — Я не отравлю вас, даю слово. Я сама выпью с вами, чтобы вы были спокойны.

— Вы славная девчонка! — воскликнул он, впервые опуская руку с оружием. — Никто меня теперь не убедит в том, что городские женщины — трусихи. Вы ведь что? Мягкая пушинка, не больше. А в вас есть-таки смелость! И вы доверчивы к тому же. Немного найдется женщин и даже мужчин, которые так бы встретили вооруженного человека, как вы меня!

На этот комплимент она ответила приятной улыбкой и продолжала самым серьезным тоном:

— Это потому, что вы мне понравились. С виду вы слишком порядочный человек, чтобы грабить. Вы не должны этим заниматься. Если вам не повезло, беритесь за работу. Полно, бросьте этот противный револьвер и давайте потолкуем. Главное, что вам нужно, — это работа!

— Только не в этом городишке, — с горечью ответил он. — Я на два дюйма стер себе ноги, ища работы. Честное слово, я был не последний

человек… До того, как начал искать работу.

Веселый смех, которым она встретила это заявление, явно польстил ему; она это заметила и решила использовать благоприятный момент. Она смело двинулась от двери к буфету.

— Послушайте, вы должны мне все рассказать, пока я найду для вас ужин. Чего вам? Виски?

— Да, мэ-эм, — ответил он, идя за нею, но продолжая в то же время прижимать рукой огромный револьвер и подозрительно оглядываться на оставленную настежь дверь.

Она налила ему стакан у буфета.

— Я обещала выпить с вами, — нерешительно проговорила она. — Но я не люблю виски. Я… я предпочитаю херес.

Она нерешительно подняла бутылку хереса, как бы спрашивая его согласия.

— Понятно, — кивнул он в ответ. — Виски — напиток для мужчин. Я не люблю, когда женщины пьют виски; вино им больше подходит.

Она потянулась стаканом к его стакану, взглянув на него с теплым участием.

— За хорошую работу!

Она остановилась, увидя на его лице гримасу отвращения. Он отдернул стакан, едва прикоснувшись к нему губами.

— В чем дело? — с тревогой спросила она. — Вам это не нравится? Я, может быть, ошиблась?

— Что за чудной виски. Словно его жгли и обкуривали при выделке…

— О! Я сглупила! Я дала вам шотландский! Разумеется, вы не привыкли к ржаному. Дайте, я переменю! — И она чуть не с материнской заботливостью достала другой стакан, нашла и откупорила нужную бутылку.

— Этот лучше? — спросила она.

— Да, сударыня. Не отдает дымом. Это правильный, хороший напиток! У меня капли во рту не было целую неделю. Да, виски гладкий, маслянистый, этакий, видать, не на химической фабрике сделан!

— Вы много пьете?

Это был полувопрос, полувызов.

— Нет, мэ-эм, не так чтобы очень. Оно, правда, случалось хватить, только не часто. Но порой бывает, что добрая рюмка приходится в самую точку, и вот сейчас как раз такой случай. Ну-с, мэ-эм, благодарим за доброту и угощение, мне самое время двинуть!

Но миссис Сетлиф не хотелось расстаться со «своим грабителем». В жизни этой слишком рассудочной женщины не хватало романтики,

в настоящей же ситуации было что-то острое, захватывающее, необычное. Кроме того, она видела, что опасности нет. Человек, несмотря на свою тяжелую челюсть и мрачный взгляд темных глаз, был чрезвычайно покладист. И где-то в глубине ее сознания шевелилась мысль о восторженной аудитории приятелей. Было бы просто глупо упустить такой случай блеснуть!

— Вы мне еще не объяснили, почему быть грабителем теперь — значит просто отобрать то, что вам причитается, — проговорила она. — Присядьте вот сюда, за стол, и расскажите мне об этом!

Она придвинула стул для себя и усадила его напротив. Он не ослабил своей бдительности — это она видела, — и глаза его быстро блуждали вокруг, неизменно возвращаясь к ней все с тем же невольным восхищением, но не задерживаясь надолго. Она видела также, что, разговаривая с ней, он чутко прислушивался ко всем другим звукам. Не оставлял он без внимания и свой револьвер, который лежал на углу стола между ними, рукояткой к его правой руке.

Ведь он находился в новом, незнакомом ему месте. Этот сын Запада, хорошо знавший лесное дело и полевые работы, всегда с зорким глазом и чутким ухом, настороженный и подозрительный,

не знал, что под столом, у самой ее ноги, находится кнопка электрического звонка. Он никогда не слыхал и не мог даже вообразить существования такой штучки, и вся его осторожность и чуткость здесь оказались бессильными.

— Дело в том, мисс, — начал он в ответ на ее настойчивую просьбу, — что старый Сетлиф однажды объегорил меня в одном дельце. Штука была грязная, но сошла. Все получается правильно, по закону, когда за плечами имеешь несколько сот миллионов! Но я не стану хныкать и обижаться на вашего «па». Он ведь не знает меня и, верно, даже не подозревает, что объегорил меня! Он чересчур крупный делец, думает и действует миллионами и, наверное, даже не слышал о такой мелкой сошке, как я! Ведь он воротила! У него целая армия разных экспертов, которая думает за него, создает и разрабатывает планы, и я слышал — некоторые из них получают больше жалованья, чем президент Соединенных Штатов. Я — один из тысячи, разоренных вашим «па», — и только!

У меня, мэм, была яма в земле, шахта то есть, совсем махонькая, об одной лошаденке, с водяной турбинкой. Когда «Сетлиф и Ко» разорили Айдахо, реорганизовали литейный трест и, захва-

тив всю землю, завели большие гидравлические установки у Туин Пайнс, я прогорел дотла, даже собственных денег не выручил. И меня вычеркнули из списка еще до первых торгов. И вот в эту ночь, зная, что я нужен моему другу и не имея ни гроша, я решил заглянуть сюда и пообчистить немного вашего «па». Находясь в такой нужде, я считал, что мне оно вроде как следует!

— Предположим, что все это так, — ответила миссис Сетлиф, — все-таки грабительство остается грабительством, и это не послужило бы вам оправданием на суде.

— Я это знаю, — смиренно согласился он. — То, что правильно, не всегда законно! Оттого-то я не совсем спокойно сижу здесь и растабарываю с вами. Не то что мне не по душе ваша компания — мне с вами очень приятно, но только я никак не могу допустить, чтобы меня поймали! Я знаю, как со мной поступят в этом городе. Только на прошлой неделе одного молодца осудили на пять лет тюрьмы за то лишь, что он остановил на улице человека и отнял у него два доллара и восемьдесят пять центов! Я читал об этом в газете. Когда времена плохие и работы нет, люди становятся отчаянными. А люди, у которых есть что пограбить, тоже приходят в отчаяние и вы-

мещают зло на ком попало. Попадись я теперь, я получил бы никак не меньше десяти лет отсидки! Вот почему мне охота уйти поскорей…

— Нет, подождите. — Она подняла руку, словно желая удержать его, и одновременно сняла ногу с кнопки, которую нажимала почти непрерывно. — Вы мне еще не сказали своего имени.

Он заколебался.

— Зовите меня Дэйвом.

— Итак, Дэйв… — и она засмеялась, мило сконфузившись. — Нужно что-нибудь сделать для вас! Вы еще молоды, только-только вступили на дурной путь. Если вы начнете самовольно собирать то, что вам причитается, по-вашему, вы кончите тем, что станете брать и то, что вам заведомо не причитается! И вы знаете, какой будет конец. Вместо этого мы поищем для вас какой-нибудь честный труд.

— Мне нужны деньги, и сию минуту, — угрюмо ответил он. — Они нужны мне не для себя, а для друга, как я уже говорил вам. Он в большой беде, и его нужно вызволить теперь или никогда.

— Я могу найти вам место, — быстро проговорила она, — и… вот еще что! Я ссужу вас деньгами, которые вам нужно отослать вашему другу. Вы мне вернете их из вашего жалованья…

— Долларов триста будет довольно, — медленно выговорил он. — Триста долларов вполне устроят его. Я готов натирать себе мозоли целый год только за содержание и за несколько центов на табак…

— Ах, вы курите! Я и не подумала об этом…

Она протянула руку над револьвером к его руке и указала на предательские желтые следы на его пальцах. В то же время она измерила глазами расстояние от револьвера до его руки и до своей собственной. Ей так хотелось схватить оружие одним быстрым движением. Она была уверена, что это легко, — и все же колебалась. В конце концов она сдержалась и отдернула руку.

— Вам хочется курить? — спросила она.

— Смерть хочется!

— Что ж, курите, пожалуйста! Мне это не мешает, я даже люблю это — папиросы, конечно.

Левой рукой он полез в задний карман, вытащил оттуда листок мятой папиросной бумаги и положил его в свою правую руку возле револьвера. Он вторично порылся в кармане и к бумаге прибавил щепотку бурого скомканного табаку. Положив обе руки на револьвер, он стал сворачивать папиросу.

— По тому, как вы не спускаете глаз с этого

противного оружия, можно подумать, что вы боитесь меня! — задорно произнесла она.

— Я, собственно, не боюсь вас, мэм, но в данных обстоятельствах как-то боязно…

— Я же не побоялась вас!

— Вам нечего было терять.

— Мою жизнь, — возразила она.

— Вы правы! — тотчас же согласился он. — И вы не испугались меня! Может, я чересчур осторожен…

— Я бы не сделала вам зла, — и тут же она нащупала туфлей кнопку звонка и нажала ее. В это самое время в глазах ее светилось искреннее и серьезное выражение. — Я вижу, вы разбираетесь в людях. И в женщинах. И если я попытаюсь удержать вас от преступной жизни и найти вам честную работу… а?

Он был смущен.

— Прошу прощения, мэм, — проговорил он. — Полагаю, мое волнение мало похвально.

Сказав это, он снял свою правую руку со стола, закурил папиросу и опустил руку вниз.

— Спасибо за доверие! — произнесла она тихо и мягко, решительно отводя глаза от револьвера и крепче нажимая кнопку звонка.

— Насчет этих трехсот долларов, — начал он, —

я могу отправить их на Запад по телеграфу нынче же. И согласен отрабатывать их целый год только за содержание…

— Вы заработаете больше. Я могу обещать вам семьдесят пять долларов в месяц. Вы умеете ухаживать за лошадьми?

Он просиял, и глаза его засверкали.

— Так вот, поступайте на службу ко мне или, вернее, к моему отцу, хотя обычно я нанимаю всех служащих. Мне нужен второй кучер…

— И носить ливрею? — резко прервал он ее, и презрение свободного сына Запада прозвучало в его голосе и выразилось в гримасе.

Она снисходительно улыбнулась.

— Стало быть, не подойдет. Дайте подумать. Да, вот что! Умеете ли вы обуздывать и объезжать жеребцов?

Он утвердительно кивнул.

— У нас племенной завод, и всегда есть место для такого человека, как вы. Вы согласны?

— Согласен ли я, мэм? — и в голосе его послышалась горячая признательность. — Скажите, где это! Я поеду хоть завтра! И одно я вам обещаю, мэм; вы никогда не пожалеете, что протянули в беде руку Хьюги Люку!..

— Мне помнится, вы назвали себя Дэйвом? —

снисходительно упрекнула она.

— Да, мэм, так я назвал себя, — верно; прошу прощения — я соврал! Мое настоящее имя — Хьюги Люк. Дайте мне адрес вашего конного завода и на билет — и я завтра же утром отправлюсь туда!

В течение разговора она не прекращала попыток дозвониться. Она нажимала кнопку всячески: три коротких звонка и один продолжительный, два и один и пять подряд. Она дала целый ряд коротких звонков, а однажды держала ногу на кнопке целых три минуты. И то мысленно корила глупого заспавшегося дворецкого, то начинала сомневаться в исправности ли звонок.

— Я так рада, — продолжала она, — что вы согласились. Особенных хлопот у вас не будет. Но прежде вам придется позволить мне сходить наверх за кошельком. — Она заметила недоверие, мгновенно вспыхнувшее в его глазах, и поспешно прибавила: — Поймите, ведь я доверяю вам триста долларов?

— Я верю вам, мэм, — галантно ответил он. — Хотя никак не могу совладать со своими нервами…

— Итак, я могу пойти за ними?

Он еще не успел выразить своего согласия, как

до нее донесся отдаленный глухой скрип. Она узнала скрип двери из каморки дворецкого. Но звук был очень слаб — скорее намек на звук, и она не услыхала бы его, если бы не прислушивалась так напряженно все время. Человек тоже услышал его. Он вздрогнул и сразу насторожился.

— Что это такое?

В ответ она левой рукой стремительно потянула револьвер к себе. Она знала, что он испугается, и ей это было нужно; в следующую же минуту он протянул руку к пустому месту, где должен был лежать револьвер.

— Сядьте! — резко приказала она новым для него голосом. — Не шевелитесь! Руки на стол!

Она использовала урок, который он ей дал. Вместо того, чтобы держать тяжелое оружие в вытянутой руке, она положила револьвер на стол рукояткой и направила дуло не в его голову, а в грудь. А он, спокойно повинуясь ее приказаниям, хорошо понимал, что надеяться на отдачу оружия и в результате на промах не приходится. Видел он также, что револьвер неподвижен, и рука у нее не дрожит, и хорошо представлял себе дыры, пробиваемые пулями с мягким кончиком. Он следил не за ней, а за курком, который приподнялся от нажатия ее указательного пальца на собачку.

— Полагаю, вас нужно предупредить, что тут чертовски тонкий механизм. Не надавливайте слишком сильно, не то во мне будет дыра величиной с грецкий орех…

Она немного ослабила спуск.

— Этак лучше, — сказал он. — А самое лучшее — опустите дуло совсем. Вы видите, как легко действует спуск. Если вам понадобится, так от легкого нажатия курок поднимется и упадет и расплещет хорошую кашу на вашем чистеньком полу!

Дверь позади открылась, и кто-то вошел в комнату. Но он не повернул головы. Он смотрел на нее и видел перед собой другое лицо — жесткое, холодное, безжалостное, но все же ослепительно прекрасное. Глаза ее тоже стали жесткие и горели холодным огнем.

— Томас! — приказала она. — Пойдите к телефону и вызовите полицию! Почему вы так долго не приходили?

— Я пришел сейчас же, как услышал звонок, сударыня, — был ответ.

Грабитель не сводил с нее своих глаз, и она смотрела на него в упор, но она заметила, что при упоминании о звонке в его глазах выразилось недоумение.

— Прошу прощения, — говорил в это время дворецкий за его спиной, — не лучше ли будет поднять слуг?

— Нет, позвоните в полицию! Я задержу этого человека. Идите да живее!

Дворецкий выскользнул из комнаты, и мужчина с женщиной остались одни, не сводя друг с друга глаз. Для нее это было новое переживание, полное острого наслаждения; она уже представляла себе разговоры друзей, видела заметку в еженедельной хронике о «прекрасной молодой миссис Сетлиф, задержавшей вооруженного грабителя». Сенсация будет большая, в этом она была уверена.

— Когда вам вынесут приговор, о котором вы говорили, — холодно начала она, — у вас будет время подумать о том, как глупо было с вашей стороны брать чужое имущество и угрожать женщине револьвером. У вас хватит досуга запомнить урок! А теперь скажите мне правду. У вас нет никакого друга в беде? Все, что вы мне рассказывали, — ложь?

Он не отвечал. Хотя глаза его не отрывались от нее, они казались пустыми. И действительно, на мгновение женщину как бы задернуло пеленой, а он увидел перед собой обширные

сожженные солнцем степи Запада, где мужчины и женщины были лучше гнилых горожан, какие ему встречались в трижды прогнивших городах американского Востока.

— Говорите же! Почему вы молчите? Почему не продолжаете лгать? Почему не просите отпустить вас?

— Я попросил бы, — ответил он, облизывая свои сухие губы, — попросил бы отпустить меня, если бы…

— Если бы что? — решительно спросила она, когда он запнулся.

— Я все думаю о словечке, о котором вы мне напомнили. Да, я попросил бы вас, если бы вы были порядочная женщина.

Краска сбежала с ее лица.

— Будьте осторожнее! — предупредила она.

— Вы не посмеете убить меня! — с презрением произнес он. — Свет — довольно паршивое место, если по нему шатаются люди вроде вас; но, я думаю, все-таки он не так плох, чтобы позволить вам пробить во мне дырку. Вы очень злы, но штука в том, что вы слабы в самой этой злобности. Не так уж трудно убить человека, но у вас не хватит духу. Вот где вы прогадали!

— Выражайтесь осторожнее! — повторила

она. — Не то, предупреждаю вас, вам плохо придется. Можно сделать ваш приговор и суровым и легким!

— И что это с Богом случилось, — продолжал он как будто не к месту, — что он оставляет вас на свободе? Понять не могу, зачем он шутит такие шутки с бедным человечеством. Уж если бы я был Богом…

Он не окончил, остановленный приходом дворецкого.

— Телефон неисправен, сударыня, — доложил он. — Провода перерезаны или другая причина, — но я не могу дозвониться на центральную.

— Идите, позовите кого-нибудь из слуг! — приказала она. — Пошлите его за полицией и приходите сюда.

Снова вдвоем.

— Не будете ли добры, мэм, ответить мне на один вопрос? — произнес вор. — Слуга говорил что-то о звонке. Я следил за вами, как кошка, и не видел, чтобы вы звонили.

— Звонок под столом, несчастный дурак! Я нажимала звонок ногой.

— Благодарю вас, сударыня! Мне и раньше казалось, что я уже встречал людей вроде вас, а теперь я уверен в этом. Я открыл перед вами свою

душу, доверился вам и был откровенен, а вы все время подло лгали мне!

Она ехидно засмеялась.

— Продолжайте! Говорите, что вам хочется. Это очень занятно!

— Вы делали мне глазки, притворяясь нежной и доброй, все ссылаясь на то, что на вас юбка, а не штаны, и в то же время не снимали ноги с кнопки под столом. Что же, и в этом есть утешение! Лучше быть бедным Хьюги Люком, отбывающим свои десять лет, чем быть на вашем месте. Сударыня, преисподняя полна таких женщин, как вы!

В наступившем молчании мужчина не спускал глаз с женщины, видимо, на что-то решаясь.

— Продолжайте! — настаивала она. — Скажите еще что-нибудь!

— Не беспокойтесь, мэм, я скажу «еще что-нибудь». Наверняка скажу! Знаете вы, что я сделаю? Я просто встану с этого стула и выйду через эту дверь. Я отнял бы у вас револьвер, но вы можете сдуру спустить курок. Лучше оставьте его себе — это хороший револьвер. Повторяю, я пойду прямо через эту дверь! И вы не посмеете спустить курок. Чтобы застрелить человека, нужно духу побольше, а у вас — душонка! Ну, приготовьтесь, посмотрим, можете ли вы спустить курок. Я не

причиню вам вреда. Я выйду через эту вот дверь. Я начинаю!

Не спуская с нее глаз, он отодвинул стол, стул и не спеша встал. Курок поднялся наполовину. Она наблюдала за ним, он — за ней.

— Нажимайте крепче, — советовал он, — курок еще и наполовину не взведен. Ну, продолжайте, спустите его — и убейте человека! Разбрызгайте его мозги по полу или пробейте в нем дыру величиной с ваш кулак. Вот что значит убить человека!

Курок толчками, но тихо поднимался. Человек повернулся и медленно пошел к двери. Она повернула револьвер, направив дуло в его спину. Дважды поднимала она до половины курок и нерешительно опускала.

Перед самой дверью человек на мгновение обернулся. Презрительная гримаса скривила его губы. И тихим голосом, почти шепотом он произнес непередаваемо гнусное ругательство, в которое вложил все свое презрение к ней.

Мексиканец

I

Никто не знал его прошлого — и члены Хунты[9] меньше всего. Он был их «маленькой тайной», их «великим патриотом» и по-своему так же ревностно трудился для грядущей мексиканской революции, как они сами. Они поздно поняли это, ибо никто из членов Хунты не любил его. В тот день, когда он в первый раз заглянул в их людные шумные комнаты, все они заподозрили в нем шпиона — одно из продажных орудий тайной полиции Диаса[10]. Слишком уж много товарищей сидело в гражданских и военных тюрьмах, рассеянных по территории Соединенных Штатов. Некоторых, закованных в кандалы, даже перевели через границу, чтобы поставить к стенке и расстрелять.

---

[9] notes: 9

Хунта — в Испании — комиссия, созванная для решения каких-либо важных государственных дел. В Мексике — тайная революционная организация.

[10] notes: 10

Порфирио Диас, избранный впервые президентом Мексики в 1877 г., в 1884 г. добился изменения конституции и постепенно превращал Мексиканскую Республику в монархию.

Наружность мальчика не производила благоприятного впечатления. Это именно был мальчик — не больше восемнадцати лет, и не слишком высокого роста для этих лет. Он назвал себя Фелипе Ривера и заявил, что желает работать на революцию. Только и всего, — ни одного лишнего слова, никаких пояснений. Он молча стоял и ждал. Ни улыбки на губах, ни привета в глазах. Рослый, франтоватый Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Перед ним было нечто отталкивающее, страшное, непостижимое. Было в черных глазах мальчика что-то ядовитое, змеиное. Они горели холодным огнем сосредоточенного безграничного ожесточения. Он быстро переводил глаза с лиц революционеров на пишущую машинку, за которой усердно работала миссис Сэтби. Глаза его остановились на ней лишь на мгновение; случайно она обернулась — и тоже испытала неопределенное чувство, заставившее ее прекратить работу. Чтобы возобновить прерванную нить письма, ей пришлось перечесть текст.

Паулино Вэра вопросительно поглядел на Ареллано и Рамоса, а те, в свою очередь, переглянулись между собой. Нерешительность, сомнение видны были в их глазах. Этот худощавый мальчик был сама Неизвестность, полная

угрозы Неизвестность. Он был непостижим, не похож на обыкновенного честного революционера, у которых самая непримиримая ненависть к Диасу и его тирании в конце концов была лишь ненавистью честного и сильного патриота. Тут перед ними было нечто другое — что именно, они не могли бы сказать. Впрочем, Вэра, самый порывистый из них, действовавший быстро и решительно, не стал задумываться.

— Ну, хорошо, — холодно промолвил он. — Ты говоришь, что хочешь работать на революцию. Сними пальто, повесь его вон там. Я покажу тебе, где ведра и тряпки. Смотри, какой грязный пол. Начни с того, что вымой его и вымой полы в других комнатах. Нужно почистить плевательницы. Потом окна.

— Это на революцию? — спросил мальчик.

— Это на революцию, — ответил Вэра.

Ривера бросил на него подозрительный, холодный взгляд и начал снимать пальто.

— Хорошо, — сказал он.

И больше ни слова.

Каждый день он являлся на работу — подметал, скреб, мыл, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку и топил печи прежде, чем самые усердные из революционеров подхо-

дили к своему столу.

— А ночевать тут можно? — спросил он как-то.

Ага! Вот оно! Вот где показались когти Диаса. Спать в комнате Хунты — значило иметь доступ ко всем ее секретам, к списку фамилий, к адресам товарищей, находящихся в Мексике. Ему отказали, и Ривера больше не поднимал этого вопроса. Где он ночевал, они не знали, не знали и того, где он питается и чем. Однажды Ареллано предложил ему пару долларов. Покачав головой, Ривера отказался от денег:

— Я работаю на революцию.

Организация современной революции требует денег, и Хунта всегда в них нуждалась. Члены Хунты голодали и трудились, как волы, не считаясь с тем, что их рабочий день был самым долгим, — и все-таки порой казалось, что судьба революции зависит от каких-нибудь нескольких долларов. Однажды — это было в первый раз, когда квартирная плата была просрочена за два месяца и хозяин угрожал выселением, — поломойка Фелипе Ривера, в убогом, дешевом костюме, поношенном и рваном, выложил шестьдесят долларов золотом на письменный стол миссис Сэтби. Это случалось не раз. Триста писем, отбитых на машинке (просьбы о помощи, воззвания к организованным

рабочим группам, воззвания к редакторам газет, протесты против возмутительного обращения с революционерами в судах Соединенных Штатов), лежали неотправленными в ожидании марок. У Вэры исчезли часы — старинные золотые часы с репетиром, принадлежавшие его отцу. Исчезло также простое золотое колечко с пальца руки миссис Сэтби. Положение было отчаянное. Вэра и Ареллано растерянно покручивали свои длинные усы. Письма надо было отправить во что бы то ни стало, а почта не дает кредита покупателям марок. Однажды Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу марок по два цента.

— А если это золото проклятого Диаса? — сказал Вэра товарищам.

Те подняли брови, но ничего не ответили. И Фелипе Ривера, поломойка для революции, продолжал, как только становилось необходимо, выкладывать золото и серебро на нужды Хунты. И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали его. У него были совершенно иные, чем у них, повадки. Он не откровенничал, не давал себя прощупать. И хотя он был очень молод, они ни разу не могли заставить себя учинить ему допрос.

— Может быть, великая, одинокая душа, не знаю, не знаю… — беспомощно говорил Арелланo.

— Он не от мира сего, — говорил Рамос.

— У него опустошенная душа, — сказала Мэй Сэтби. — В ней выжжены смех и веселье. Он как мертвый — и все же он жив каким-то страшным образом.

— Наверное, прошел огонь и воду и медные трубы, — высказался Вэра. — Только человек, прошедший огонь и воду и медные трубы, может быть таким, а ведь он еще мальчик.

Но полюбить его они не могли. Он никогда ни о чем не заговаривал, не расспрашивал, не высказывал своего мнения. Обычно он стоял и слушал без всякого выражения на лице, как мертвец, если не считать его глаз, горевших холодным огнем, — и это во время самых пылких споров о революции. Глаза его перебегали с лица на лицо говоривших и пронизывали, как стрелы искрящегося льда, смущая и волнуя.

— Он не шпион, — заявил Вэра Мэй Сэтби. — И он патриот, запомните мои слова, — величайший патриот из всех нас. Я это знаю, я это чувствую — сердцем и умом чувствую это. Но все же я его не знаю.

— У него дурной характер, — говорила Мэй Сэтби.

— Я знаю, — вздрогнув, сказал Вэра. — Он както посмотрел на меня своими удивительными глазами. В них нет любви, в них — угроза; они свирепы, как у дикого тигра. Я знаю, что если бы я изменил нашему делу, он бы убил меня. У него нет сердца. Он безжалостен, тверд, как сталь, холоден и жесток, как мороз. Он — как лунное сияние в зимнюю ночь, когда человек замерзает на дикой горной вершине. Я не боюсь Диаса и всех его убийц. Но этого мальчика — его я боюсь. Говорю вам правду — боюсь. От него веет дыханием смерти.

И все же именно Вэра уговорил остальных оказать ему первый знак доверия. Между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией была прервана связь. Троих товарищей заставили вырыть себе могилу и расстреляли над нею. Двух других власти Соединенных Штатов посадили в тюрьму в Лос-Анджелесе. Командир войск Федерации — Хуан Альварадо — был чудовищем. Он расстроил все их планы. Они не могли теперь связаться ни со старыми, ни с новыми революционерами в Нижней Калифорнии.

Юному Ривере надавали инструкций и от-

правили на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо мертв. Его нашли в постели — с кинжалом, по рукоятку воткнутым в грудь. Это уже выходило за рамки полученных Риверой инструкций, но члены Хунты знали каждый его шаг. Они не стали задавать ему вопросов. Сам же он не рассказал ничего. Но переглянувшись, они обо всем догадались.

— Ведь я говорил вам, — сказал Вэра. — Этого юноши Диас должен больше бояться, чем кого бы то ни было. Он неумолим. Он — десница божия.

«Дурной характер», о котором упоминала Мэй Сэтби и который видели все они, проявился наглядным образом. Мальчик приходил то с рассеченной губой, то с синяком на щеке, то с распухшим ухом. Ясно было, что он дрался где-то на стороне, где он ел и спал, зарабатывал деньги и ходил по путям, неведомым Хунте. С течением времени его приставили набирать материал для маленького революционного листка, который они выпускали еженедельно. Бывали времена, когда он не в состоянии был набирать — когда пальцы его рук были расшиблены вдребезги, та или другая рука беспомощно висела на боку, а лицо искажено от мучительной боли.

— Бродяга, — говорил Ареллано.

— Завсегдатай грязных притонов, — добавлял Рамос.

— Но где же он достает деньги? — спрашивал Вэра. — Не далее как нынче, сию минуту, я узнал, что он оплатил счет за белую бумагу — сто сорок долларов.

— А эти его отлучки, — подключилась к разговору Мэй Сэтби. — Он ведь никогда не объясняет их.

— А что, если его выследить? — предложил Рамос.

— Я не хотел бы этим заняться, — сказал Вэра. — Боюсь, вы бы меня больше не увидели, разве для того, чтобы похоронить. У него страстная натура. Даже Богу он не позволил бы стать между собой и предметом своей страсти.

— Я чувствую себя перед ним ребенком, — признался Рамос.

— Для меня он сила — нечто первобытное, дикий волк, гремучая змея, жалящая многоножка, — говорил Ареллано.

— Он — воплощение революции, — сказал Вэра. — Он — ее дух и пламя, неутолимый вопль о мщении, которое не кричит, а убивает бесшумно. Он — ангел разрушения, проносящийся в ночной тишине.

— А мне хочется плакать, когда я думаю о нем, — говорила Мэй Сэтби. — Он никого близко к себе не подпускает. Он всех ненавидит. Нас он терпит, ибо мы — путь к его цели. Он один… одинок… — Голос ее прервался, она всхлипнула, глаза затуманились.

Дела Риверы были воистину таинственны; бывало, он не показывался неделю кряду. Однажды он отсутствовал целый месяц. После таких отлучек он в конце концов возвращался и, не сказав ни слова, выкладывал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. И опять многие дни и недели проводил все свое время в Хунте. А потом, через неопределенные промежутки, исчезал на целые дни, с раннего утра до позднего вечера. После этого он приходил утром и оставался позже всех вечером. Иногда Ареллано заставал его в полночь набирающим материал свежеизбитыми пальцами или же с рассеченной, еще окровавленной губой.

II

Приближался кризис. Будет ли революция или нет — зависело от Хунты. А Хунта обнищала. Деньги нужны были больше, чем когда бы то ни было раньше, а добывать их становилось все

труднее. Патриоты отдали свои последние центы и больше не могли дать ничего. Батраки — беглые пеоны из Мексики — отдавали половину своего скудного заработка. Но требовалось куда больше. Надрывная, тайная, кропотливая работа многих лет должна была принести плоды. Время пришло. Революция висела на волоске. Один толчок, одно последнее героическое усилие — и чаша весов наклонится в сторону победы. Они знали свою Мексику. Раз начавшись, революция сама о себе позаботится. Вся машина Диаса рассыплется, как карточный домик. На границе все было готово к восстанию. Какой-то янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира» ждал только приказа, чтобы перейти границу и начать завоевание Нижней Калифорнии. Но ему нужно было оружие. А дальше, вплоть до Атлантического океана, поддерживая контакт с Хунтой и нуждаясь в оружии, находились авантюристы, искатели приключений, бандиты, сломленные бурей невзгод члены американских профессиональных союзов, социалисты, анархисты, головорезы, мексиканские беженцы, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные шахтеры из копей Кер д'Ален и Колорадо, жаждавшие сразиться, — вся «накипь» неукротимых душ на

безумно сложном современном мире.

Один вечный и непрестанный вопль слышался оттуда — ружей и снарядов!

Стоило только бросить эту разнородную, жаждущую мести массу через границу — и революция начнется. Таможня, северные порты были бы захвачены. Диас не смог бы сопротивляться. Он не посмел бы бросить главную массу своих армий на революцию, ибо ему нужно было сдерживать Юг. А на Юге все же вспыхнуло бы пламя. Народ поднялся бы. Город за городом падал бы. Штат за штатом рассыпался бы. Наконец, со всех сторон победоносные армии революции устремились бы на самый Мехико — последний оплот Диаса.

Но где взять денег? Люди были — нетерпеливые, умевшие владеть оружием. Они знали торговцев, готовых продать и доставить его. Подготовка революции истощила все средства Хунты. Был истрачен последний доллар, последние ресурсы; последний голодающий патриот очищен, как липка, а весы великого дела все еще колебались. Ружей и снарядов! Оборванные батальоны нужно одеть и вооружить. А как? Рамос пожалел о своих конфискованных поместьях. Ареллано проклял мотовство своей юности. Мэй Сэтби допытывалась: было бы иначе, если бы Хунта в прошлом

была экономнее?..

— И подумать, что свобода Мексики может погибнуть из-за нескольких жалких тысяч долларов, — проговорил Паулино Вэра.

Отчаяние было написано на всех лицах; Хосе Амарильо, их последняя надежда, недавно обращенный революционер, обещавший деньги, был арестован на своей гасиенде в Чиуауа и расстрелян у стены собственной конюшни. Известие об этом только что получено.

Ривера, ползавший на коленях и мывший пол, с щеткой на весу, с мылом на голых руках, по которым текла грязная вода, поднял голову.

— Довольно ли будет пяти тысяч? — спросил он.

На него посмотрели с изумлением. Вэра кивнул головой и подавился слюной. Он не мог проговорить ни слова, но в одно мгновение зажегся безграничной верой.

— Заказывайте ружья, — промолвил Ривера, а затем произнес самую длинную речь, какую они когда-либо слышали из его уст. — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Так будет хорошо. Погода будет теплее, бойцам станет легче. Больше я ничего не могу сделать.

Вэра засомневался. Ведь это было невероятно.

Слишком много заветных надежд рассеялось прахом с той поры, как он начал играть в эту революционную игру. Теперь он верил этому поломойке революции — и не смел верить.

— Ты сошел с ума, — промолвил он.

— Через три недели, — отвечал Ривера. — Заказывайте ружья.

Он встал, откатил рукава и надел пальто.

— Заказывайте ружья, — повторил он. — Я ухожу.

III

После беготни, непрерывных телефонных звонков и страшной брани в конторе Келли состоялось наконец ночное заседание. На Келли свалилась масса хлопот; кроме того, у него случилось несчастье. Он привез из Нью-Йорка Дэнни Уорда, организовал для него бокс с Биллом Карти, — все это было улажено еще три недели тому назад; и вот уже двое суток серьезно травмированный Карти лежал в постели и прятался от репортеров. Заменить его было некем. Келли слал без конца телеграммы в восточные города, разыскивая подходящего боксера легкого веса, но все были связаны контрактами и сроками. Теперь в нем слабо затеплилась надежда.

— Ты дьявольски решителен, — обратился Келли к Ривере после первого же взгляда, как только они сошлись.

Злобная ненависть горела в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Я могу побить Уорда, — только и сказал он.

— Да почем ты знаешь? Разве ты видел, как он дерется?

Ривера покачал головой.

— Он положит тебя одной рукой с закрытыми глазами.

Ривера пожал плечами.

— Что ж ты не отвечаешь? — прорычал антрепренер.

— Я могу побить его.

— Да с кем же ты дрался? — спросил Майкл Келли. Майкл был братом антрепренера; он держал иеллоустоунский тотализатор, где недурно зарабатывал на боксерах.

Ривера окинул его ожесточенным, неприязненным взглядом. Секретарь антрепренера, весьма веселый молодой человек, громко прыснул.

— Ну ты знаешь Робертса, — прервал Келли враждебное молчание. — Он должен уже быть здесь, я послал за ним. Сядь и подожди, хотя, на мой взгляд, у тебя нет шансов. Я ведь не могу

показать публике фальшивый бокс; места у самой арены продаются по пятнадцать долларов, имей в виду.

Робертс явился немного под хмельком, что было заметно. Это был высокий, худощавый, развинченный субъект, походка его, как и речь, была невыразимо ленивая, тягучая, почти расслабленная.

Келли сразу приступил к делу.

— Послушай, Робертс, ты хвастался тем, что открыл этого маленького мексиканца. Ты знаешь, что Карти сломал руку. Вот этот желторотый малыш нашел в себе дерзость явиться ко мне и объявить, что он заменит Карти. Что ты скажешь на это?

— Все в порядке, Келли, — медленно процедил тот. — Он может выдержать драку.

— Еще немного, и он скажет, что он сможет победить Уорда, — фыркнул Келли.

Робертс подумал.

— Нет, этого я не скажу. Уорд — первосортный боец и генерал боксерского ринга. Но ему не расшибить этого Риверу в два счета. Я знаю Риверу. Он никого не боится. Сколько я его знаю — у него нет нервов. И дерется он по всем правилам. Он кого угодно может помучить.

— Дело не в этом. Как он покажется публике? Ты всю жизнь занимаешься тем, что готовишь и тренируешь боксеров. Перед твоим мнением я снимаю шапку. Может он показать публике настоящее зрелище за ее деньги?

— Без сомнения, может, и вдобавок наделает Уорду немало хлопот. Ты не знаешь этого мальчика, а я знаю. Я его открыл. Он ничего не боится. Он — сущий дьявол. Он выступит против Уорда как провинциальный самородок и всех вас удивит. Не скажу, чтобы он побил Уорда, но он покажет себя, и всем будет интересно.

— Ну, ладно. — И Келли обернулся к своему секретарю. — Позвоните Уорду. Я предупредил его, что устрою примерный бой, если найду что-то подходящее. Он сейчас находится в «Иеллоустоуне», поднимает тяжести и создает себе популярность. — И Келли опять обратился к тренеру: — Выпьешь?

Робертс отхлебнул из своего стакана и начал рассказывать.

— Я еще не говорил тебе, как я открыл этого малыша. Он появился в наших местах года два тому назад. Я тренировал Прэйна для бокса с Дилэни. Прэйн — злая скотина. В нем ни капли жалости. Он избивает своих партнеров вдрызг,

и я не мог найти охотника поработать с ним. Положение мое было отчаянное — и тут я заметил этого дохлого мексиканца: видимо, голодный, он околачивался вокруг. Я сцапал его, натянул на него перчатки и пустил в драку. Он был упрямей сыромятной кожи, но только слаб силенками. В боксе ничего он не смыслил. Прэйн измочалил его в тряпку. Но он стойко выдержал два страшных раунда, после чего упал в обморок. От голода, понятно. Избили его так, что его узнать нельзя было. Я царски накормил его и дал ему полдоллара. Надо было видеть, как он глотал обед. Видно, у него во рту не было маковой росинки два дня по меньшей мере. «Ну, с ним дело конченое», — подумал я. И что же! На другой день он опять пришел, готовый получить новые полдоллара и обед. И с течением времени он поправился. Он — природный боец, а выносливость невероятно. Словно у него не сердце, а ледышка в груди. И сколько я его знаю, он не в состоянии сказать подряд и десятка слов. Знай себе, пилит дрова и делает свое дело.

— Я видел его, — вставил секретарь. — Он много поработал на вас.

— Все известные боксеры попробовали на нем свои кулаки, — отвечал Робертс. — И Ривера мно-

гому у них научился. Я знаю таких, кого он может побить. Но душа его к этому не лежит — мне кажется, он никогда не любил бокса. Он дерется по каким-то личным соображениям.

— В последние несколько месяцев он дрался в мелких клубах, — проговорил Келли.

— Верно. И не знаю, что с ним случилось: вдруг он потянулся к боксу. Однажды он развернулся и расшиб всех мелких местных боксеров одного за другим. Должно быть, ему нужны были деньги — и он заработал неплохо, хотя по его одежде этого не видно. Вообще странный малый. Никто не знает, чем он занимается. Никто не знает, как он проводит время. И даже когда он дерется, он вдруг исчезает на весь остальной день, едва дело сделано. Иногда он пропадает на несколько недель кряду. А советов не слушает. Тот, кто сумел бы обломать его, нажил бы состояние, но мальчик об этом не думает. И ты увидишь, он выдержит все, что будет нужно, за свои деньги. Ты только договорись с ним.

В этот момент вошел Дэнни Уорд. Это был видный малый. Он явился со своим антрепренером и тренером и принес с собой атмосферу веселья, добродушия и неотразимости. Направо и налево полетели приветствия — тому шутка, тому

остроты и для всех — улыбка или смешок. Это его манера, лишь отчасти искренняя. Он превосходный актер и считал добродушие весьма ценным орудием в борьбе за положение в свете. В глубине же души он был холодный боец и бизнесмен. Все остальное — маска. Знавшие его или имевшие с ним дело говорили, что когда доходит до схватки, он — «Дэнни на своем месте». Он непременно присутствовал при всех деловых переговорах, и некоторые утверждали, что его антрепренер — ширма, рупор Дэнни.

Совсем другой тип — Ривера. В его жилах текла индейская и испанская кровь. Он сидел в уголке неподвижно и безмолвно, и только черные глаза его перебегали с одного лица на другое и все подмечали.

— Так вот он, паренек, — проговорил Дэнни, бросив одобрительный взгляд на своего будущего противника. — Как поживаешь, старина?

Глаза Риверы слабо вспыхнули, и он даже не кивнул. Он ненавидел всех гринго, но этого возненавидел с внезапностью, необычайной даже для него.

— Боже, — шутливо запротестовал Дэнни, обращаясь к тренеру, — неужели вы думаете, что я буду драться с глухонемым? — И когда смех

стих, он отпустил новую шутку: — Должно быть, Лос-Анджелес обеднел, если лучше этого вы не нашли. Из какого ты детского сада?

— Он славный малый, Дэнни, поверь мне, — вступился Робертс. — С ним не так легко справиться, как тебе кажется, уверяю тебя!

— И половина билетов уже продана, — взмолился Келли. — Придется взять его, Дэнни. Лучшего мы не могли добыть.

Дэнни снова окинул Риверу беззаботным и не слишком доброжелательным взглядом и вздохнул.

— Придется быть с ним полегче, я думаю. Только бы он не сдрейфил.

Робертс фыркнул.

— Потише, — остановил он Дэнни. — Когда не знаешь противника, можно неожиданно и влипнуть в неприятность.

— Хорошо, учтем, — Дэнни усмехнулся. — Я сначала поиграю с ним, поразвлекаю публику. Может, раундов пятнадцать, Келли? А потом — нокаут!

— Неплохо бы. Но публика не должна уловить фальши.

— Ну, тогда о деле. — Дэнни что-то посчитал в уме. — Давайте шестьдесят пять процентов

сбора, как с Карти. Но только от этой суммы мне восемьдесят процентов. Идет?

Келли согласился.

— Ясно? — спросил он у Риверы.

Ривера покачал головой.

— Объясняю, — сказал Келли. — Вся сумма от сбора составит шестьдесят пять процентов. Ты — новичок, никому не известный. Поэтому Дэнни получит восемьдесят процентов, а ты — двадцать. Так будет справедливо. Правда, Робертс?

— Конечно, Ривера, — подтвердил Робертс. — Тебя пока никто не знает.

— А сколько это — шестьдесят пять процентов со сбора? — спросил Ривера.

— Может, пять тысяч, а может, даже восемь, — вмешался Дэнни. — Около того. Тебе достанется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Неплохо за то, что тебя победит боксер с таким именем, как у меня. Как тебе?

Но Ривера привел их в шок.

— Победитель получит все! — твердо заявил он.

Все замерли в молчании.

— Да уж, — пробормотал секундант Уорда.

Дэнни покачал головой.

— Я не вчера родился, — заявил он. — Ни су-

дью, ни других я не подозреваю в нечестности. Только мне это не подходит. Я играю наверняка. Но вдруг я получаю серьезную травму? Или мне подсунут выпить что-то? — Он обвел всех уверенным взглядом. — Победителем ли я буду, побежденным ли — мне восемьдесят процентов. Что скажешь, мексиканец?

Ривера отрицательно покачал головой.

Дэнни вспыхнул и сорвался:

— Погоди же, мексиканская собака! Теперь я уж точно размозжу тебе башку!

Робертс медленно поднялся и подошел, чтобы стать между ними.

— Победитель получит все, — упрямо повторил Ривера.

— Почему ты так этого хочешь? — спросил Дэнни.

— Я вас побью.

Дэни начал раздеваться. Все поняли, что он делает вид разгневанного. Он, действительно, будто бы разрешил успокоить себя. Все были за него. Ривера же оставался один.

— Слушай, глупец, — обратился к нему Келли. — Ты кто? Да, ты победил нескольких боксеров. А Дэнни — профессионал. Он скоро будет бороться за звание чемпиона. Тебя никто не знает.

— Еще узнают после этой встречи.

— Ты и вправду думаешь, что сможешь меня одолеть? — вышел из себя Дэнни.

Ривера кивнул.

— Ты задумайся, — уговаривал его Келли. — Это ведь для тебя такая реклама!

— Мне нужны деньги, — ответил Ривера.

— Ты и за тысячу лет не победишь меня, — заявил ему Дэнни.

— Так почему вы против? — спросил Ривера. — Деньги сами идут к вам, а вы их не хотите взять.

— Все, я согласен! — вдруг решительно крикнул Дэнни. — Я из тебя все вытрясу на ринге, дорогой! Со мной шутки плохи. Келли, запишите: победитель получает всю сумму. Об этом сообщите в газетах и добавьте, что это личные счеты. Я еще покажу этому юнцу!

Секретарь Келли уже писал условия, когда Дэнни прервал его.

— Постой! — Он обратился к Ривере. — Когда взвешиваться?

— Перед выходом, — ответил тот.

— Нет и нет, наглец! Раз победитель получит все, взвесимся в десять утра.

— И тогда победитель получит все? — Ривера повторил вопрос.

Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг как положено.

— Взвеситься в десять, — сказал Ривера. Секретарь продолжал скрипеть пером.

— Это равносильно потере пяти фунтов, — жалобно заметил Робертс Ривере. — Ты слишком много уступил. Тут-то ты и проиграл бой. Дэнни будет силен, как бык. Ты дурак. Он наверняка отдубасит тебя. У тебя ни капли шанса.

Единственным ответом, который он получил от Риверы, был взгляд, полный сосредоточенной злобы. Даже этого гринго он презирал, а ведь его он считал лучшим из них.

IV

Риверу едва заметили, когда он вышел на ринг. Слабые, чуть слышные аплодисменты приветствовали его. Публика не верила в него. В ее глазах это был агнец, приведенный на заклание от руки великого Дэнни. Кроме того, публика вообще была разочарована. Она настроилась на ожидание сокрушительного боя между Дэнни Уордом и Биллом Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким маленьким новичком. Это свое недовольство переменой она выразила тем, что стала держать за Дэнни пари

в пропорции двух и даже трех против одного шанса. А сердце публики там, где деньги, поставленные на пари.

Молодой мексиканец сел в угол и ждал. Минуты тянулись медленно. Дэнни заставил его ждать. Это был старый трюк, но всегда он действовал на новичков. Одиноко сидя со своими страхами перед враждебной, утопающей в облаках дыма публикой, они начинали пугаться. Но на этот раз штука не удалась. Робертс был прав — у Риверы не было ни капли страху. Более тонкий по натуре, более нервный, чем все они, он не знал этого чувства. Атмосфера предрешенного поражения, царившая в его углу, не оказывала на него ни малейшего влияния. Секундантами его были гринго и незнакомцы. Это были подонки — грязные отбросы этой игры, бесчестные и недалекие. Они также не сомневались, что их боец проиграет.

— Ну, теперь будь начеку, — предостерег его Спайдер Хэгерти. Спайдер был его главным секундантом. — Держись, пока можешь, — вот какие инструкции получил я от Келли. Если ты не выдержишь, газеты поднимут шум, что это фальшивый матч, и растрезвонят об этом на весь Лос-Анджелес.

Все это не обнадеживало. Но Ривера не обра-

щал внимания — он презирал бокс. Это была ненавистная забава ненавистных гринго. Он принимал в боксе участие в качестве чего-то вроде плахи для рубки мяса в школах кулачной тренировки — только потому, что умирал с голоду.

То обстоятельство, что он как бы создан для бокса, не играло в этом никакой роли. Он ненавидел бокс. И до того, как он попал в Хунту, он не дрался за деньги, а когда начал драться, убедился, что эти деньги даются легко. Не первый он добился удачи в этой презренной профессии.

Впрочем, он не очень раздумывал. Он знал только одно: он должен победить в этом бою. Другого выхода не было. Ибо за ним, укрепляя его в этой вере, действовали неизмеримо более могучие силы, чем те, какие представляла себе собравшаяся публика. Дэнни Уорд дрался за деньги — за легкую жизнь, покупаемую на деньги. То же, за что дрался Ривера, огнем горело в его мозгу ослепительным страшным видением: одиноко сидя в своем углу с широко раскрытыми глазами и дожидаясь своего плутоватого противника, он так отчетливо видел все, словно сам присутствовал там.

Он видел перед собой белые стены огромных фабрик Рио-Бланко с их водно-силовыми уста-

новками. И шесть тысяч рабочих, голодных и отощалых, и их маленьких семи-восьмилетних детей, отрабатывающих долгие смены за десять центов в сутки. Он видел перед собой эти ходячие трупы, эти страшные маски смерти — людей, работавших в красильнях. Он вспомнил, как однажды его отец назвал эти красильни «камерами самоубийства», ибо один год работы здесь означал верную смерть. Он видел маленькое патио — внутренний дворик, видел свою мать, возившуюся по хозяйству и стряпавшую простой обед и находившую при этом время любить и ласкать его. И отца своего видел — крупного мужчину со впалой грудью и длинными усами, бесконечно доброго человека, любившего всех людей и имевшего такое обширное сердце, что в нем еще оставался избыток любви для матери и маленького мучачо — мальчика, игравшего в углу патио. В те дни его звали не Фелипе Ривера; отец и мать его носили фамилию Фернандес. Его они звали Хуаном. Впоследствии он сам переменил имя, убедившись, что самое имя Фернандес невыносимо для политических префектов, *jefes politicos u rurales*[11].

---

[11] notes: 11
Тайная сельская полиция *(фр.)*.

Славный, славный Хоакин Фернандес много места занимал в видениях Риверы. В ту пору он ничего не понимал; теперь, оглядываясь на прошлое, он понимал все. Мысленно он представлял, как отец набирает шрифт в крохотной типографии или терпеливыми, нервными движениями выводит бесконечные строчки, склонившись над закапанным письменным столом. Вспоминались ему и необычные вечера, когда рабочие, прокрадываясь впотьмах, как какие-нибудь злоумышленники, встречались с его отцом и беседовали с ним долгие часы, в то время как он, мучачо, не смыкая глаз, лежал в углу комнаты.

И словно издалека донесся до него голос Хэгерти, говорившего:

— Не смей ложиться на пол в самом начале. Таковы инструкции. Получи трепку и честно отрабатывай свое.

Прошло десять минут, а он все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался — очевидно, он решил довести свой фокус до последнего предела.

И новые видения запылали перед мысленным взором Риверы. Он увидел стачку — или, вернее, локаут, объявленный за то, что рабочие Рио-Бланко помогли своим бастующим братьям в Пуэбло.

Перед ним прошла голодовка, хождение в горы за ягодами, корешками и травами, от которых у всех болели животы. Потом — ночной кошмар: пустыри перед лавками Компании, тысячи голодающих рабочих; генерал Росальо Мартинес и солдаты Порфирио Диаса. И винтовки, неустанно изрыгавшие смерть и смывавшие требования рабочих их собственной кровью. О, эта ночь! Он видел перед собой платформы, доверху набитые телами убитых, отправляемых в Вера-Крус на съедение акулам этого залива. Вот он ползает по этим страшным кучам, ищет — и, наконец, находит изувеченных и раздетых донага отца и мать. Особенно хорошо он запомнил мать — виднелось только ее лицо, тело скрывалось под массой других тел. И опять затрещали винтовки Порфирио Диаса, и опять он скатился на землю и уполз прочь, как затравленный горный койот…

Но вот до его слуха донесся рев, как отдаленный гул моря, — и он увидел Дэнни Уорда, который пробирался по центральному проходу со своей свитой тренеров и секундантов. Публика бесновалась, завидя популярного героя, победа которого была предрешена. Все вызывали его. Все были за него. Даже секунданты Риверы как будто повеселели, когда Дэнни легко нырнул под канаты и

вышел на ринг. Лицо его расплылось миллионом улыбок, а когда Дэнни улыбался, он улыбался каждой черточкой своего лица, вплоть до морщинок в уголках глаз и до самого дна глаз. Казалось, такого добродушного боксера никогда еще не видела публика. Лицо его было как ходячая реклама отличного самочувствия и благодушия. Он знал всех решительно. Он шутил, смеялся и через канаты бросал приветствия своим друзьям. Те, что сидели подальше, не будучи в силах подавить свой восторг, громко кричали: «О Дэнни!»

На Риверу не обращали внимания. Для публики он, казалось, не существовал. Пухлая физиономия Спайдера Хэгерти вплотную придвинулась к его лицу.

— Не пугайся! Помни инструкции. Ты должен выдержать. Не смей ложиться; если ты ляжешь, мы получили инструкцию избить тебя в раздевальне. Понял, Ривера? Ты должен драться.

Публика начала аплодировать. Дэнни поклонился, схватил правую руку Риверы обеими руками и с порывистой сердечностью потряс ее. Лицо Дэнни, искаженное улыбкой, близко подвинулось к его лицу, и публика просто завыла при этом благодушии Дэнни. Он приветствовал своего противника, как любимого брата. Губы

Дэнни зашевелились, и публика, приняв нерасслышанные ею слова за сердечное приветствие, опять взвыла. Только Ривера расслышал тихо сказанные слова.

— Ты, мексиканский крысенок, — прошипел сквозь улыбающиеся губы Дэнни. — Я из тебя вышибу дух.

Ривера не шевельнулся. Он не встал. Его ненависть отражали глаза.

— Вставай, собака! — заревел кто-то с места.

Публика начала шипеть и освистывать Риверу за его неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Зато новый ураган аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот пошел обратно по кругу.

Когда Дэнни разделся, послышались вновь восторженные охи и ахи. Перед публикой было совершенное тело, гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа была белая, как у женщины, и такая же гладкая. Это была сплошная грация, упругость и сила. Дэнни доказал это в десятках сражений. Его фотографии печатались во всех спортивных журналах.

Словно стон раздался, когда Спайдер Хэгерти стащил через голову Риверы его свитер. Тело его казалось более худощавым, чем было на самом де-

ле, из-за смуглой кожи. Его мускулы были далеко не такие видные, как у его противника, и публика совсем не заметила его широкой груди. Не могла она также угадать упругости каждой жилки его тела, колоссальной клеточной энергии мускулов и тонких нервов, превращавших его в великолепный боевой механизм. Публика видела перед собой просто смуглого юношу лет восемнадцати с мальчишеским, как ей казалось, телом. Совсем другое дело Дэнни. Дэнни был мужчина двадцати четырех лет, и его тело было телом мужчины. Контраст показался еще более разительным, когда они стали рядом в центре ринга выслушать последние инструкции рефери.

Ривера заметил Робертса, сидевшего сразу же за газетными репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее.

— Не смущайся, Ривера, — тянул Робертс, — помни, он не может убить тебя. Он бросится на тебя сначала, но ты не пугайся, только закройся, стой и держись. Он не может слишком избить тебя. Ты только представь себе, что он лупит тебя в тренировочной школе.

Ривера не подал виду, что расслышал его.

— Хмурый чертенок, — пробормотал Робертс,

обращаясь к своему соседу. — Всегда такой.

Теперь в глазах Риверы даже не было обычного ожесточения. Взгляд его застилала другая картина — бесконечные ряды винтовок. Каждое лицо в зале, насколько он мог окинуть глазами, до верхних мест ценой в доллар, превратилось в винтовку. Он видел перед собой и бесконечную мексиканскую границу, залитую солнцем и высохшую, и вдоль нее — оборванные толпы, готовые взять в руки оружие.

Став в угол, он ждал. Его секунданты перелезли через канаты, забрав с собой брезентовую скамеечку. Из другого угла ринга, по диагонали, Дэнни смотрел на него. Ударили в гонг, и сражение началось. Публика взвыла от восторга. Никогда еще на ее глазах бой не начинался с такими предсказуемыми перспективами. Газеты были правы — тут были личные счеты. Дэнни покрыл уже быстрым бегом три четверти разделявшего противников расстояния, и намерение съесть живьем мексиканца ясно было написано на его лице. Он обрушился на него не с одним, не с двумя, не с дюжиной ударов — это был какой-то волчок тумаков, какой-то ураган истребления. Риверу не видно было; он исчез, был погребен под лавиной ударов, сыпавшихся со всех углов и

со всех позиций от опытного мастера. Он отшатнулся, ударился спиной о канаты, рефери разнял сцепившихся, и опять его отбросило на канаты.

Это была не борьба — это было избиение, побоище. Всякая публика, за исключением публики боксерских боев, изжила бы все свои волнения в эту первую минуту. Дэнни, без сомнения, показал, на что он способен. Уверенность публики была так очевидна, ее возбуждение и преклонение перед фаворитом столь велики, что она даже не заметила, что мексиканец стоит на ногах. Она забыла о Ривере. Она едва видела его, так он был окружен со всех сторон сокрушительным натиском Дэнни. Прошла минута или две. Потом, когда противников разняли, она отчетливо увидела мексиканца. Губа у него была рассечена, из носа лила кровь. Когда он повернулся и двинулся на противника, на его спине полосами обозначалась кровь в тех местах, где она касалась канатов. Но вот чего не заметила публика: грудь его не волновалась, его глаза по-прежнему горели холодным огнем. Слишком много таких атак он испытал на себе со стороны тренирующихся чемпионов. Он научился выдерживать это за плату от полудоллара за сеанс до пятнадцати долларов в неделю. Это была трудная школа, но она его закалила.

И тут случилось нечто необъяснимое. Ураган ударов, в котором ничего нельзя было разобрать, вдруг улегся. Ривера стоял на ринге один. Дэнни, грозный Дэнни, лежал на спине. Тело его затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. Он не зашатался и не упал — он опустился на землю медленно и постепенно. Правый кулак Риверы поразил его с внезапностью смерти. Рефери отпихнул Риверу рукой и наклонился над павшим гладиатором, считая секунды. Во время боксерских состязаний публика обычно приветствует громкими криками последний, окончательный удар. Но эта публика не приветствовала Риверу. Удар был слишком неожиданным. Она в напряженном молчании слушала счет секунд, и в этом молчании раздался ликующий голос Робертса:

— Я говорил вам, что он боец хоть куда.

На пятой секунде Дэнни перевернулся ничком; на седьмой секунде он поднялся на одно колено, готовый встать после девятой — прежде, чем будет произнесено «десять». Если при счете «десять» его колено будет касаться пола, он будет считаться побежденным и, стало быть, выбывшим из боя. Но с того момента, как колено отделится от пола, он уже считается «вставшим»,

и в это мгновение Ривера имел право попытаться опять уложить его. Ривера не стал испытывать судьбу. В минуту, когда колено отделится от пола, он готов был ударить. Он обошел противника, но рефери вклинился между ними, и Ривера видел, что он слишком медленно считает секунды. Все гринго против него, даже рефери.

При счете «десять» рефери резко отпихнул Риверу назад. Это было нечестно, но зато давало возможность Дэнни встать на ноги с улыбкой на губах. Согнувшись, прикрыв лицо и живот руками, он ловко обхватил противника. По всем правилам, рефери должен был прекратить это, но он этого не сделал. Дэнни прилип к противнику, как разбитая прибоем ракушка, и с каждым мгновением восстанавливал силы. Последняя минута раунда быстро подходила к концу. Если он выдержит до конца, то получит целую минуту на отдых в своем углу. И он выдержал до конца, все время улыбаясь, несмотря на отчаянное положение.

— А улыбка все не сходит с лица, — взвыл кто-то, и вся публика облегченно расхохоталась.

— Удар у этого мексиканца ужасный, — прошептал Дэнни в углу своему тренеру, в то время как секунданты бешено работали, массируя его.

Второй и третий раунды закончились вничью.

Дэнни, умелый и плутоватый король ринга, только увиливал, думая лишь об одном, как бы оправиться после первого ошеломительного удара. В четвертом раунде он окончательно пришел в себя. Правда, он был разбит и потрясен, но все же сила вернулась к нему. Теперь он уже отказался от своей свирепой тактики. Мексиканец оказался камнем для его косы. Теперь Дэнни стал применять свои настоящие бойцовские качества. Опытный и осторожный, великий мастер, он не нанес ни одного решительного удара, но продолжал методически изводить противника. На один удар Риверы он отвечал тремя, но это были не смертельные, а карающие удары. Смертельная опасность заключалась в общей сумме ударов. Он уходил от острых моментов, почтительно стал относиться к опасному противнику, способному молниеносно наносить «короткие удары обеими руками».

Защищаясь, Ривера смущал своего противника приемом «левой наотмашь». Раз за разом он отбивался от него этим приемом, все более грозя носу и губам Дэнни. Но Дэнни был словно Протей[12]. Оттого его и прочили в чемпионы. Он

[12] notes: 12

Протей — в греческой мифологии морской бог, который мог произвольно менять свой образ.

умел на ходу менять стиль боя. Теперь он ловко уклонялся от «левой наотмашь» противника. Этим он несколько раз приводил в бурный восторг публику и закончил свои приемы ударом, от которого мексиканец взвился на воздух и упал на циновку. Ривера встал на одно колено, прислушиваясь к счету, и внутренне чувствовал, что рефери слишком быстро отсчитывает секунды.

В седьмом раунде Дэнни опять нанес два сатанинских удара снизу. Ему удалось лишь заставить Риверу зашататься, но в следующий момент, когда противник не успел защититься, он бросил его новым ударом через канаты. Ривера шлепнулся на головы стоявших внизу репортеров, а те оттолкнули его к краю платформы за канаты. Здесь он оперся на одно колено, а рефери отсчитывал секунды. За канатом, под который он должен был подползти, чтобы попасть на площадку, Дэнни уже ждал его. Рефери не вмешивался и не оттолкнул Дэнни. Публика была вне себя от восторга.

— Избей его до смерти, Дэнни, избей! — послышался крик.

Сотни голосов подхватили его, точно завыла стая волков.

Дэнни ждал, но Ривера при счете восемь вместо девятой секунды неожиданно пролез под кана-

том и схватился с противником. Опять рефери заработал, поворачивая Риверу так, чтобы его можно было ударить, и предоставив Дэнни все преимущества, какие только мог дать бесчестный судья.

Но Ривера был жив, и туман в его голове понемногу рассеивался. Это было все то же. Это ненавистные гринго, и все они бесчестны. И опять перед ним пронеслось знакомое видение — длинная вереница железнодорожных вагонов, бегущих по пустыне; мексиканская сельская полиция и американские полисмены; тюрьмы и каталажки, бродяги у водокачек — вся страшная и грязная панорама его одиссеи после Рио-Бланко и забастовки. И по всей стране — великая, блестящая и славная красная Революция! Ружья были тут, перед ним! Каждое ненавистное лицо было ружьем. Он сам — ружье, он сам — Революция! Он дрался за Мексику!

Ривера вывел, наконец, из терпения публику. Почему он не принимает трепки, уготованной ему? Разумеется, он будет побит, но почему же он так упрямится? Очень немногие интересовались им, хотя известный процент сомневающихся имеется во всякой ставящей на кого-то толпе. Уверенные, что победит Дэнни, они поставили на

мексиканца в пропорции четыре к десяти и один к трем. Вопрос был лишь в том, сколько раундов выдержит Ривера. Многие, не задумываясь, ставили какие угодно суммы, утверждая, что он не выдержит и семи, даже шести раундов. Выигравшие в этом пари, благополучно миновав риск, теперь присоединились к общим приветствиям фавориту.

Ривера решительно отказывался быть побитым. Во время восьмого раунда его противник тщетно старался повторить удар снизу. В девятом Ривера опять изумил публику. Быстрым ловким движением он вырвался из объятий врага, и в узком промежутке между их телами его правая рука метнулась от пояса. Дэнни грохнулся на пол, уповая на спасительный счет. Толпа замерла. Дэнни стал жертвой собственного приема. Ривера не сделал попытки схватить его, когда он поднялся при счете «девять». Рефери открыто не допустил этого, хотя отходил в сторону, когда ситуация была противоположной и подняться должен был Ривера.

В десятом раунде Ривера дважды нанес удар «правой снизу», от пояса к подбородку противника. Дэнни пришел в отчаяние. Улыбка не сходила с его лица, но он опять возобновил свой бешеный

натиск. Однако как он ни вертелся, ему не удалось сокрушить Риверу. Ривера же сквозь весь этот ураган три раза подряд бросал его на спину. На этот раз Дэнни не мог уже так быстро оправиться, и в десятом раунде находился в серьезной опасности. Зато дальше, вплоть до четырнадцатого раунда, он показал свои лучшие бойцовые качества. Он дрался осторожно, можно сказать — скупо, и ему удалось набраться сил. Дрался он, к тому же, так нечестно, как только умеют опытные боксеры. Не было обмана и подвоха, к которому бы он ни прибегал. То охватывал противника, словно падая наземь, зажимая перчатку Риверы между своей рукой и телом, то зажимал перчаткой рот Ривере, чтобы не дать ему вздохнуть. И часто во время объятия он сквозь свои рассеченные, но улыбающиеся губы рычал Ривере в ухо невыразимо гнусные ругательства. Все, решительно все, — от рефери до публики — были на стороне Дэнни и помогали ему, зная, что он затевает.

Неожиданно перехитрил его вертлявый незнакомец — и он готовил ему один-единственный решающий удар. Он подставлял себя под удары, притворялся, что падал, ожидая все время момента, который позволил бы ему нанести удар

изо всей силы и повернуть колесо фортуны. Ему нужно было сделать то, что однажды до него сделал другой известный боксер, — ударить справа и слева — в солнечное сплетение и в челюсть. Он мог это сделать — он славился силой своего удара, сосредоточившейся в руках, пока он держался на ногах. Секунданты Риверы почти не заботились о нем в промежутках между схватками. Для виду они махали полотенцами, но очень мало подавали воздуху его задыхающимся легким. Спайдер Хэгерти давал ему советы, но Ривера понимал, что эти советы неправильные. Все были против него. Он был окружен предательством. В четырнадцатом раунде он опять положил Дэнни, а сам стоял, опустив руки, пока рефери считал секунды. В другом углу, как заметил Ривера, шли какие-то подозрительные перешептывания. Он увидел, что Майкл Келли направился к Робертсу, нагнулся к нему и что-то зашептал. У Риверы был слух, как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Ему хотелось услышать больше, и когда противник встал, он сманеврировал так, что схватился с ним над канатами.

— Придется, — услышал он слова Майкла Келли, в то время как Робертс кивнул ему. — Дэнни должен победить, иначе я теряю деньги, целый

монетный двор, мои собственные денежки. Если он выдержит пятнадцатый, я пропал и ты тоже. Помешай как-нибудь.

После этого все видения перед взором Риверы растаяли. Они замышляли надуть его! Опять он повалил Дэнни и стоял, опустив руки. Робертс поднялся.

— Это конец, — сказал он. — Ступай в свой угол.

Он сказал это властным тоном, каким не раз обращался к Ривере во время тренировок. Но Ривера бросил на него взгляд, полный ненависти, и ждал, когда встанет Дэнни. В последовавший минутный интервал в его угол пробрался секундант Келли и заговорил с Риверой.

— Брось это дело, чертенок, — хрипло проворчал он вполголоса. — Ты должен упасть, Ривера. Оставайся со мной — и я обеспечу твое будущее. Я позволю тебе побить Дэнни в следующий раз.

Ривера показал глазами, что расслышал, но в его взгляде не было ни утверждения, ни отрицания.

— Почему ты не отвечаешь? — злобно спросил Келли.

— Ты во всяком случае проиграешь, — добавил Спайдер Хэгерти. — Рефери лишит тебя победы.

Послушайся Келли и ложись....

— Ложись, малыш, — умолял Келли, — и я помогу тебе стать чемпионом.

Ривера ничего не ответил.

— Помогу, будь я проклят.

В последовавшем ударе гонга Ривера почувствовал нечто зловещее. Публика — та ничего не заметила. К Дэнни вернулась его былая уверенность. И эта уверенность испугала Риверу. Ему готовили какую-то пакость. Дэнни кинулся на него, но Ривера уклонился от встречи. Он отошел в сторону, а тому нужно было схватиться с ним, это каким-то образом было необходимо для задуманного. Ривера попятился к краю, но он знал, что рано или поздно и объятия, и подвох последуют. И он в отчаянии решил принять «игру». Когда Дэнни кинулся на него снова, он сделал вид, что не против схватиться. Но вместо этого в последнее мгновение, когда тела их должны были соприкоснуться, Ривера ловко отшатнулся назад. И в это же самое время сторонники Дэнни подняли вой:

— Нечестно!

Ривера обманул их надежды. Рефери стоял в нерешительности. Но слова, готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, ибо с галерки

донесся пронзительный мальчишеский голос:

— Грязные штуки!

Дэнни вслух выругал Риверу и пошел на него. Ривера стал пятиться. Он мысленно решил больше не наносить ударов в туловище. Этим он наполовину сокращал свои шансы на победу, но знал, что если ему суждено победить, то только с дальней дистанции. По малейшему поводу они начнут теперь кричать «нечестно». Дэнни же забыл всякую осторожность. Два раунда подряд он кидался на юношу, который не смел схватиться с ним тело к телу. Ривера принимал удары дюжинами, лишь бы избежать опасного объятия. Во время этого последнего натиска Дэнни публика вскочила на ноги и точно сошла с ума. Она ничего не понимала. Она видела только одно: ее любимец в конце концов побеждает.

— Почему ты не дерешься? — яростно орала толпа. — Желтомордая обезьяна! Ж.... желтомордая... Раскройся, щенок!

— Прикончи его, Дэнни! Прикончи!

Среди всех этих людей один Ривера сохранил полное хладнокровие. По темпераменту и крови это была здесь самая страстная натура, но он пережил неизмеримо большие волнения, чем эта коллективная страсть десяти тысяч глоток,

поднимавшаяся волнами, и для него она была, как мягкие, прохладные летние сумерки.

На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились, он отступил шатаясь. Дэнни решил, что его момент наступил: мальчишка был в его власти. Так Ривера притворным маневром обманул его бдительность и нанес ему классический апперкот. Когда Дэнни поднялся, Ривера скосил его новым ударом правой руки по шее и челюсти. Три раза повторил он этот удар. Никакой рефери не посмел бы назвать это неправильным.

— О Билл, Билл! — умоляюще кричал Келли, обращаясь к рефери.

— Ничего не могу, — жалобно отвечал последний. — Он не дает ему шанса.

Дэнни, разбитый, но все же не сдавшийся, поднимался снова. Келли и прочие, стоявшие у раунда, начали требовать вмешательства полиции, хотя секунданты Дэнни отказывались бросить полотенца. Ривера видел, как толстый полицейский капитан неуклюже лезет через канаты, и не понимал, что это значит. У этих гринго столько способов надуть человека. Дэнни, стоя на ногах, беспомощно топтался и шатался перед

ним. Рефери и капитан одновременно добежали до Риверы, когда он нанес последний удар. Прекращать драку не было надобности, ибо Дэнни уже не поднялся.

— Считай! — хрипло крикнул Ривера, обращаясь к судье.

И когда счет был окончен, секунданты Дэнни подобрали его и потащили в угол.

— Кто победил? — спросил Ривера.

Рефери неохотно схватил его руку в перчатке и высоко поднял ее.

Никто не поздравлял Риверу. Он без посторонней помощи прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него скамейки. Он оперся спиной о канаты и с ненавистью смотрел на них, переводя свой взгляд все дальше и дальше, пока не включил в свою ненависть все десять тысяч гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Перед его глазами с тошнотворной быстротой кружились ненавистные лица. Потом он вспомнил, что это — ружья! Эти ружья принадлежали ему! Революция могла продолжаться!

ЗОВ ПРЕДКОВ

Старинные, бродячие стремленья,
Заглохшие в культуре, от веков,
Вдруг вновь переживают пробужденье
И дикий зверь выходит из оков...


A08

I
Назад к первобытности

Бэк не читал газет, иначе он знал бы о том, что беда надвинулась не на него одного, а на всех собак ньюфаундлендской породы, с сильными мускулами и теплой, длинной шерстью, от Пюджет-Саунда до Сан-Диего. Все оттого, что люди, пробираясь ощупью сквозь полярную мглу, вдруг набрели на желтый металл, а пароходные компании и транспортные общества немедленно оповестили об этой находке весь свет — и тогда, в надежде на богатую добычу, тысячи людей вдруг устремились на Север. Этим людям нужны были собаки — и собаки большие, с клыками, сильными мышцами и теплой пушистой шерстью для защиты от мороза.

Бэк жил в большом доме в обласканной солнцем долине Санта-Клара. Это поместье называлось «усадьбой судьи Миллера». Дом находился в стороне от дороги, полускрытый среди деревьев, сквозь листву которых виднелась широкая тенистая веранда, огибавшая его с четырех сторон. Почти к самому дому подходили усыпанные щеб-

нем дорожки, точно змейки, извивавшиеся по широким лужайкам между группами ветвистых, высоких тополей. Позади широко раскинулись различные службы: обширные конюшни, в которых все время возились чуть ли не двенадцать конюхов и грумов; ряды обросших диким виноградом домиков для служащих, бесконечная правильно распланированная вереница построек, виноградники, зеленеющие пастбища, фруктовые сады. Были там и приспособления для артезианского колодца, и огромный цементный водоем, в котором сыновья судьи Миллера купались каждое утро и освежались в знойные дни.

И над всем этим огромным поместьем властвовал Бэк. Здесь он родился и прожил все четыре года своей жизни. Конечно, тут были и другие собаки. В такой обширной усадьбе не могли не быть другие собаки, но они в счет не шли. Они появлялись и исчезали, жили в конурах или же влачили ничтожное существование где-то в глубине дома, подобно Тутсу — маленькой японской собачке, или Изабель — совершенно лишенной шерсти крошке из Мексики. Эти собачонки редко высовывали нос на воздух и почти никогда не ступали лапками прямо на землю. Были здесь и фокстерьеры — даже целая их свора; они часами

лаяли на Тутса и Изабель, решавшихся иногда выглянуть из окошка под защитой многочисленных горничных, вооруженных швабрами и половыми щетками.

Бэк не был ни комнатной, ни дворовой собакой. Все окружавшее было его царством. Он плавал в цементном бассейне или ходил на охоту с сыновьями судьи; он сопровождал дочерей судьи, Молли и Алису, в их прогулках в сумерки и ранним утром; в зимние вечера он лежал у ног судьи перед камином в библиотеке; он возил на спине внуков судьи, или кувыркался с ними на траве, или же сопровождал их в путешествиях, полных рискованных приключений, вплоть до конюшни и даже далее, где прыгали жабы через тропинки фруктового сада. С видом повелителя он разгуливал среди фокстерьеров и совершенно игнорировал Тутса и Изабель, ибо он был королем — королем над всем, что ползало, лежало и летало в пределах поместья судьи Миллера, включая и двуногих.

Его отец — Эльмо, громадный сенбернар — был в свое время неразлучным спутником судьи, и Бэк был призван заменить отца. Он не достиг громадной величины отца, весил только сто сорок фунтов, так как его мать была шотланд-

ская овчарка. Однако этого веса, — к которому надо прибавить еще и то чувство собственного достоинства, которое является следствием сытой жизни и всеобщего уважения, — было достаточно, чтобы позволять ему держать себя по-королевски. Все четыре года, с той самой поры, когда он был еще щенком, он прожил жизнь пресыщенного аристократа, был преисполнен гордости и отличался некоторой эгоистичностью, как это случается с помещиками, уединенно живущими в деревне. Но Бэка спасало то, что он не был на положении избалованной комнатной собачки. Охота и подобные ей другие развлечения на свежем воздухе не давали ему разжиреть и закаляли его мускулы. Кроме того, пристрастие к воде, как у всех пород, привыкших к холоду, было прекрасным закаляющим средством и сохраняло ему здоровье.

Так жил Бэк до конца 1897 года, когда открытие золота в Клондайке потянуло людей со всего света на далекий, холодный Север. Но Бэк не читал газет и не знал к тому же, что дружба с Мануэлем, одним из помощников садовника, представляет для него некоторую опасность. У Мануэля был один большой порок — он любил играть в китайскую лотерею. Кроме того, у него

была непобедимая слабость — вера в систему, и это неизбежно вело его к катастрофе. Чтобы играть по системе, нужны деньги, а его жалованье помощника садовника едва покрывало нужды его жены и многочисленного потомства.

В памятный день предательства Мануэля судья был на собрании общества виноделов, а мальчики, как нарочно, были заняты организацией спортивного клуба. Никто поэтому не заметил, что Мануэль и Бэк отправились на прогулку (так по крайней мере представлял себе Бэк) за фруктовый сад. И, за исключением одного человека, никто не видел, как они прибыли на полустанок, известный под названием Колледж-парк. Этот человек поговорил с Мануэлем, и затем послышался звон передаваемых монет.

— Мог бы завернуть товар перед тем, как давать его покупателю, — угрюмо сказал незнакомец, и Мануэль два раза обернул шею Бэка под ошейником толстой веревкой.

— Затяни покрепче, тогда не вырвется, так у него перехватит дыхание, — заметил Мануэль, и незнакомец пробурчал что-то утвердительно.

Со спокойным достоинством Бэк дал надеть себе на шею веревку. Правда, это казалось необычным, но он привык доверять людям, которых

знал, признавая их мудрость, превосходящую его собственную. Однако, когда конец веревки был передан незнакомцу, Бэк угрожающе зарычал. Он только намекнул на свое недовольство, по своей гордости воображая, что намекнуть — значит приказать. К его изумлению, веревка затянулась вокруг его шеи так, что у него прервалось дыхание. В порыве бешенства он кинулся на человека, но тот на лету крепко стянул ему горло и ловким движением повалил на спину. После этого веревка безжалостно душила Бэка, пока он, высунув язык и со спертым в громадной груди дыханием, яростно боролся с человеком.

Никогда еще за всю его жизнь с ним так грубо не обращались, и никогда еще он не был так разгневан, как теперь. Но силы изменили ему, глаза закатились, и он уже ничего не сознавал, когда подошел поезд и два человека бросили его в багажный вагон.

Очнувшись, он смутно ощутил боль в языке и то, что его подкидывало в каком-то странном двигавшемся помещении. Хриплый свисток паровоза на разъезде объяснил ему, где он находится. Он слишком часто путешествовал с судьей, чтобы не знать ощущений езды в багажном вагоне. Он открыл глаза, и в них загорелся неудержимый

гнев властителя, попавшего в плен. Человек бросился к нему, чтобы схватить его за горло, но Бэк оказался проворнее. Его челюсти мертвой хваткой вцепились ему в руку и не отрывались до тех пор, пока он снова не лишился сознания, придушенный веревкой.

— Да-с, припадочки, — сказал незнакомец, пряча свою искусанную руку от проводника, которого привлек шум схватки. — Вот везу его по поручению хозяина в Сан-Франциско. Какой-то тамошний собачий доктор будто бы берется его вылечить.

В тот же вечер в маленькой задней комнатке кабачка в Сан-Франциско этот человек говорил более красноречиво:

— Только пятьдесят и получил, — ворчал он. — Честное слово, теперь и за тысячу наличными не согласился бы!

Рука его была обернута окровавленным платком, а правая штанина разодрана от колена до щиколотки.

— А тот, другой-то дурак, сколько получил? — спросил содержатель кабачка.

— Сто, — последовал ответ. — «Меньше не возьму», — говорит, черт бы его побрал!

— Итого, значит, сто пятьдесят, — подвел итог

содержатель кабачка. — А собака стоит того. Хорошая собака!..

Вор развернул окровавленный платок и посмотрел на свою израненную руку.

— Только бы не бешеная, — сказал он.

— А если бешеная!.. Все равно от бешенства не умрешь, тебе на роду написано умереть на виселице, — засмеялся кабатчик и добавил: — Лучше помоги-ка мне пока что…

Измученный, с невыносимой болью в горле и на языке, полуживой, Бэк все-таки попытался достойно противостоять своим мучителям. Но при каждой попытке к сопротивлению его бросали на пол и душили.

Наконец им удалось стащить с его шеи тяжелый медный ошейник. Потом с него сняли и веревку и бросили его в деревянный ящик, похожий на клетку.

Там он и пролежал весь томительный остаток ночи, не находя себе покоя от гнева и оскорбленной гордости. Он никак не мог понять, что все это значило. Чего им нужно, этим чужим людям, от него? Почему они держат его взаперти в этой тесной клетке? Он не мог объяснить себе всего этого, но его удручало смутное предчувствие грядущей беды.

Ночью, когда отворялась дверь кабачка, он несколько раз вскакивал, ожидая, что войдет судья или явятся мальчики. Но каждый раз к нему склонялось жирное лицо кабатчика, который навещал его с сальной свечкой в руке. И каждый раз радостный лай, с которым Бэк готовился встретить своих хозяев, сменялся разочарованным диким рычанием.

Но кабатчик его не трогал. Утром вошли четверо каких-то людей и подняли клетку.

«Еще мучители…», — подумал Бэк, потому что увидел подозрительных людей, лохматых и оборванных. Он яростно бросался на них через прутья клетки, бесновался и громко лаял. Они смеялись и тыкали в него палками, которые он хватал и грыз, пока, наконец, не понял, что этого они и добивались. Тогда он угрюмо улегся и не противился, когда клетку стали ставить на повозку. После этого и сама клетка, и ее пленник начали переходить из рук в руки. Сперва им занялись конторщики в транспортной конторе, затем его протащили некоторое расстояние на другой повозке, далее какой-то экипаж повез его вместе с целой коллекцией ящиков и посылок на пароход, затем с парохода на какой-то большой вокзал и, наконец, опять погрузили в железнодорожный

вагон, чтобы везти еще куда-то дальше.

Два дня и две ночи вагон мчался за взвизгивавшим паровозом, и двое суток Бэк ничего не ел и не пил. Разозленный, он встречал рычанием попытки проводников приласкать его, и они из мести стали его дразнить. Когда, дрожа от гнева и с пеной у рта, он бросался к прутьям, они над ним потешались и издевались: рычали и лаяли, как самые ужасные собаки, мяукали, хлопали в ладоши и кричали петухами. Он, конечно, знал, что все это глупо, но именно поэтому и считал эти обиды оскорбительными для своего достоинства. Гнев его все нарастал и нарастал. Голод его мучил не особенно сильно, но отсутствие воды заставляло страдать и доводило его ярость до предела. Он был собакой тонкой организации и большой чувствительности: от всех пережитых испытаний он заболел лихорадкой, осложнившейся воспалением распухших горла и языка.

Одно его утешало: не было на нем веревки. Она давала его врагам превосходство. Но теперь, раз ее нет, он им покажет! В другой раз им уже не удастся затянуть ему шею. Это он решил твердо и бесповоротно. Два дня и две ночи он ничего не ел и не пил и за это полное мучений время успел накопить такую злобу, что плохая встреча ждала

того, кто первый к нему подойдет… Глаза его налились кровью; он превратился в разъяренного дьявола. Он так изменился за это время, что сам судья, наверное, не узнал бы его, и проводники вздохнули с облегчением, когда сдали его, наконец, с рук на руки на конечной станции Сиэтл.

Четыре человека опасливо пронесли его из фургона в маленький дворик, окруженный высокой стеной. Какой-то толстый человек в красном свитере с широким воротом вышел навстречу и расписался в книге у кучера в получении.

«Новый человек, новый мучитель», — решил Бэк и, дико зарычав, бросился к прутьям клетки.

Человек в красном свитере насмешливо улыбнулся и принес топор и дубину.

— Неужели вы хотите его выпустить? — осведомился кучер.

— Ну разумеется! — ответил человек и подсунул под доску клетки топор.

Тотчас же все четыре человека, внесшие клетку, бросились врассыпную. Быстро вскарабкавшись на высокую стену, они приготовились со своего безопасного места смотреть на интересное представление.

Незнакомец начал рубить топором палки клетки.

Бэк вцепился в затрещавшее дерево, впился в него зубами, рычал, грыз. Где бы ни ударил топор снаружи, он с воем и ворчанием бросался сюда же с внутренней стороны. Он так же бешено старался выбраться из клетки, как, видимо, этого желал для него и человек в красном свитере. Только, в противоположность Бэку, человек был совершенно спокоен.

— Ну-ка, красноглазый черт! — сказал он наконец, когда отверстие увеличилось настолько, что могло пропустить Бэка.

В то же время он бросил топор и взял в правую руку дубинку.

Действительно, Бэк напоминал теперь красноглазого дьявола, весь съежившись для того, чтобы поскорее выпрыгнуть. Шерсть у него встала дыбом, изо рта шла пена, а в налитых кровью глазах горел безумный огонь. Бэк обрушился на человека всей тяжестью своих ста сорока фунтов — ста сорока фунтов чистой ярости и еще насыщенных накопившимися за эти двое суток напряженной страстью и жаждой мести. Но на половине прыжка, в то самое мгновение, как его челюсти уже готовы были схватить жертву, он получил такой удар, который на лету отбросил его. Щелкнув зубами от сильнейшей боли, он стиснул пасть,

перекувыркнулся и ударился о землю боком и спиной. Его еще ни разу в жизни не били палкой, и он не понимал, в чем дело. С воем, в котором слышались и лай, и визг, он вскочил и взвился в воздух. И вновь на него обрушился удар, повалив его на землю. На этот раз он понял, что причиной всему этому была дубинка, но его безумная ярость уже не имела границ. Раз десять подряд он бросался вновь и вновь, но дубинка мгновенно подкашивала его и швыряла наземь.

После одного особенно жестокого удара он с трудом поднялся. Он был теперь слишком разбит для того, чтобы снова напасть на человека. Кровь текла у него из носа, пасти и ушей, вся его чудесная шерсть была испачкана кровавой пеной, а он сам едва держался на ногах и бессильно покачивался из стороны в сторону. Тогда человек в красном свитере подошел ближе и спокойно, размеренно нанес ему сокрушающий удар по носу. Вся прежняя боль, которую когда-либо испытывал Бэк, была ничтожной по сравнению с той, что он ощутил теперь. С ревом, напоминавшим львиное рычание, он опять бросился на человека. Но тот, переложив дубинку из правой руки в левую, спокойно схватил его за нижнюю челюсть и стал дергать его взад и вперед. Бэк опи-

сал в воздухе полный круг, потом еще полкруга и затем плашмя упал на землю.

В последний раз попытался он броситься на человека. Тот нанес ему невероятно мощный удар, точно приберег его напоследок. Бэк тяжело грохнулся о землю, потеряв сознание.

— А парень-то не дурак! — с восторгом воскликнул один из зрителей на заборе. — Справится с каким угодно псом!.. Молодчина!

— А по-моему, — ответил кучер, влезая на повозку и трогая лошадей, — лучше день и ночь бить камни, да еще и по воскресеньям, чем так колотить животных.

К Бэку вернулось сознание, но не силы. Он лежал там, где упал, и следил глазами за человеком в красном свитере.

— Гм… Отзывается на кличку Бэк, — проговорил человек в красном, читая письмо, которым кабатчик извещал его о собаке в клетке. — Ну-с, Бэк, дружок, — продолжал он веселым тоном, — мы с тобой малость погорячились, но это ничего… Теперь самое лучшее, что мы с тобой можем сделать, это — оставить все, как оно есть. Ты теперь знаешь свою роль, а я — свою. Будь же хорошей собакой — и все пойдет как по маслу. А станешь баловаться, увидишь, что я дурь из тебя выколо-

чу. Понял?

С этими словами он храбро погладил ту самую голову, которую только что немилосердно бил. Бэк невольно отпрянул от прикосновения его руки, но все же не протестовал. Когда человек принес ему воды, он охотно попил, а затем стал жадно пожирать громадный кусок сырого мяса из рук своего недавнего врага.

Он был побежден (это он понял), но воля его не была сломлена. Он узнал раз навсегда, что ему не одолеть человека с дубинкой. Он усвоил этот урок и до конца своих дней не забывал его. Дубинка была для него откровением. Она впервые ввела его туда, где царит первобытный закон, и он принял это как предупреждение. Жизнь открыла ему теперь свою жестокую сторону, и, хотя он был побежден, в нем стала пробуждаться природная звериная хитрость.

Шли дни, прибывали новые собаки: одни, как Бэк, в клетках, другие — на привязи; одни вели себя кротко и покорно, другие — яростно и злобно, как он вначале; и все они до одной на его глазах проходили через такую же выучку у человека в красном. Снова и снова повторялся для Бэка при каждом жестоком укрощении все тот же урок: человек с дубинкой — законодатель, хозяин,

которому нужно подчиниться, хотя совсем не обязательно любить его. Бэк не дошел до того, чтобы заглядывать в глаза хозяину либо лизать ему руку, хотя и видел побитых собак, которые это делали. Он видел также, что одна собака, которая не хотела ни смириться, ни подчиниться, была в конце концов убита в борьбе за первенство между человеком и животным.

Время от времени приходили незнакомые люди и кто возбужденно, кто льстиво, на разный манер разговаривали с человеком в красном свитере. В их руках звенели деньги, и они уходили, взяв с собой одну или несколько собак. Бэк удивлялся, куда они уходили, потому что они никогда не возвращались, но страх перед будущим был так силен в нем, что он каждый раз радовался, когда выбирали не его.

Тем не менее дошла очередь и до него. Его судьбой оказался маленький худощавый человек, говоривший на ломаном английском языке и издававший восклицания, которых Бэк не мог понять.

— Черт возьми! — воскликнул он, когда его глаза остановились на Бэке. — Эта — корош собака! Теленок, не собака! А сколько?

— Триста! — с готовностью ответил человек

в красном свитере. — Даром отдаю! А вам чего стесняться, Перро? Деньги-то ведь казенные!

Перро усмехнулся. Поскольку цены на собак вследствие невероятного на них спроса поднялись отчаянно, сумма, назначенная за такое прекрасное животное, не показалась ему слишком высокой. Канадское правительство ничего не теряло, а его почта должна была работать как можно скорее. Перро знал толк в собаках и с первого же взгляда понял, что Бэк — один на тысячу собак.

«Один на десять тысяч», — мысленно заключил он.

Бэк увидел, как деньги перешли от одного человека к другому, и не удивился, когда худощавый человек взял с собой его и добродушного ньюфаундленда Кэрли. Больше Бэк никогда не видел человека в красном свитере, а когда затем он вместе с Кэрли смотрел с палубы парохода «Нарвал» на удалявшийся Сиэтл, то это было его последним прощанием с теплым Югом. Перро свел его и Кэрли вниз и передал с рук на руки черномазому великану по имени Франсуа. Перро был темноволосым канадцем французской крови, а Франсуа — метисом, вдвое смуглее, чем Перро. Они казались Бэку новой породой людей (ему

суждено было увидеть еще много им подобных впоследствии), и, хотя он не чувствовал к ним абсолютно никакой симпатии, однако научился их уважать. Он быстро узнал, что Перро и Франсуа справедливы, спокойны, беспристрастны и слишком умны, чтобы позволить себе издеваться над собаками.

На палубе «Нарвала» Бэк и Кэрли увидели двух других собак. Одна была большим снежно-белым псом со Шпицбергена, которого в свое время вывез оттуда капитан китобойного судна и который потом сопровождал геологическую экспедицию в Баренс. Это был очень ласковый пес, но у него была предательская манера улыбаться в лицо и в то же время обдумывать какие-то козни. В первый же день он стащил у Бэка его мясо. Бэк бросился на него, чтобы его наказать, но в эту минуту Франсуа взмахнул хлыстом и ударил преступника. Бэку не оставалось ничего другого, как подобрать лакомую кость. Он решил, что поступок Франсуа свидетельствовал о его справедливости, и его уважение к метису возросло.

Другая собака не делала попыток к сближению, но и не пыталась воровать пищу у вновь пришедших. Это мрачное сдержанное существо твердо и определенно давало понять, что желает, чтобы

его оставили в покое, и что плохо будет тому, кто захотел бы этот покой нарушить. Собаку звали Дэйв. Все время он ел и спал, позевывал и не проявлял ни к чему ни малейшего интереса. Даже в те часы, когда «Нарвал» проходил залив Королевы Шарлотты и качался по волнам, точно пьяный, когда Бэк и Кэрли волновались и чуть не сошли с ума от страха, Дэйв недовольно поднимал голову, удостаивал их равнодушным взглядом, позевывал и снова засыпал.

День и ночь пароход содрогался от неутомимой работы винта, и, хотя дни были похожи один на другой, Бэку стало казаться, что постепенно делается все холоднее и холоднее. Наконец в одно утро движение винта прекратилось, и на пароходе началось необычайное оживление.

Как и остальные собаки, Бэк ясно почувствовал это и понял, что предстоит перемена. Франсуа привязал всех собак на один ремень и вывел их на палубу. При первых же шагах по холодной земле лапы Бэка погрузились в какую-то белую, пушистую мякоть, которая была очень похожа на выкрашенную в белую краску грязь. Он с фырканьем подскочил и попятился. Такая же белая масса падала сверху. Бэк отряхнулся, но на него падали новые хлопья. Он с любопытством

понюхал, потом лизнул эту мякоть. Она жгла, как огонь, и быстро исчезала на языке. Это удивило его. Он опять попробовал — с тем же результатом. Зрители рассмеялись, и ему стало стыдно, хотя он и не сознавал, почему именно. Он впервые увидел снег.

II
Закон дубины и клыка

Первый день, проведенный Бэком на берегу Дайе, показался ему кошмаром. Каждый час приносил что-нибудь неожиданное и бившее по нервам. Его внезапно вырвали из центра цивилизации и бросили в дикую первобытную страну. Не было прежней ленивой, зачарованной солнцем жизни, где он пил, ел, слонялся без дела и не знал, куда себя девать. Здесь не было ни мира, ни покоя, ни безопасности ни на одну минуту. Все находилось в состоянии непрестанного движения и деятельности, и каждую минуту грозила опасность. Была постоянная необходимость держаться настороже, так как здесь и люди, и собаки совсем не походили на городских собак и людей. Здесь жили дикари, все до одного не знавшие никаких законов, кроме закона дубины и клыка.

Бэк никогда не видел раньше, чтобы собаки дрались между собой так, как эти волкообразные существа, и первый опыт в этом отношении преподал ему незабываемый урок. Правда, он не был непосредственным участником этого

опыта, иначе ему не пришлось бы в своей жизни воспользоваться полученным уроком. Жертвой оказался не он, а Кэрли. Все собаки собрались у барака, и Кэрли самым добродушным образом стала заигрывать с грубошерстной собакой, величиною с доброго волка, хотя и вдвое меньше, чем сама Кэрли. Предупреждения не было: быстрый, как вспышка магния, прыжок и металлический звук от щелканья зубами; затем прыжок назад — и морда Кэрли оказалась разодранной от глаза до пасти.

Укусить и потом отскочить — такова волчья манера драться, но дальше было еще хуже. Тридцать или сорок похожих на волков собак подбежали к месту происшествия и окружили дравшихся плотным молчаливым кольцом. Бэк не понимал ни этой молчаливой напряженности, ни жадного их облизывания. Кэрли набросилась на соперника, который снова вцепился в нее и отскочил. Затем этот похожий на волка пес встретил грудью дальнейший наскок. Он использовал какую-то своеобразную ухватку, от которой Кэрли повалилась на землю, и ей уже не было суждено подняться на ноги. Как раз этого и ожидали наблюдавшие за дракой псы. С ворчанием и взвизгиваниями они сомкнули круг, и, заскулив

в предсмертной агонии, Кэрли нашла свой конец под грудой навалившихся на нее мохнатых тел.

Все это произошло так быстро и так неожиданно, что Бэк в первую минуту растерялся. Он увидел Шпица, высунувшего свой крысиный язык как бы в приятной усмешке; увидел Франсуа, который, размахивая топором, бросился в середину свалки. Еще трое каких-то мужчин, схватив дубины, побежали к нему на помощь, чтобы разогнать собак. Продолжалось все это недолго. Через две или три минуты после того, как свалилась Кэрли, последний из нападавших был уже отогнан. Но Кэрли лежала на окровавленном примятом снегу, скрючившись, без движения, почти разорванная на части. Над ее трупом склонился метис и страшно ругался. Эта сцена потом часто тревожила Бэка во сне. Так вот оно как идет жизнь! Вот какова справедливость вообще! Раз тебя свалили, то ты, значит, погиб. Так ладно же! Бэк позаботится о том, чтобы никогда не оказаться сваленным! Шпиц снова высунул язык и засмеялся, и с этого момента Бэк возненавидел его горчайшей, смертной ненавистью.

Не успел Бэк оправиться от удивления, вызванного трагической гибелью Кэрли, как получил новый удар. Франсуа укрепил на нем целую ком-

бинацию из ремней и пряжек. Это была упряжь, подобная той, которую дома, у судьи, конюхи надевали на лошадей. Оказалось, что ему теперь нужно работать так, как работают лошади, которых, кстати сказать, он здесь не видел. Он стал таскать Франсуа на санях в лес, окаймлявший долину, и привозить оттуда дрова. Хотя он и считал оскорблением своего достоинства то, что его сделали упряжным животным, однако он был слишком мудр, чтобы выказывать неповиновение. Он безропотно освоился с упряжью и постарался тянуть как можно сильнее, хотя дело его и казалось ему первое время странным. Франсуа был строг, требовал немедленного повиновения и добивался его ударами кнута. Со своей стороны и Дэйв, который оказался опытным коренником, при каждой ошибке со стороны Бэка покусывал его за задние ноги. Вожаком был бывалый Шпиц, и так как ему не всегда удавалось хватать зубами Бэка, он критически ворчал на него и старался направить его на след, умело перекидываясь то на одну сторону, то на другую, в зависимости от того, с какой стороны сбивался Бэк. Бэк же легко постигал все то, что от него требовалось, и при совместном руководстве своих двух товарищей и Франсуа делал поразительные успехи. Еще рань-

ше чем они вернулись в первый раз обратно, он уже понял, что надо остановиться при крике «хо», идти вперед при команде «мут», откидываться на поворотах и держаться подальше от коренника, когда сани сами катились вниз под гору.

— Все три собаки удачные, — сказал Франсуа Перро. — Бэк тянет как черт. Я выучу его скорее скорого.

После обеда, так как надо было спешить с почтой, Перро привел двух новых собак. Это были два брата — Билли и Джо, оба — настоящие ездовые собаки. Хотя они и были сыновьями одной и той же матери, но отличались друг от друга, как день от ночи. Единственным недостатком Билли было его безграничное добродушие, в то время как Джо, напротив, всегда находился в кислом расположении духа и, видимо, был склонен к самоуглублению. Он все время ворчал, и в глазах его светилось что-то недоброе. Бэк встретил пришельцев по-товарищески, Дэйв игнорировал их, а Шпиц стал задирать сначала одного из них, потом другого. Билли сперва примирительно завилял хвостом, потом пробовал убежать, когда убедился, что миролюбием не добьешься ничего, и, наконец, когда острые зубы Шпица впились ему в бок, принялся плакать, все еще

добродушно. Но, когда дело дошло до Джо, Шпиц мог угрожать ему сколько угодно: Джо все время резко оборачивался и оскаливал зубы. Шерсть у него ощетинивалась, уши прижимались назад, на губах появлялась пена, зубы щелкали, и глаза так дьявольски сверкали, что он казался воплощением воинствующего ужаса. Его вид был до того страшен, что Шпицу пришлось отказаться от мысли припугнуть его. Чтобы отомстить ему за свое поражение, он опять накинулся на безобидного и все еще скулившего Билли и загнал его куда-то далеко от привала.

К вечеру Перро купил еще одну собаку — старого, щетинистого, длинноногого, сухопарого пса с мордой, покрытой шрамами от многих драк, и с единственным глазом, в котором, однако, сверкало громадное мужество, вызывавшее уважение. Собаку эту звали Соллекс, что значит «Сердитый». Как и Дэйв, она не просила ни о чем, ни в чем не уступала и ничего не ждала; и когда она решительно и не торопясь вошла в свою новую компанию, то даже Шпиц понял, что тут уж приставать нечего. Соллекс имел одну особенность, которую первый открыл, на свою беду, Бэк. Он не любил, чтобы к нему подходили со стороны его слепого глаза. Бэк, ничего не подозревая,

оскорбил его, зайдя не с той стороны, и тотчас же убедился в своей оплошности, так как Соллекс мгновенно накинулся на него и прогрыз ему плечо на три дюйма до самой кости. С той поры Бэк остерегался подходить к нему со слепой стороны, и их дружба уже до конца ничем не омрачалась. Видимо, единственное, чего желал этот пес, как и Дэйв, — чтобы его оставили в покое, хотя Бэк впоследствии и убедился, что у них была еще весьма существенная особенность.

Бэк в первую ночь столкнулся с большим вопросом: где спать? Освещенная свечкой палатка уютно манила к себе среди необозримой белой равнины. Когда он, нисколько не сомневаясь, что будет спать вместе со своими хозяевами, вбежал в нее, то оба, и Перро, и Франсуа, накинулись на него с криками, и стали бросать в него всем, что попало под руку, пока Бэк не оправился, наконец, от охватившего его смущения и не выбежал со стыдом и позором на холод. Дул резкий ветер, который пронизывал его насквозь и особенно жестоко впивался в раненое плечо. Он лег на снег и попытался заснуть, но мороз скоро поднял его на ноги. Жалкий, беспомощный, он стал блуждать около других палаток, но повсюду было холодно. То там, то здесь на него наскакивали одичавшие

собаки, но он ощетинивался и рычал (он этому скоро научился), и они не решались его тронуть.

В конце концов Бэк сообразил. Надо было посмотреть, как устроились его товарищи по упряжке. К своему удивлению, он заметил, что все они исчезли. Опять он пошел бродить по обширному лагерю и опять вернулся ни с чем. Может быть, они в палатке? Нет, этого не могло быть, иначе и его не прогнали бы оттуда. Но тогда где же они? Опустив хвост, дрожа всем телом и чувствуя себя глубоко несчастным, он стал бесцельно бродить вокруг палатки. Вдруг снег провалился у него под передними лапами, и он стал куда-то погружаться. Что-то теплое зашевелилось у него под лапами. В страхе перед невидимым и неведомым, он с фырканьем и рычанием отпрянул. Но донесшееся до него короткое, дружелюбное тявканье успокоило его, и он опять подошел к тому месту, чтобы посмотреть, в чем дело. Струя теплого воздуха коснулась его ноздрей, и вот под снегом, свернувшись калачиком, лежал у его ног Билли. Он ласково заскулил, слегка даже взвизгнул и тотчас же заерзал в снегу, выказывая Бэку приятельское расположение и добрые намерения, и даже лизнул его теплым, влажным языком в морду, чтобы расположить его к себе.

Еще урок: так вот как собаки справляются здесь с холодом! Бэк доверился этому наглядному обучению и, выбрав местечко, с большими усилиями и ненужным напряжением стал выкапывать для себя в снегу яму. Она тотчас же наполнилась теплом от его тела, и он сладко заснул. День был длинным и утомительным, и Бэк спал хорошо и крепко, лишь время от времени лая и ворча во сне от посещавших его тяжелых сновидений.

Бэк проснулся только тогда, когда послышались шорохи пробуждающегося лагеря. Сперва он не сообразил, где находится. Всю ночь шел снег и совершенно завалил его. Снежные стены давили на него со всех сторон, и вдруг его обуял безграничный страх, какой обыкновенно испытывает всякий зверь, попавший в западню. Этот испытанный им страх был первым признаком того, что он начинает возвращаться к жизни своих далеких предков, так как, будучи цивилизованной, а может быть, и не в меру цивилизованной собакой, он совершенно не знал, что такое западня и что значило в нее попасть. Все его мышцы спазматически и инстинктивно напряглись, шерсть на шее и плечах встала дыбом, и с диким воем, разметав вокруг себя искрившийся снег, он выскочил наверх, в простор яркого дня. Еще не

отходя от своей ямы и только увидев перед собой широкое снежное поле, он сразу сообразил, где находился, и припомнил все, что произошло с ним со времени его прогулки с Мануэлем вплоть до вчерашнего вечера, когда он вырыл себе эту нору в снегу.

Крик Франсуа приветствовал его появление.

— Что я говорил? — воскликнул он, обращаясь к Перро. — Этот Бэк все узнает сам, и скорее всех.

Перро серьезно кивнул в знак согласия. В качестве курьера канадского правительства, с обязанностью перевозить важные бумаги, он очень заботился о том, чтобы приобретать самых лучших собак, и был теперь очень доволен, что удалось купить Бэка.

В какой-нибудь час к запряжке были присоединены еще три собаки, так что всего их оказалось девять. А еще через четверть часа сани уже быстро катили по дороге к Дайе. Бэк радовался этой поездке, и, хотя работа оказалась тяжелой, он не прочь был потрудиться. Его поразил пыл, с каким собаки мчали сани, и этот пыл передался ему; но еще более удивила его перемена, происшедшая вдруг в Дэйве и Соллексе. Казалось, упряжь их переродила. Пассивность и равнодушие к жизни исчезли. Собаки ожили, стали деятельными,

подвижными, заботились только о том, чтобы все шло хорошо, и страшно раздражались, когда происходила задержка или какое-нибудь замешательство, из-за которых сани останавливались. Труд, который они вкладывали в дело, казался подлинной сущностью их бытия. Только для него одного как будто они и существовали, только в нем одном и находили счастье.

Бэка поместили между Дэйвом и Соллексом, чтобы он постоянно находился под их опекой. Он оказался очень способным учеником, а они были хорошими учителями, никогда не позволявшими ему ошибаться и подкреплявшими свои уроки острыми зубами. Дэйв был справедлив и рассудителен: он никогда не кусал Бэка без причины, но никогда не упускал случая цапнуть его, когда требовалось. Удары кнута Франсуа научили Бэка тому, что подчиняться безусловно выгоднее, чем противиться. Однажды во время короткой остановки Бэк запутался в постромках и задержал отправление. Дэйв и Соллекс совместно налетели на него и проучили как следует. Путаница сделалась от этого еще сложнее, но с тех пор Бэк стал стараться не путать постромки, и не прошло дня, как он уже так хорошо справлялся с работой, что его соседям по упряжке не за что было

наказывать его своими зубами. Кнут Франсуа стал щелкать над его головой все реже и реже, а Перро даже почтил Бэка тем, что внимательно осмотрел его лапы.

Дневной переход оказался очень тяжелым: они шли вверх по ущелью, прошли через Овечью равнину, мимо Весов и северной границы леса, через ледники, сугробы и глубокие пропасти и, наконец, поднялись на великий Чилкутский водораздел, который тянется между бассейнами пресной воды и морем и, как верный страж, охраняет подступы к унылому, пустынному Северу. Они быстро промчались по льду ряда озер, наполняющих своей водой кратеры потухших вулканов, и поздно ночью прибыли в огромный лагерь, расположенный у озера Беннет, где тысячи золотопромышленников строили лодки в ожидании весеннего разлива. Бэк вырыл себе нору в снегу и уснул в ней сном измученного праведника, но рано утром его подняли на ноги и опять вместе с другими собаками запрягли в сани.

В этот день они прошли сорок миль, так как мчались по накатанной дороге, но на следующий день и в течение еще многих дней им пришлось прокладывать себе по снегу свежий след, работа

стала тяжелее, и движение замедлилось. Перро обычно шел впереди собак, утаптывая и намечая путь на лыжах, а Франсуа, направлявший ход собак посредством длинного шеста, иногда менялся с ним ролями. Перро торопился и, кроме того, гордился своим знанием льда, которое было действительно необходимо, так как лед был ненадежен, а там, где течение было быстрым, и вовсе отсутствовал.

День за днем — казалось, конца не будет их бесконечной веренице, — Бэк тянул свои постромки. Привал делали обычно только вечером, когда уже становилось темно, а чуть начинало брезжить утро, сани были уже в пути, оставляя позади себя на несколько миль свежий след. Собак кормили только раз в сутки, с наступлением темноты; они съедали по куску рыбы и забирались спать под снег. Бэк был страшно прожорлив; он не мог удовлетвориться своим дневным пайком в полтора фунта сушеной лососины и беспрерывно страдал от голода. Между тем остальные собаки вследствие своего меньшего веса и того, что родились для такой жизни, получали всего по одному фунту рыбы и чувствовали себя превосходно.

Бэк скоро позабыл о том, как был разборчив в пище, когда жил у себя дома на Юге. Поскольку

он привык есть не спеша и смакуя каждый кусочек, ему скоро пришлось убедиться в том, что его товарищи нарочно спешили окончить свой обед, чтобы затем стащить у него остатки его порции. Защитить свою пищу было невозможно: когда он отнимал пищу у двоих или троих, она уже исчезала в горле у третьего или у четвертого. Чтобы выйти из положения, он научился есть так же быстро, как и остальные собаки. Впрочем, к этому в значительной степени его побуждал и голод. Тот же голод соблазнял его стащить у кого-нибудь то, что плохо лежало. Он следил за этим и ждал случая. Однажды он увидел, что хитрый и вороватый Пайк, один из недавно купленных псов, стащил у зазевавшегося Перро ломтик поджаренного сала. На следующий же день Бэк повторил этот маневр, схватил целый кусок и удрал. Поднялась суматоха, но на него не пало и тени подозрения. За проступок Бэка поплатился неловкий Дэйв, который всегда попадался.

Эта первая кража ясно показала Бэку, как надо действовать, чтобы выжить в суровой обстановке Севера. Воровство дало ему понять, что необходимо приспособляться к новым условиям жизни, и, не будь у него этой способности к приспособлению, ему, вероятно, пришлось бы погибнуть

мучительной смертью. Далее эта кража повела к тому, что его моральные понятия стали давать слабинку, так как в непрестанной борьбе за существование они оказывались ненужным и вредным грузом. Они были нужны там, на Юге, где царил закон любви и дружбы; там нужно было уважать собственность и считаться с интересами других; здесь же, на диком Севере, где царил закон дубины и клыка, всякий, кто стал бы считаться с такими пустяками, неизбежно прослыл бы за дурака, а если бы продолжал придерживаться их, то потерял бы всякую надежду на успех.

Конечно, Бэк не сознавал всего этого. Ему надо было только приспособляться, не более; и он бессознательно приспособлялся ко всем обстоятельствам новой жизни. С самого начала, невзирая на неравенство сил, он не избегал борьбы. Но дубина человека в красном свитере вколотила в его сознание более основательный и упрощенный взгляд на вещи. Прежде, будучи культурной собакой, он мог бы положить жизнь за моральные ценности — например, хотя бы за то, чтобы защитить хлыст судьи Миллера от посягавших на него воров, — теперь же его полное раскрепощение от цивилизации явно доказывалось способностью отвергать всякие моральные

принципы и думать только о собственной шкуре. Он крал не из любви к искусству, а по настоятельному требованию своего желудка. Притом он воровал не открыто, а с осторожностью, тайком, опасаясь клыка и дубины. Словом, он поступал так, как было легче и выгоднее.

Его развитие (а может быть, и регресс) шло быстро. Его мускулы стали точно железные, и он потерял чувствительность к обыкновенной, не чересчур сильной боли. Он научился экономить силы, духовные и физические. Теперь он мог есть все что угодно, какой бы отвратительной и трудно переваримой ни была пища. Стоило ему только проглотить любую еду, как желудочно-кишечный сок уже переваривал все съеденное до малейшей питательной частицы и кровь разносила переработанную пищу до самых отдаленных концов его организма, вырабатывая из нее крепчайшую мышечную ткань. Его зрение и обоняние необыкновенно развились, а слух стал настолько острым, что даже во сне он слышал ничтожнейший шорох и умел разбираться в том, возвещает ли он безопасность или беду. Он научился зубами выкусывать лед, намерзший между пальцами, а когда ему хотелось пить — он знал, что нужно дробить передними лапами лед и

под ним окажется вода. Но самой замечательной его особенностью было умение, набрав ноздрями воздух, определять за целую ночь вперед, какой будет на утро ветер. Как бы с вечера ни было тихо в воздухе, когда он рыл нору в снегу под деревом или на берегу, — если поднимался ночью ветер, то он всегда заставал Бэка уютно свернувшимся в клубочек под хорошей защитой с подветренной стороны.

Но он постигал все это не только опытом, нет — в нем зашевелились давно умершие инстинкты. Отпадало то, что было унаследовано им от поколений прирученных предков. Он как бы стал теперь смутно припоминать давно прошедшие времена всего своего вида, когда дикие стаи собак еще бродили по девственным лесам и отыскивали добычу. Для него уже не составляло труда пускать в дело когти, зубы и короткую волчью хватку. Так ведь дрались и его забытые, далекие предки! Это они всколыхнули в нем старую жизнь, и былые приемы борьбы, запечатлевшиеся в наследственности вида, стали теперь его достоянием. Они пришли к нему без всякого зова с его стороны, как будто он и раньше владел ими. И когда в тихие, холодные ночи он поднимал морду к звездам и долго по-волчьи выл, то это выли

в нем его предки, обратившиеся ныне в пыль и прах, но когда-то поднимавшие морды к звездам и вывшие в продолжение тысячелетий так же, как и он. Приступы его тоски изливались в тех же звуках, которые означали извечную скорбь и то, как действовали всегда на собак тишина, холод и мрак.

И вот, точно в доказательство того, что жизнь — простая игрушка, в нем заговорили вдруг воспоминания о былом, и он вернулся к первобытным инстинктам, вернулся потому, что люди нашли на Севере желтый металл, и потому, что Мануэль был помощником садовника и получал жалованье, которого ему не хватало на жену и ребятишек.

III
Торжествующий первобытный зверь

Оказалось, что торжествующий изначальный зверь еще был довольно силен в Бэке, а при жестоких условиях жизни он с каждым днем пробуждался в нем все сильнее и сильнее. Но он не прорывался наружу. Возродившаяся хитрость заставляла его сдерживаться и не выдавать себя. Ему нужно было как можно скорее применить-ся к новым условиям жизни, иначе он не мог бы чувствовать себя спокойно, и потому он не лез первый в драку и вообще старался избегать всяких столкновений. Основной чертой его характера сделалась осмотрительность. Он не был склонен к быстрым и решительным действиям. Как ни была велика его ненависть к Шпицу, он сдерживал себя, спокойно уклоняясь от его придирок.

С другой стороны, может быть, чувствуя в Бэке опасного соперника, Шпиц никогда не упускал случая оскалить на Бэка зубы. Он нарочно сбегал со своей дороги, чтобы задеть Бэка, и все время только и думал о том, как бы затеять с ним драку,

которая неизбежно должна была закончиться смертью одного из них. Такая схватка, может быть, и произошла бы между этими собаками, если бы неожиданная случайность не отвратила надвигавшейся на них беды. Однажды уже к вечеру сани остановились на жалкой и голой площадке у озера Ле-Барж. Поднялась метель, ветер обжигал, как раскаленное железо. Такая погода и затем быстро наступившая темнота поневоле заставили остановиться на первом попавшемся месте. Пожалуй, трудно было бы найти для стоянки что-либо хуже. Они остановились у отвесной скалы, так что Перро и Франсуа были вынуждены развести огонь и развернуть спальные мешки на льду озера. Свою палатку они оставили в Дайе, чтобы путешествовать налегке. Из нескольких сучьев они развели костер, который, однако, продержался недолго, так как растопил поверхность льда и погас, и им пришлось ужинать в темноте.

Бэк устроил себе логово под самой скалой. Там оказалось так тепло и уютно, что ему не хотелось вылезать оттуда, когда Франсуа стал распределять между собаками рыбу, предварительно согрев ее у костра. Но, когда Бэк съел свою порцию и вернулся, его помещение оказалось занятым. Предостерегающее рычание подсказало ему, что

захватчиком был Шпиц. До сих пор Бэк избегал задевать своего врага, но это было уже слишком бесцеремонно. В нем проснулся и зарычал зверь. Он бросился на Шпица с бешенством, которое удивило их обоих, и в особенности Шпица, так как он до тех пор считал Бэка трусливой собакой большого веса и размера.

Удивился и Франсуа, когда оба пса вдруг выкатились, вцепившись друг в друга, из заветной норы, и тут же понял, из-за чего возникла драка.

— Валяй! Валяй его! — закричал он Бэку. — Покажи ему, подлецу, чтобы знал, как воровать! Хорошенько его!

Шпиц охотно вступил в бой. Он визжал от возбуждения и ярости, кружась вокруг своего соперника и намечая прыжок. Бэк проявлял не меньшее нетерпение и также стал описывать круги, чтобы получить превосходство при нападении. Но здесь произошло нечто неожиданное, что отложило их борьбу за первенство в долгий ящик, до неопределенного дня после многих миль совместного утомительного пути.

Проклятия Перро, звучный удар дубиной по чьей-то костлявой спине и острый крик боли возвестили о начале событий. Внезапно весь лагерь ожил, и повсюду появились морды голодных

собак. Их было около четырех или пяти стай. Вероятно, почуяв, что вблизи остановились сани со съестными припасами, они прибежали сюда из какой-то ближайшей индейской деревни. Они подкрались незаметно, в самом начале драки между Шпицем и Бэком. Когда же Франсуа и Перро бросились на них с дубинами, они, в свою очередь, показали им зубы и приготовились к отпору. Запах съестного сводил их с ума. Перро увидел, как одна из собак уже засунула голову в ящик с припасами. Дубина тяжело ударила вора по ребрам, и припасы рассыпались по льду. Тотчас же целая стая голодных животных набросилась на вывалившийся хлеб и сало. Заработали дубины. Собаки визжали и выли под ударами, но не могли оторваться от еды и продолжали бороться за нее до тех пор, пока, наконец, не съели последнюю крошку.

Тем временем упряжные собаки с изумлением повылезали из своих нор. Свирепые пришельцы набросились и на них. Бэк никогда не видел таких собак. Казалось, что вот-вот на них лопнет кожа и кости вывалятся наружу. Это были в полном смысле слова скелеты, обтянутые шкурой с облезшей шерстью. Глаза у них горели, с клыков стекала слюна. Безумие голода делало

их ужасными и неодолимыми. Сопротивляться им было невозможно. При первой же схватке упряжные собаки были откинуты к скале. На Бэка набросились сразу три диких пса, и в одно мгновение у него оказались разодранными морда и плечо. Произошла невероятная свалка. Билли по обыкновению визжал. Дэйв и Соллекс, истекавшие кровью от многочисленных ран, храбро сражались бок о бок. Джо кусался, как дьявол. Он вцепился в переднюю лапу какого-то подвернувшегося пса так, что не мог разжать челюстей, и прогрыз кость. Хитрец Пайк тут же набросился на этого калеку и положил его на месте. Бэк вцепился в какого-то слюнявого противника, вонзил ему в горло свои острые зубы и весь вымазался в его слюне и крови. Вкус теплой крови во рту разъярил его еще больше. Он набросился на другую собаку и в то же время почувствовал, что чьи-то зубы впиваются в его собственное горло. Это оказался Шпиц, предательски напавший на него.

Очистив около себя часть привала, Перро и Франсуа поспешили на выручку к своим собакам. Дикая лавина изголодавшихся животных откатилась, как только они появились, и Бэк стряхнул с себя своего врага. Но это было только на один момент. Оба человека должны были немедленно

бежать назад, чтобы спасти хоть жалкие остатки продуктов, на которые опять набросились собаки. С мужеством отчаяния Билли кинулся напролом через самую гущу драки и помчался куда-то по льду. За ним по пятам ринулись Пайк и Дэйв, а затем бросились и все остальные ездовые собаки. Едва только Бэк собрался последовать их примеру, как заметил, что Шпиц приготовился броситься на него с очевидным намерением сбить его с ног. Если бы Бэк упал, то вся масса диких псов могла бы навалиться на него, и ему бы тогда уже не сдобровать. Но он дал Шпицу хороший отпор, и не прошло минуты, как он уже мчался со всех ног по льду за своими друзьями.

Через некоторое время все девять упряжных собак сошлись вместе и отправились в лес отыскивать для себя ночлег. Теперь их никто не преследовал, и тех ран, которые они получили в честном бою, было с них вполне достаточно. Каждая получила по крайней мере четыре или пять ран. А у некоторых ранения были довольно серьезные. Так, у Дэйва оказалась сильно поврежденной задняя нога, у новой собаки, Долли, — разодрана шея, Джо лишился глаза, а добродушный Билли горько оплакивал свое истерзанное в клочья ухо и голосил всю ночь

напролет. На рассвете уставшие и не спавшие собаки, вернувшись к лагерю, увидали, что мародеры ушли, и испытали на себе дурное расположение Франсуа и Перро. Добрая половина продовольствия исчезла. Мало того, голодные собаки съели кожаные ремни на санях и даже брезент. Ничто, в самой отдаленной степени напоминавшее съедобное, не избежало их благосклонного внимания. Они сожрали подбитые оленьим мехом сапоги Франсуа, выгрызли из саней те места, к которым были прикреплены постромки, и съели половину кнута, которым Франсуа подгонял своих собак. Погонщик долго и грустно созерцал картину разрушения и, наконец, перевел глаза на своих израненных собак.

— Ах, друзья мои! — обратился он к ним ласково. — Ну что, если вы все от этих укусов перебеситесь?! Может быть, вы уже и бешеные? Как ты думаешь, Перро?

Курьер с сомнением покачал головой. До форта Доусона оставалось еще четыреста миль пути, и ему отнюдь не улыбалась перспектива водобоязни, которой могли заболеть его собаки. Через два часа, прошедшие в проклятиях и в крайнем напряжении, упряжь была, наконец, приведена в порядок, и, несмотря на боль от ран, собаки

двинулись в путь по самой тяжкой его части до Доусона.

Тридцатимильная река, как оказалось, еще не замерзла. Бешеный поток воды смеялся над морозом, и лишь кое-где в затонах и в спокойных местах держался лед. Потребовалось шесть дней крайне изнурительного перехода, чтобы покрыть эти ужасные тридцать миль. Каждый шаг вперед совершался со смертельным риском для собак и людей. Перро несколько раз проваливался под лед и спасался только благодаря длинному шесту, который он, не выпуская из рук, держал все время таким образом, чтобы при каждом провале под лед шест приходился поперек полыньи. Стояли сильные морозы, термометр показывал минус пятьдесят градусов по Цельсию, и каждый раз, когда Перро проваливался, он должен был, чтобы не простудиться, немедленно разводить костер и просушивать одежду.

Однако ничто не устрашало его. За это бесстрашие он и был назначен правительственным курьером. Он шел на любой риск, решительно подставляя морозу свое маленькое, сморщенное лицо и отважно борясь с препятствиями буквально с раннего утра и до позднего вечера. Он, не колеблясь, огибал угрюмые берега по тонкому

льду, который гнулся и трещал под ногами и на котором остановиться хоть на мгновение значило погибнуть. Раз провалились сани вместе с Дэйвом и Бэком, и, пока их вытаскивали, несчастные собаки чуть не захлебнулись и совершенно закоченели. Для того, чтобы спасти моментально обледеневших собак, пришлось тотчас же разжечь большой костер. Франсуа и Перро заставили их бегать вокруг костра так близко к огню, что несколько раз на них вспыхивала шерсть.

В другой раз провалился Шпиц, потянув за собой всю запряжку вплоть до Бэка, который догадался вовремя упереться лапами в скользкий край полыньи и не дал саням сползти в воду, хотя лед кругом трещал и прогибался. Бэку помог Дэйв, изо всех сил потянувший назад, а Дэйву — Франсуа, шедший позади саней и задерживавший их с таким напряжением, что слышно было, как у него захрустели кости.

Был еще случай, когда лед сломался и спереди, и сзади и уже не было другого спасения, кроме отвесной скалы, на которую необходимо было взобраться. Каким-то чудом Перро удалось вскарабкаться на нее, и об этом чуде как раз и молился в это время Франсуа. Мигом связали ремни, постромки и последние остатки упряжи в

одну длинную веревку, и Перро втащил на ней по очереди всех собак на вершину скалы. Потом он потянул туда же сани и поклажу и, наконец, втащил и самого Франсуа. Затем пришлось искать место, по которому можно было бы опять спуститься на лед. В конце концов спуск нашли, при помощи все той же веревки спустились, и ночь застала путников опять на льду, в какой-нибудь четверти мили от места происшествия.

К тому времени, как им достигнуть Хуталинква, Бэк окончательно вымотался. В подобном же состоянии были и остальные собаки; но, чтобы наверстать потерянное время, Перро все-таки гнал их без передышки. В первый день они прошли тридцать пять миль до Большого Лосося; в следующий — еще тридцать пять миль до Малого Лосося; на третий день — сорок миль, и они оказались уже в окрестностях Пяти Пальцев.

Ноги у Бэка были не так упруги и крепки, как у местных собак. Они ослабели благодаря целому ряду прирученных поколений, начиная с того дня, когда его последний дикий прапрадед был укрощен каким-нибудь пещерным человеком или жителем свайных построек. По целым дням он мучительно хромал, а на стоянках валился с ног, как мертвый. Несмотря на мучивший его го-

лод, у него иногда не было сил, чтобы подняться и взять свою порцию пищи, и Франсуа стал подносить ему ее. Этот погонщик, кроме того, каждый вечер чуть не по целому часу растирал ему лапы и, наконец, пожертвовал своими мокасинами, чтобы сделать мокасины для его четырех лап.

Это было большое облегчение для Бэка, и в одно утро даже морщинистое, бесстрастное лицо Перро расплылось в добродушную улыбку, когда Франсуа забыл надеть на Бэка эти мокасины и тот лег на спину, с умоляющим взглядом вытянув кверху все свои четыре лапы, и не двинулся с места до тех пор, пока не был обут. В дальнейшем, однако, его ноги закалились и окрепли, так что износившуюся обувь не жалко было и выбросить.

На стоянке у Пелли, как раз в то время, когда утром запрягали собак, вдруг взбесилась Долли. Это было тем более странно, что она до сих пор не проявляла ни малейших признаков болезни. Она дико, по-волчьи завыла, и у каждой из остальных собак от ужаса поднялась шерсть дыбом. Затем она стремительно бросилась прямо на Бэка. Он ни разу не видел бешеных собак и не имел никаких оснований бояться бешенства; тем не менее, он в паническом ужасе бросился в бегство. Он опро-

метью мчался по прямой линии, а Долли гналась за ним, вся в пене и тяжело дыша, в каких-нибудь двух-трех футах от него. Настичь Бэка она не могла, так как страх удваивал его силы, но и он не мог убежать от нее: бешенство как бы окрыляло ее. Бэк нырнул в чащу лесного острова, выскочил с другой его стороны, перерезал какой-то пролив, загроможденный льдом, достиг другого острова, описал круг, чтобы вернуться поскорей к главному руслу реки, и уже в отчаянии стал пересекать и его. И все время, хоть и не оборачиваясь, он чувствовал за собой на расстоянии одного прыжка тяжелое дыхание Долли. Когда он был за четверть мили от лагеря, Франсуа позвал его, и он метнулся назад, все еще с бешеною погоней по пятам. Он уже с трудом дышал. Он выбился из сил. Вся его надежда была только на то, что Франсуа его спасет. А Франсуа держал наготове топор, и, когда, наконец, Бэк промчался мимо него, он раздробил топором голову безумной Долли. Едва переводя дух, беспомощный и измучившийся, Бэк остановился у саней.

Шпиц только того и ждал. Он подскочил к Бэку и два раза вонзил свои зубы в неспособного сопротивляться врага, укусив его до самой кости. Затем пошел в дело хлыст Франсуа, и Бэк с удовлетворе-

нием увидел, что Шпиц получил основательную порку, какой до сих пор еще не получала ни одна из упряжных собак.

— Вот дьявол, этот Шпиц! — заметил Перро. — Он когда-нибудь загрызет Бэка!..

— А Бэк зато — дьявол вдвойне, — возразил Франсуа. — Я все время слежу и теперь могу сказать наверное. Слушай: в один прекрасный день он разъярится, как черт, и слопает Шпица, а остаток выплюнет в снег. Ручаюсь. Я знаю!

С этого дня между двумя псами началась война. Шпиц, бывший до сих пор признанным вожаком и главой упряжки, почувствовал, что его первенству угрожает опасность со стороны этой странной южной собаки. Это казалось ему непостижимым, так как из всех тех южных собак, которых он до сих пор знал, ни одна не проявила качеств, необходимых для упряжки и лагерной жизни. Все это были избалованные существа, которые гибли от непосильной работы, мороза и голода. Бэк оказался исключением. Он покорно все переносил и процветал, превосходя обыкновенных ездовых собак в силе, дикости и хитрости. Кроме того, он был властолюбив, а дубина человека в красном свитере выбила из него заносчивость и опрометчивость, и это делало

его особенно опасным противником. Им руководила теперь главным образом хитрость, и он терпеливо, с настойчивостью дикаря в течение какого угодно времени мог выжидать счастливого случая.

Решительная схватка в борьбе за первенство неизбежно должна была состояться. Бэк жаждал ее. Он жаждал ее потому, что его как бы в тисках сжала та непостижимая гордость службы, которая заставляет собак издыхать на посту, побуждает их радостно мчаться в упряжи и разрывает им сердце на части, если их вдруг признают негодными и снимут с них упряжь. Эта гордость говорила и в Дэйве, заставляя его ценить свое место коренника; она же проявлялась и в Соллексе, когда он тянул сани изо всех своих сил; она же овладевала и всей сворой при отправлении с каждого места стоянки, точно по мановению волшебного жезла сразу превращая собак из мрачных и угрюмых зверей в неутомимые, усердные и самолюбивые существа; та же гордость вдохновляла их в течение целого дня и покидала их только по вечерам, на стоянках, когда они снова возвращались к неопределенному беспокойству и недовольству жизнью. Именно эта гордость и заставила Шпица высоко держать

знамя вожака и кусать тех собак, которые запутывались в постромках или прятались по утрам, чтобы уклониться от работы. Только она, эта гордость, и побуждала его бояться Бэка, как своего возможного заместителя и будущего вожака. А к этому-то как раз и стремился Бэк.

Бэк открыто угрожал первенству Шпица. Всякий раз он неизменно становился при запряжке между ним и теми собаками, которых Шпиц собирался укусить. Он делал это вполне сознательно. Однажды утром, когда за ночь выпало много снега, хитрый Пайк куда-то спрятался и долго не появлялся. Оказалось, что он зарылся в глубокий снег. Напрасно Франсуа искал и звал его, Шпиц же одичал от злости. Он заметался по лагерю, всюду вынюхивая и роясь в каждом подозрительном уголке, и притом так рычал, что бедный Пайк дрожал в своем убежище от страха, как лист.

Но, когда Пайка, наконец, нашли и отрыли и Шпиц вдруг налетел на него, чтобы задать ему трепку, Бэк яростно встал между ними. Это было до такой степени неожиданно и так хитро задумано, что Шпица отбросило назад и сбило с ног. Пайк, до той минуты трусливо дрожавший, сразу обрадовался началу открытого мятежа и набро-

сился на своего поверженного вожака. Успев уже позабыть о всяких принципах благородного боя, Бэк также накинулся на Шпица. Но Франсуа, хотя слегка и посмеивался, глядя на этот маневр, однако не захотел уклониться от исполнения своих прямых обязанностей и изо всех сил стегнул бичом Бэка по спине. Поскольку и это воздействие не заставило Бэка оторваться от своего поверженного соперника, пошло в дело и кнутовище. Полуоглушенного Бэка оттащили в сторону, и на него посыпались новые удары, тогда как Шпиц основательно занялся многогрешным Пайком.

В последующие дни по мере приближения к Доусону Бэк все чаще и чаще стал вмешиваться в расправу Шпица с виновными, но теперь он проделывал это очень ловко, когда Франсуа не было вблизи. Скрытый бунт Бэка вызвал всеобщее падение дисциплины. Кроме Дэйва и Соллекса, остальные собаки вели себя с каждым днем хуже и хуже. Все пошло вкривь и вкось. Начались беспрерывные драки и раздоры. Постоянно продолжались непорядки, скрытой причиной которых являлся Бэк. С минуты на минуту Франсуа ожидал, что между двумя собаками произойдет борьба не на жизнь, а на смерть. Часто ночью, услышав, как ссорятся и грызутся другие собаки,

он вылезал из своего спального мешка, опасаясь, что началась уже смертельная схватка между Бэком и Шпицем.

Но подходящего случал пока не представлялось, и в один из неприветливых вечеров они вступили в Доусон, так и не решив спора о первенстве.

Здесь оказалось великое множество людей и собак, и Бэк удивился, увидев их всех за работой. Видимо, здесь считалось в порядке вещей, чтобы собаки трудились. Целые дни их длинные упряжки двигались по улицам, и даже по ночам раздавался звон их бубенцов. Они возили доски и дрова, тянули тяжело нагруженные сани к приискам и исполняли всякую работу, которую в долине Санта-Клара проделывали лошади. Время от времени Бэк встречал здесь и южных собак, но большинство составляли местные псы, похожие на волков и покрытые жесткой шерстью. Каждую ночь, регулярно в девять, двенадцать и в три, все собаки затягивали свою полуночную песнь — полный тоски и скорби вой, к которому с наслаждением присоединялся и Бэк.

При северном сиянии, холодно вспыхивавшем над головой, или при звездах, ярко мерцавших в морозном воздухе, когда земля цепенела, озябнув

под своим снежным покровом, эта песнь собак могла показаться вызовом, брошенным самой жизнью, но минорные ее переливы, с тягучими воплями и стонами, скорее возносили жалобу на скорбь бытия и на мучительную работу. Это была старая песнь, такая же старая, как и сама собачья порода, — одна из тех первых песен юного мира, когда все песни были полны скорби. Она была насыщена страданиями бесчисленных поколений и той жалобой, которая так странно волновала Бэка. Он стонал от той же тоски, которая была тоской и для диких его предков, и от того же страха перед тайной холода и ночи, который и у них являлся перед той же тайной. И если Бэка теперь волновали отзвуки давно минувших дней и поколений, то это говорило только о том, как чутко он прислушивался сквозь века крови и огня к тем первейшим отзвукам жизни, которые доносились до него от эпохи древнего воя.

Через семь дней по прибытии в Доусон вся упряжка уже мчалась обратно вдоль Юкона к Дайе и Соленому Озеру. Перро вез обратно более срочные бумаги, чем те, которые переправил сюда; охваченный гордостью, что его считают опытным ездоком, он решил теперь покрыть годовой рекорд. Ему способствовало несколько

обстоятельств: недельный отдых восстановил силы его собак и привел их в исправное состояние; оставленный ими след был накатан теперь другими обозами, которые ехали за ними; наконец, полиция устроила в двух или трех местах склады продовольствия для людей и собак, и, следовательно, можно было ехать налегке.

В первый день они добрались до Шестидесятой Мили, то есть сделали ровно пятьдесят миль; на другой день они уже поднимались вверх по Юкону и приближались к Пелли. Но такие большие перегоны достигались не без ропота и раздражения со стороны Франсуа. Коварный бунт, поднятый Бэком, разрушил солидарность упряжки. Собаки уже не бежали так дружно, как прежде. Поощрение, которое оказывал Бэк бунтовщикам, подстрекало их на всякого рода мелкие проделки. Шпиц больше не представлял для них авторитета как вожак. Страх перед ним исчез, и все собаки теперь смело бросали ему вызов. Однажды ночью Пайк украл у него половину рыбы и благополучно съел ее, воспользовавшись защитой Бэка. В другой раз Дэйв и Джо искусали Шпица. Даже такой добряк, как Билли, стал терять свое добродушие и скулил менее жалобно, чем в прежние дни. Что же касается самого

Бэка, то он уже никогда не подходил к Шпицу без того, чтобы не ощетиниться и не порычать. Вообще он отчаянно перед ним нахальничал. Ему, например, нравилось с вызывающим видом прогуливаться взад и вперед у самого носа Шпица.

Общее падение дисциплины отразилось и на отношениях собак между собой. Они стали теперь грызться до такой степени часто, что лагерь временами походил на воющий бедлам. Только Дэйв и Соллекс не изменились, хотя и их, видимо, раздражали всеобщие свалки. Франсуа все время изрекал какие-то варварские ругательства, в тщетной ярости бегал за собаками по снегу и даже рвал на себе волосы. Все время его плеть свистала в воздухе, но это приносило мало пользы. Едва только он поворачивался к ним спиной, как драка возобновлялась. Он отгонял от них своей плетью Шпица, а Бэк отгонял остальных собак. Франсуа, конечно, отлично знал, что причиной всех беспорядков был Бэк, а Бэк чувствовал, что Франсуа это знал. Но беда Франсуа состояла в том, что Бэк был слишком умен, чтобы быть пойманным на месте преступления. Он охотно работал в упряжи, так как тянуть лямку стало для него наслаждением; но в то же время ему доставляло еще большее удовольствие затевать между собаками драку

так, чтобы перепутались все постромки.

Однажды вечером, после ужина, у устья Тэхкины Даб вспугнул полярного кролика, хотел его схватить и промахнулся. Через секунду вся свора была на ногах. В ста ярдах оттуда находилась станция Северо-Восточной полиции, при которой состояло около пятидесяти местных собак. Все эти псы присоединились к погоне. Кролик помчался вниз по реке, потом свернул вдоль русла замерзшего ручейка и поскакал напрямик. Он легко прыгал по поверхности снежного покрова, тогда как собаки постоянно проваливались и выбивались из сил. Бэк вел за собой всю свору из шестидесяти собак и, как ни старался, все-таки кролика догнать не мог. Страстно повизгивая, он распластался в беге и при голубовато-белом свете луны выбрасывал свое великолепное тело вдогонку за кроликом. И так же, скачок за скачком, точно бледный призрак снегов, мчался впереди кролик.

Все то же брожение древних инстинктов, которое иногда гонит и людей из шумных городов в простор лесов и полей, чтобы посредством химических приемов и свинцовых шариков убивать там живые существа, — радость крови и веселие убийства, — сразу нахлынуло на Бэка, только

в нем эти инстинкты проснулись с бесконечно большей силой и непосредственностью. И он мчался впереди стаи со страстным желанием схватить добычу, впиться зубами в тело и, загрызая жертву насмерть, теплой кровью омыть свою морду до самых глаз.

Находит иногда такой экстаз, который знаменует собой высшую точку жизни, высшее напряжение жизненных сил. И таков парадокс бытия, что этот экстаз охватывает существо, когда оно наиболее полно ощущает жизнь, и в то же время этот экстаз — полное забвение себя и всего окружающего. Такой экстаз, такое забвение жизни приходит к творцу, когда он вдруг забывает о себе и, подчиняясь охватившему его вдохновению, начинает творить. Приходит такой экстаз к воину, охваченному безумием битвы и отвергающему пощаду. Теперь он пришел и к Бэку, летевшему впереди стаи и издававшему волчий победный вопль. Экстаз охватил его бешеной жаждой как можно скорее схватить живьем добычу, быстро убегающую от него при свете луны. Экстаз вырастал из самых глубин его существа, он рождался из той части его природы, которая была унаследована им от глубокой древности. Экстаз возвращал его к первоисточникам вре-

мени. Бэком владели теперь клокотание жизни, таинственный прилив бытия, совершеннейшая радость, пронизывавшая каждый его отдельный мускул; он был преисполнен жизни, которая в нем била через край, и радости, претворившейся в восторженную скачку за кроликом под тихо мерцавшими звездами по мертвой, неподвижной поверхности снега.

Шпиц, даже в минуты высшего напряжения остававшийся холодным и расчетливым, отделился от стая и побежал наперерез кролику по узкому полуострову, образовавшемуся благодаря излучине реки. Бэк не заметил этого и, все еще не выпуская из виду кролика и догоняя его, вдруг увидел другой белый призрак, гораздо больших размеров, который бросился на кролика с высоты нависшего берега. Это был Шпиц. Теперь кролик не мог уже увернуться, и белые зубы мгновенно вонзились ему в спину. Зверек закричал, как ребенок, громко и жалобно. А при этом звуке, при этом прощании с жизнью, которая вступила теперь в крепкую схватку со смертью, вся свора собак испустила дикий вопль восторга.

Не кричал только Бэк. Он не мог остановиться и налетел на Шпица, плечо к плечу, и притом так сильно, что не успел схватить его за горло. Они

перевернулись в пушистом снегу раз и другой. Затем Шпиц вскочил первый и укусил Бэка за плечо. Его зубы дважды щелкнули, как стальной капкан, когда он отступил, чтобы приготовиться к новому прыжку. Пасть его оскалилась, он яростно рычал.

В одно мгновение Бэк понял: время настало. Схватка насмерть. И когда они кружились друг перед другом, рыча и закинув уши назад, выжидая благоприятного момента, чтобы вцепиться один в другого, вся эта сцена показалась Бэку давно знакомой. Словно он сразу припомнил все: и заиндевевшие леса, и застывшую землю, и лунный свет, и эту дрожь перед боем. Над белой молчаливой равниной веяло призрачным спокойствием. В воздухе — ни малейшего ветерка, ни малейшего шороха прошлогоднего листа. В морозном воздухе медленно поднимался только пар от дыхания собак. Они давно уже расправились с кроликом, и теперь все эти плохо приручённые волки образовали кольцо, полное напряженного ожидания. Сидели молча, с горящими глазами и медленно исходившим от дыхания паром. В этой сцене давно прошедших времен Бэк не увидел ничего ни странного, ни нового. Все было так, как и тогда, как и всегда, — обычный путь явлений.

Шпиц был опытным бойцом. От самого Шпицбергена, через весь Крайний Север и Канаду вплоть до Баренса, он всюду отстаивал свои неотъемлемые права перед всякого рода собаками и всегда был первым. Его ярость была жестокой, но не слепой. Охваченный страстью рвать и уничтожать, он никогда не забывал, что его противники должны были переживать то же самое, что и он. Он никогда не начинал атаки, если не знал, что готов выдержать ее сам, и редко нападал, не отразив предварительно нападения.

Напрасно Бэк старался вонзить зубы в шею белого пса. Куда бы ни попадали его клыки, их неизменно встречали клыки Шпица. Клык наталкивался на клык, губы были искусаны, но Бэку никак не удавалось застигнуть врага врасплох. Тогда он окружил Шпица целым вихрем внезапных наскоков. Снова и снова стремился он ухватить зубами его снежно-белое горло, где жизнь билась близко к поверхности, и каждый раз Шпиц кусал его и отскакивал назад. Тогда Бэк пустился на хитрость: делая вид, что намерен схватить Шпица за горло, он сразу отдергивал голову назад и затем, отогнув ее в сторону, с такой силой ударял плечом в бок Шпица, точно бил тараном. Он надеялся сбить врага с ног. Но вместо

этого плечо самого Бэка всякий раз оказывалось искусанным, а Шпиц преспокойно отскакивал в сторону.

Бэк обливался кровью и тяжело дышал, тогда как Шпиц оставался невредимым. Положение Бэка начинало становиться отчаянным. Остальные псы в глубоком молчании ожидали момента, когда один из противников упадет, чтобы доконать его. По мере того как Бэк уставал, Шпиц переходил в наступление, и, теряя устойчивость, Бэк стал покачиваться на ногах. Один раз он даже упал, и весь круг из шестидесяти собак, точно по команде, вскочил вдруг с места, но Бэк быстро поднялся, и все кольцо опять опустилось на снег, застыв в ожидании.

У Бэка было одно незаменимое преимущество — воображение. До сих пор он дрался, руководствуясь инстинктом, но он мог пустить в дело и свой мозг. Он бросился на Шпица, точно желая повторить удар плечом, и вдруг притворно упал на снег, вцепившись зубами в переднюю левую лапу Шпица. Его челюсти сжались, послышался хруст ломавшейся кости, и белая собака осталась на трех ногах. Три раза подряд Бэк пытался сбросить врага наземь, затем повторил свой маневр и сломал ему правую переднюю ногу. Несмотря

на невыносимую боль и беспомощность, Шпиц все еще продолжал бешено бороться. Он видел молчаливый круг собак, их горевшие глаза, высунутые языки и серебристые облачка пара, тянувшиеся от их морд кверху. Круг постепенно сжимался, как и всегда при приближении гибели одного из бойцов, чему он был свидетелем в прошлом не один раз…

Но на этот раз побежденным оказывался он сам.

Для Шпица не оставалось надежды. Бэк был неумолим. Сострадание применялось там, где был более мягкий климат. Бэк приготовился к последней атаке. Кольцо сомкнулось уже до того, что он чувствовал на своих боках теплое дыхание собак. Он видел, как они со всех сторон подбирались к Шпицу и с какой алчностью были устремлены на него их глаза. Наступила пауза. Каждая собака вдруг замерла, точно превратилась в камень. Только Шпиц корчился и ощетинивался, рыча и угрожая, точно стараясь этим испугать надвигающуюся смерть. Бэк мгновенно наскочил на врага и отскочил. Но этот короткий удар плечом был верным и последним. Темное кольцо сомкнулось в одну точку на озаренном луной снегу, и Шпиц исчез из виду. Торжествуя победу, Бэк стоял в

стороне и смотрел на эту сцену. Воскресший в нем первобытный зверь совершил убийство и был этим доволен.

IV
Кто стал хозяином положения

— Ну, что я говорил? Ведь я правильно сказал, что в Бэке два дьявола! — так восклицал на следующее утро Франсуа, убедившись, что Шпица нигде нет, а Бэк весь в ранах. Он притянул Бэка к костру и при свете огня показал Перро раны собаки.

— Этот Шпиц дерется, как черт, — ответил Перро, осмотрев зиявшие раны Бэка.

— А Бэк дерется, как два черта, — продолжал Франсуа. — Ну, теперь дело пойдет на лад. Шпица нет, значит, и дракам конец.

Пока Перро упаковывал пожитки и нагружал сани, Франсуа принялся запрягать собак. Бэк уверенно подбежал к тому месту, которое занимал Шпиц в качестве вожака, но Франсуа, не обратив на Бэка внимания, подвел Соллекса, так как из всех оставшихся собак считал его для этой цели наиболее подходящим. Бэк с яростью накинулся на Соллекса, отбросил его и снова стал на место Шпица.

— Ну, что ты скажешь? — развел руками Фран-

суа и весело хлопнул себя по бедрам. — Посмотри на Бэка. Думает, раз он загрыз Шпица, то и его место должно перейти к нему. — Пошел прочь, дьявол! — крикнул он на Бэка, но тот не тронулся с места.

Франсуа взял Бэка за ошейник и, хотя пес грозно зарычал на него, оттянул его в сторону и снова поставил Соллекса на место. Старому псу это, видимо, не понравилось, и он отчетливо дал понять, что боится Бэка. Франсуа был настойчив, но, когда он повернулся спиной, Бэк снова заменил Соллекса без всякого сопротивления со стороны последнего.

Франсуа рассердился.

— Ну, я тебя проучу! — воскликнул он, побежал и возвратился с дубиной.

Бэк вспомнил человека в красном свитере и нехотя отступил. Теперь он не пытался прогонять Соллекса, когда того снова водворили на место вожака. Он стал описывать круги вне пределов досягаемости дубинки, рыча от огорчения и досады и внимательно наблюдая, чтобы успеть вовремя увернуться, если Франсуа вздумает швырнуть в него дубинкой. Он уже основательно постиг значение дубинки.

Погонщик занялся своей работой и позвал к

себе Бэка, когда пришла очередь поставить его на старое место перед Дэйвом. Бэк попятился на два или на три шага. Франсуа последовал за ним. Бэк отступил еще дальше. Когда эта церемония затянулась, Франсуа отбросил дубинку, думая, что Бэк боится ее. Но Бэк, видимо, взбунтовался открыто. Дело не в дубинке — он желал добиться места вожака. Это было его право. Он заслужил его и не успокоится до тех пор, пока его не получит.

На помощь Франсуа явился Перро. Битый час они возились с Бэком. Они бросали в него дубинками, бегали за ним. Но он ловко увертывался. Они проклинали его, его предков и его потомков, вплоть до самых отдаленных, не явившихся еще на свет поколений, проклинали каждый волос его шкуры и каждую каплю крови в его жилах. Но Бэк отвечал на всю их ругань глухим рычанием и всякий раз увертывался. Он не пытался бежать от них и все время кружился в пределах лагеря, ясно давая понять, что немедленно подойдет и будет вести себя хорошо, как только его желание будет исполнено.

Франсуа, наконец, выбился из сил, опустился на землю и почесал себе затылок. Перро посмотрел на часы и выругался. Время летело, и они уже опоздали с выездом на целый час. Франсуа еще

раз почесал затылок, потом покачал головой, улыбнулся и бараньими глазами посмотрел на курьера. Тот пожал плечами в знак того, что признал себя побежденным. Тогда Франсуа отправился к месту, на котором стоял Соллекс, и кликнул Бэка. Бэк засмеялся по-собачьи, но продолжал держаться на расстоянии. Франсуа расстегнул на Соллексе постромки и отвел его на прежнее место. Теперь вся упряжка стояла в полной готовности, вытянувшись в одну линию и ожидая сигнала к отправлению. Для Бэка не оставалось другого места, кроме как впереди, — места вожака. Франсуа окликнул его еще раз, Бэк опять засмеялся, но не приблизился.

— Брось дубинку! — скомандовал Перро.

Франсуа подчинился, и Бэк, торжествующе смеясь, подбежал к упряжке и стал во главе ее, на место вожака. Мигом укрепили на нем постромки, отбили лед от полозьев саней, и, в сопровождении двух людей на лыжах, собаки весело побежали по льду вдоль реки.

Как ни высоко оценил Бэка погонщик, сказав, что в нем сидят два дьявола, но не склонился еще к закату день, как ему пришлось убедиться, что он недооценил его. Бэк мгновенно освоился с обязанностями вожака, и там, где требовались со-

образительность и быстрое решение, он показал, что превосходит даже Шпица — лучшего вожака, которого когда-либо видел Франсуа.

Еще больше отличился Бэк как законодатель. Он строго следил за тем, чтобы его товарищи в точности исполняли все его требования. Дэйв и Соллекс ничего не имели против перемены вожатого. Это их не касалось. От них требовалось тянуть постромки изо всех сил — и они это исполняли. Поскольку им в этом не мешали, им было все равно. С их точки зрения, мог бы быть вожаком даже и добродушный Билли, лишь бы только он поддерживал порядок. Что же касается всех остальных собак, то за последние дни управления Шпица они так разбаловались, что теперь были весьма изумлены, когда строгий Бэк вдруг стал наводить свои порядки.

Запряженный как раз позади Бэка Пайк, обычно никогда не вкладывавший в свою работу ни на один золотник больше того количества сил, которое было строго необходимо во время езды, теперь стал получать от своего вожатого основательные потасовки. И не успел окончиться первый день, Пайк уже так старательно тянул постромки, как ни разу в жизни. В первую же ночь должным образом был наказан и угрюмый

Джо, чего до этой поры ни разу не удавалось Шпицу. Бэк задавил его своим громадным весом и кусал до тех пор, пока тот, перестав огрызаться, не запросил пощады.

Общий тон упряжки немедленно улучшился. Вернулась прежняя солидарность, и собаки теперь дружно тянули постромки как одна. У Кольцевых Стремнин Перро добавил к стае двух новых собак — Тика и Купу. Бэк с такой быстротой приспособил их к делу, что у Франсуа захватило дыхание.

— Никогда не было такой собаки, как Бэк! — воскликнул он. — Говорю тебе, никогда! За такого пса и тысячи долларов не жалко. А?.. Что ты скажешь на это, Перро?

Перро кивнул в знак согласия. Он уже наверстал потерянное время и теперь с каждым днем выигрывал все больше пути. Дорога была исключительная. Она была хорошо накатана и тверда; свежего снега, с которым пришлось бы возиться, все эти дни не выпадало. К тому же было не особенно холодно. Температура, упав до минус пятидесяти градусов по Цельсию, так и продолжала держаться. Люди по очереди то бежали на лыжах, то ехали на санях, а собаки неслись галопом, делая нечастые остановки.

Тридцатимильная река была теперь плотно одета льдом, и они перебрались через нее в один день, в то время как на путь туда на это потребовалось десять дней. Один раз им удалось сделать перегон в шестьдесят миль от озера Ле-Барж до порогов Белой Лошади. Семьдесят миль по озерам Марш, Тагиш и Беннет они пронеслись так быстро, что тот из людей, чья очередь была бежать на лыжах, скользил за санями на буксире, держась за веревку. Наконец, в последнюю ночь второй недели сани, перевалив через Белый перевал, стали спускаться к берегу моря, и впереди замерцали огоньки городка Скагуэя и стоявших в гавани судов.

Этот пробег был рекордным. В течение четырнадцати дней они в среднем покрывали по сорок миль в сутки. Перро и Франсуа три дня раздавали посылки на главной улице Скагуэя и со всех сторон получали приглашения выпить и закусить, а вся упряжка была предметом восторженного преклонения толпы ценителей и скупщиков ездовых собак. Вскоре три или четыре западных бандита собрались было встряхнуть городок грабежом, но были схвачены и жестоко избиты, — и внимание публики перешло уже на них. После этого последовало официальное

распоряжение, и Франсуа, подозвав к себе Бэка, обнял его и прослезился. И больше Бэк никогда не видел ни Перро, ни Франсуа. Подобно другим, они навсегда исчезли с его горизонта.

Бэка с его товарищами поручили шотландцу-метису, и в сопровождении дюжины других таких же упряжек они направились по тому же самому томительному пути обратно в Доусон. Это была уже не легкая пробежка или рекордные переходы, а тяжкий, упорный каждодневный труд с тяжелым грузом позади; это был почтовый поезд, везший со всего света вести тем людям, которые добывают золото под негостеприимным полярным небом.

Бэку не понравилась перемена, но он усердно справлялся с работой, научившись гордиться ею по примеру Дэйва и Соллекса. Он видел, что они, несмотря ни на что, добросовестно исполняли свои обязанности. Жизнь пошла монотонно, с правильностью заведенной машины. Сегодня походило на вчера, а завтра — на сегодня. В определенное время по утрам разводили костер, варили пищу, и все завтракали вместе. Потом постепенно, один за другим, обозы трогались в путь за два часа до рассвета. На ночь располагались лагерем. Одни люди ставили палатки,

другие кололи дрова или готовили из сосновых ветвей постели, третьи носили воду или лед, помогая четвертым, готовившим ужин. Затем кормили собак. Для них это было единственным выдающимся событием за весь день, хотя они и любили потом побродить после еды часок-другой среди прочих собак, которых оказалась целая тьма. Среди них нашлись отчаянные драчуны. Однако трех схваток с самыми свирепыми было достаточно для Бэка, чтобы показать свое превосходство и приучить всех сворачивать с дороги, лишь только он появлялся среди них, оскалив зубы и ощетинив шерсть.

Больше всего, пожалуй, Бэку нравилось лежать у костра. Поджав под себя задние лапы и вытянув передние, он поднимал голову и задумчиво моргал при свете пламени. Иногда он думал о большом доме судьи Миллера в залитой солнцем долине Санта-Клара, о цементированном бассейне, в котором он когда-то плавал, о лысой мексиканке Изабель и о японце Тутсе; но чаще всего он вспоминал человека в красном свитере; затем приходили на ум смерть Кэрли, великая битва со Шпицем и те вкусные вещи, которые ему приходилось когда-либо есть или которые он желал бы съесть теперь. По родине он не ску-

чал. Солнечный Юг представлялся ему точно в тумане, где-то далеко, и воспоминания о нем его не тревожили. Гораздо могущественнее стали проявляться в нем воспоминания, перешедшие к нему по наследству. Благодаря им явления, с которыми он никогда раньше не сталкивался, казались ему знакомыми. Инстинкты, которые в сущности не что иное, как воспоминания предков, сделавшиеся привычками, дремавшие в последующих поколениях, да и до последнего времени и в нем самом, теперь оживали в Бэке и проявлялись в новых порывах.

Когда Бэк лежал у костра, задумчиво глядя на огонь, ему вдруг начинало иногда казаться, что это — пламя совсем другого костра и что около него сидит не шотландец-метис, а кто-то другой. У этого, другого, человека — более короткие ноги и вовсе не такие пухлые толстые руки, как у шотландца, а длинные, жилистые и мускулистые, доходящие чуть не до земли. Волосы у человека длинные, косматые, и его низкий лоб прямо от глаз скошен к затылку. Человек этот издает странные звуки и, видимо, очень боится темноты, в которую постоянно всматривается. В своей длинной руке он сжимает палку, к которой прикреплен тяжелый камень. Нагим его назвать

нельзя, так как за спиной у него болтается изодранная и прожженная шкура, а по всему телу много волос, на некоторых местах, в особенности на груди, плечах и с внешней стороны конечностей, волосы густы, как мех. Человек не стоит прямо, корпус его наклонен вперед, ноги согнуты в коленях. В его теле чувствуется своеобразная, почти кошачья упругость. Он обладает необыкновенной подвижностью, свойственной существу, живущему в постоянном страхе перед видимыми и предчувствуемыми опасностями.

Иногда случается, что волосатый человек у костра опускает голову и засыпает. Локти его упираются в колени, а кисти рук обхватывают голову, как бы для того, чтобы защитить ее волосатыми руками от дождя. А там за костром, в жуткой темноте, перед глазами Бэка вдруг появлялось много раскаленных докрасна угольков. Их всегда было по два, парочка к парочке, и Бэк догадывался, что это сверкали во мраке глаза диких зверей. Он слышал, как они протискивались сквозь густые кустарники, и внимал шуму, который они производили по ночам. И эти его мечты на берегу Юкона, когда, лениво щурясь, он глядел на пламя костра, эти видения из другого мира заставляли его шерсть подниматься дыбом вдоль

спины, на затылке и плечах, и он начинал тихо, сквозь зубы, скулить или же мягко, подавленно ворчать. И тогда раздавался крик шотландца: «Эй, Бэк, проснись!» И странный мир куда-то исчезал, и перед глазами Бэка снова вырастал мир реальный, и он вставал, зевал и потягивался, точно на самом деле спал.

Тяжелое путешествие с огромной почтой позади и тяжкая работа совсем изнурили собак. Они очень исхудали и были в жалком состоянии, когда дотащились, наконец, до Доусона. В сущности, им следовало бы отдохнуть дней десять или по крайней мере неделю, но уже два дня спустя они снова спускались по берегу Юкона с грузом почты, адресованной за перевал. Собаки были утомлены, погонщики ворчали, и в довершение ко всему каждый день шел снег. А это означало мягкую дорогу, увеличенное сопротивление для полозьев и более тяжелые условия для собак. Погонщики, однако, помогали собакам преодолевать трудности и всячески заботились о животных.

Каждый вечер прежде всего занимались собаками. Их кормили раньше, чем ели сами, и ни один погонщик не укладывался в свой дорожный мешок, не осмотрев ног у всех своих собак. Тем не

менее силы собак таяли. С начала зимы они пробежали уже тысячу восемьсот миль, каждый раз таща сани до полного утомления, и эти тысяча восемьсот миль сказались на самых выносливых псах. Бэк стойко держался, поощряя собак к работе и поддерживая дисциплину, хотя и сам страшно переутомился. Билли каждую ночь обязательно выл и стонал во сне. Джо стал угрюмее, чем обычно, а Соллекс не допускал к себе никого ни со стороны слепого, ни зрячего глаза.

Но больше всех страдал Дэйв. С ним случилось что-то неладное. Он стал мрачнее и раздражительнее, и, как только располагались лагерем, он тотчас же зарывался в логово, и там уже кормил его погонщик. Освободившись от упряжи, он не поднимался на ноги до утра, пока его не запрягали вновь. Иногда во время пути, когда сани внезапно останавливались и осаживали его или когда приходилось стаскивать сани с места, он визжал от боли. Погонщик осмотрел его, но ничего понять не мог. И все остальные погонщики заинтересовались им. Они говорили о нем во время еды и за своими последними трубками, перед тем как ложиться спать, а однажды вечером устроили консилиум. Дэйва вытащили из логова к огню, тискали его и пустили ему кровь, и он

несколько раз взвизгивал от боли. Что-то болело у него внутри, но они не могли нащупать ни одной сломанной кости и ничего не выяснили.

Когда доехали до Кассьярского перевала, Дэйв так ослабел, что часто падал в пути. Шотландец остановился, выпряг его и к саням на место Дэйва поставил ближайшую собаку, Соллекса. Он хотел предоставить Дэйву покой: пусть бежит на свободе сбоку. Все еще больной, Дэйв не хотел, чтобы его выпрягали, ворчал и скулил, когда развязывали постромки, и горестно завыл, когда увидел, что Соллекс занял то место в упряжке, на котором он работал так долго. Он всегда гордился тем, что держал след и нес на себе главную упряжь, и вот, опасно заболев, никак не мог перенести того, что другая собака заняла его место.

Как только сани тронулись в путь, он побежал вдоль укатанной дороги, проваливаясь в рыхлом снегу и стараясь укусить Соллекса, бросаясь на него спереди и пытаясь сбросить его в мягкий снег сбоку, а сам все время втискивался между ним и санями и все время скулил, лаял и визжал от боли и от огорчения. Погонщик попробовал отогнать его бичом, но он не обратил никакого внимания на обжигавшие его удары, и у человека не хватило жестокости продолжать его стегать.

Дэйв отказался спокойно бежать за санями сзади, где дорога была твердая, нырял сбоку в глубоком снегу, что было крайне трудно, и в конце концов выбился из сил. Тогда он упал и остался лежать на том месте, где свалился, жалобно завыв, когда сани промчались мимо него.

Из последних сил все же он поплелся позади, пока сани не сделали следующей остановки. Он нашел свои сани и стал рядом с Соллексом. Его погонщик отошел закурить трубку у ближайшего соседа позади, затем возвратился и дал знак к отъезду. Собаки дернули за постромки изо всех сил, но тотчас же с недоумением оглянулись и остановились. Погонщик тоже удивился. Сани не тронулись с места. Он крикнул товарища. Оказалось, что Дэйв перегрыз обе постромки Соллекса и стал на свое прежнее место впереди саней.

Он умолял глазами, чтобы его не гнали. Погонщик не знал, что делать. Товарищи толковали, как собака страдает, когда ее лишают своего дела, хотя оно ее убивает, и приведя массу примеров, когда постаревшие или заболевшие собаки издыхали только потому, что их не запрягали. Поэтому они считали благодеянием предоставить Дэйву умереть в упряжи со спокойным собачьим сердцем. Дэйва впрягли опять, и он по-старому гордо

потащил сани, хотя не раз невольно взвизгивал от боли. Несколько раз он падал, и его волокли в упряжи, а один раз сани наехали на него и подмяли под себя, так что к прежним страданиям у него прибавилась еще и отдавленная задняя нога.

Но он крепился, пока не добежал до стоянки, где погонщик устроил его ближе к огню. К утру Дэйв так ослабел, что не мог уже продолжать путешествие. Когда стали запрягать собак, он подполз к своему погонщику, конвульсивными движениями поднялся на ноги, зашатался и упал. Затем он, как червяк, пополз на животе к тому месту, где на его товарищей надевали упряжь. Он вытягивал передние лапы и волок свое тело, подпираясь задними, потом опять вытягивал передние и продвигался телом вперед на несколько дюймов. Наконец силы оставили его, и собаки увидели его лежавшим на снегу; он тяжело дышал и скорбно глядел на них. И все собаки, удаляясь, слышали, как он жалобно выл, пока, наконец, не потеряли его из виду, забежав за прибрежный лесок.

Здесь обоз остановился. Шотландец медленно зашагал туда, где только что была стоянка. Люди перестали разговаривать. Раздался револьверный выстрел. Шотландец быстро возвратился. Засвистали бичи, весело забренчали бубенчики,

и сани запрыгали по ухабам. Но Бэк знал и все прочие собаки знали, что произошло позади них, за полосой прибрежных кустарников.

V
Трудности пути

Через тридцать дней по выезде из Доусона прибыли в Скагуэй. Бэк со своей упряжкой бежал впереди. Собаки измучились до последней крайности, похудели и ослабели. Весивший до поездки сто сорок фунтов, Бэк похудел до ста пятнадцати. Остальные собаки, более легкие, потеряли в весе пропорционально даже больше, чем он. Притворщик Пайк, который плутовал всю свою жизнь и часто притворно прыгал на трех ногах, теперь захромал на самом деле. Захромал также и Соллекс, а Дэйв очень страдал от вывиха плечевой кости.

У всех были ужасно изранены лапы. О прыжках и играх давно забыли. Собаки ступали тяжело по дороге, с трудом неся свое тело, и вдвойне уставали за день. Все дело было в этой смертельной усталости. Но это не была та обычная усталость, которая является следствием какого-нибудь короткого и чрезмерного усилия и очень скоро, в какие-нибудь два-три часа, проходит. Нет, эта усталость появилась после непрерывного труда

в течение нескольких месяцев. Поэтому нельзя было ожидать скорого отдыха от утомления: у собак не осталось никакого запаса сил. Они были использованы до последней степени. Каждый мускул, каждый фибр, каждая клеточка были утомлены до высшей, предельной крайности. И это было вполне понятно. Менее чем за пять месяцев собаки пробежали две с половиной тысячи миль, а за последние тысячу восемьсот миль отдыхали всего пять дней. Когда, наконец, прибыли в Скагуэй, собаки еле держались на ногах. Они едва могли тянуть постромки, а на спусках еле успевали давать дорогу катившимся саням.

— Эй вы, хромоногие бедняги! — подбадривал их погонщик, когда они бежали по главной улице Скагуэя. — Уже доехали! Теперь отдохнем вдоволь! Хороший будет отдых! Все отдохнем!

Погонщики уверенно ожидали более или менее продолжительного отдыха. Они сами, покрыв тысячу двести миль, с отдыхом всего в два дня, вполне заслужили перерыва в своей работе, но в Клондайк съехалось столько мужчин со всего света и столько осталось у них на родине возлюбленных, законных жен и всякой родни, что высота почтовых тюков достигала Альпийского хребта. К тому же были и служебные пакеты.

Необходимо было уставших собак заменить свежими, прибывшими от Гудзонова залива. Поэтому износившихся собак попросту выбрасывали, а таких, за которых еще предлагали хоть по доллару за штуку, немедленно продавали по дешевым ценам.

Прошло три дня. Бэк и его приятели поняли, как сильно они устали и ослабели. А затем утром четвертого дня какие-то два человека из Соединенных Штатов пришли и купили их за бесценок вместе с упряжью. Эти люди называли друг друга Хэл и Чарльз. Чарльз был среднего возраста светловолосый человек со слабыми, слезившимися глазами и с густыми усами, свирепо закрученными вверх. Хэлу было лет девятнадцать или двадцать. Он носил револьвер системы Кольта и охотничий нож, болтавшиеся у него на поясе, набитом патронами. Этот пояс был на нем самой заметной вещью. Пояс свидетельствовал о его зеленой, неоперившейся юности. Оба эти человека были, несомненно, не здешние, и что их привело на дальний Север, оставалось большой загадкой.

Бэк слышал, как они перекидывались словами, видел деньги, которые перешли в руки правительственного агента, и знал, что шотландец и почтовые погонщики так же уходят из его жизни,

как ушли Перро и Франсуа и многие другие. Когда его погнали вместе с другими собаками к этим новым хозяевам, то Бэк увидел грязное и неряшливое хозяйство, небрежно раскинутую палатку, немытую посуду — все в полном беспорядке; он увидел также женщину, которую мужчины называли Мерседес. Оказалось, что это была жена Чарльза и сестра Хэла… Милая семейка!

Бэк внимательно следил, как они укладывали палатки и нагружали сани. В их движениях было много усилий, но методы укладки были совершенно бестолковы. Палатка оказалась скомканной в беспорядочный узел, в три раза больший, чем следовало. Посуду уложили немытую. Мерседес мешала мужу и брату и болтала без умолку, то давая им советы, то браня их. Когда они поместили мешок с одеждой на передок саней, она заставила переложить его назад, а когда они переложили его назад и навалили на него два других узла, она нашла вдруг еще какие-то оставшиеся предметы, которые должны были непременно лежать в первом мешке, и пришлось разгружать все обратно.

Три человека вышли из соседней палатки и смотрели на них, посмеиваясь и подмигивая один другому.

— Ну и хлама же у вас! — сказал один из них. — Не мое дело вмешиваться, но я бы на вашем месте ни за что не взял с собой этой палатки.

— Тоже скажете! — воскликнула Мерседес, с неподдельным ужасом всплеснув руками. — А что я буду делать без палатки?

— Сейчас весна, — ответил сосед, — и холодов больше не будет.

Она решительно потрясла головой, и Чарльз и Хэл кинули на свои сани последние свертки и узлы.

— А вы думаете, что сдвинетесь с места? — спросил один из соседей.

— А почему нет? — отрывисто сказал Чарльз.

— Ну, ладно, ладно! — поспешил прекратить разговор сосед. — Я только удивился, вот и все. Мне показалось, что вы малость перегрузили.

Чарльз повернулся к нему спиной и стал изо всех сил стягивать поклажу ремнями, но и это дело не ладилось у него.

— Конечно, пустяки! — подтвердил другой сосед. — Собаки помчатся как ветер с этаким снарядом позади.

— Разумеется, — сказал Хэл с холодной учтивостью и взял в одну руку длинную палку, а другой взмахнул бичом.

— Вперед! — крикнул он. — Эй, вы!..

Собаки дернули изо всех сил, натянули постромки и остановились. Им было не под силу сдвинуть сани.

— Ленивые твари! — крикнул Хэл, приготовившись стегнуть собак бичом. — Я вам покажу!..

Но вмешалась Мерседес.

— Не смей, Хэл! — воскликнула она и вырвала у него из рук плеть. — Бедные собачки!.. Обещай мне сейчас же, что всю дорогу ты не прикоснешься к ним, иначе я останусь здесь и не поеду.

— Много ты знаешь, как обращаться с собаками! — проворчал брат. — Оставь меня, пожалуйста, в покое! Говорю тебе, они ленивы! Не подгонишь — не поедешь. Знаю я их! Спроси у кого хочешь? Вот спроси хоть у этих людей!

Мерседес посмотрела на них умоляющими глазами, и невыразимое отвращение при виде бесполезных страданий животных появилось на ее миловидном лице.

— Да они, если желаете знать, еле держатся на ногах, — ответил один из соседей. — Выбились из сил. Они нуждаются в отдыхе.

— Обойдутся и без отдыха, — пробурчал безусый Хэл.

А Мерседес глубоко и печально вздохнула. Но

в ней сказалось родственное чувство, и она стремительно выступила на защиту брата.

— Не обращай внимания на этого человека! — сказала она. — Это наши собаки, и ты не хуже других знаешь, как обращаться с ними.

Хэл снова стегнул собак. Они изо всех сил рванулись вперед, глубоко провалились лапами в накатанный снег и напрягли свои мускулы. Сани удерживали их, как якорь. Собаки сделали еще две попытки и остановились, задыхаясь. Бич бешено просвистал над ними, но за них опять вступилась Мерседес. Она опустилась на колени перед Бэком и со слезами на глазах обняла его за мокрую мохнатую шею.

— Бедный, бедный! — воскликнула она с состраданием. — Почему же ты, собачка, не тянешь? Тогда бы вас не хлестали!

Она не понравилась Бэку, но он слишком ослабел, чтобы сопротивляться ей, и принял ее прикосновение как необходимую часть дневных страданий.

Один из зрителей, который все время стоял со стиснутыми зубами, сдерживаясь, чтобы не сказать лишнего, не утерпел:

— Мне нет никакого дела до ваших всхлипываний, но я хочу заступиться за собак и научить

вас, что нужно сделать, чтобы сани пошли. У вас примерзли к дороге полозья. Навалитесь на сани все втроем, качните их с боку на бок и постарайтесь сдвинуть с места.

В третий раз сделали попытку. На этот раз, как и советовали, Хэл сдвинул с места примерзшие полозья. Перегруженные сани поползли вперед, Бэк и его товарищи рвались из последних сил под градом ударов. В ста ярдах дальше дорога сворачивала и круто спускалась к главной улице. Требовался очень искусный погонщик, чтобы сдержать такой перегруженный воз, а Хэл вовсе не был таким. Когда собаки завернули, сани повалились и половина груза, плохо увязанного ремнями, вывалилась на землю. Собаки не остановились. Облегчившийся воз прыгал боком позади них. От дурного незаслуженного обращения и чрезмерного груза собаки обозлились. Бэк неистовствовал. Он бежал со всех ног, а все прочие собаки следовали за ним. Хэл кричал: «Стой, стой!» Но они не обращали на него никакого внимания. Он пустился вслед за ними, поскользнулся и упал. Сани перелетели через него, и собаки помчались вдоль улицы, разбрасывая по ней на общую потеху жителей Скагуэя оставшиеся в санях пожитки.

Какие-то сердобольные граждане остановили собак и стали подбирать вещи. Со всех сторон посыпались советы. Говорили, что груза следовало бы взять вдвое меньше, а собак запрячь в сани вдвое больше, если хотят добраться до Доусона. Хэл и его сестра с мужем неохотно выслушали эти советы, подняли палатку и стали пересматривать свои вещи. Выбросили банки с консервами, что насмешило советчиков, так как о консервах на Великом Пути только и мечтают.

— Одеял на целую гостиницу! — заметил кто-то из помогавших, громко рассмеявшись. — Половина их — и то много! Бросьте палатку и всю эту посуду, — кто ее будет у вас мыть в дороге? Боже правый, что, вы собрались ехать в пульмановском вагоне, что ли?

Так постепенно освободились от всего ненужного. Мерседес заплакала, когда ее узлы с одеждой вывалили на землю и выбрасывали вещь за вещью. Она плакала над всем вообще и из-за каждой вещи отдельно. Она хлопала себя ладонями по коленям, раскачивалась из стороны в сторону и горько жаловалась. Она заявляла, что не тронется ни на один дюйм, хотя бы этого потребовали от нее даже десять мужей. Она взывала ко всем и ко всему, под конец отерла слезы и сама стала

выбрасывать вещи без разбора, включая самые необходимые. Покончив со своими личными вещами, она усердно принялась за вещи мужа и брата и прошлась по ним точно смерч. Груз сократился чуть ли не наполовину и все же оставался чудовищно огромным. Вечером Чарльз и Хэл куда-то ушли и возвратились с шестью новыми, не здешними, собаками, которых где-то купили. Эти последние, да шесть бывших, да еще Тик и Куна, короткошёрстные собаки, приобретенные у Кольцевых Стремнин, составляли упряжку в четырнадцать голов. Но привозные собаки, хотя уже и свыклись со своим новым положением, все-таки особой ценности не представляли. Три из них были короткошёрстные пойнтеры, один — ньюфаундленд и две — помесь неизвестной породы. Эти новые собаки не казались сведущими. Бэк и его друзья смотрели на них свысока, и, хотя Бэк тотчас же указал им их места и показал, что каждая из них должна была делать, они все же его не поняли. Они не питали никакого расположения ни к упряжи, ни к езде. За исключением двух собак неизвестной породы — просто дворняг — они были очень напуганы той новой, дикой обстановкой, в которую попали, и дурным обращением своих новых хозяев. Две же дворня-

ги были совершенно истощены; у них остались только кожа да кости.

Новички не годились никуда, а прежняя упряжка была настолько утомлена за свое непрерывное путешествие в две с половиной тысячи миль, что успеха от предстоящей поездки нечего было и ожидать. Но оба хозяина были в самом лучшем расположении духа. Они даже испытывали некоторую гордость. Только подумать — четырнадцать собак! Они видели, как другие люди уезжали в Доусон и приезжали из Доусона, но ни у кого из них не было по четырнадцати собак. Уж по самой природе полярных путешествий не следовало бы брать с собой такого множества собак, да и сани все равно не смогли бы вместить в себя корм на четырнадцать собак. Но Чарльз и Хэл этого не знали. Они готовились к путешествию с карандашом в руках: столько-то у них собак, столько-то полагается в день корма на одну собаку, столько-то дней предполагается пробыть в пути. Следовательно, стоило только подвести всему этому итог — и дело в шляпе. Мерседес заглядывала через их плечи и с довольным видом поддакивала — все просто и ясно.

Поздним утром на следующий день Бэк вел за собой вдоль улицы вереницу собак. Ни в нем, ни

в его товарищах не было ни задора, ни обычной резвости. Все они смертельно устали. Уже четыре раза они покрыли расстояние от Соленого Озера до Доусона, и сознание того, что ему, усталому и расслабленному, придется еще раз преодолевать этот же путь, заставляло Бэка жестоко страдать. Предстоявшая работа не была по душе ни ему, ни другим собакам. Привозные собаки были какие-то забитые и всего боялись, а дворняги не питали доверия к своим хозяевам.

Бэк смутно чувствовал, что нельзя было полагаться на этих двух мужчин и женщину. Они ничего не знали; дни проходили за днями, и выяснилось, что новые хозяева все равно не научатся ничему. Они делали все зря, без всякого порядка и дисциплины. Полвечера требовалось для них, чтобы кое-как устроить привал, и пол-утра, чтобы снова все разобрать и уложить на сани в таком беспорядке, что потом весь день проходил в остановках и перевязывании багажа. Часто они не проезжали и десяти миль в день. Бывали дни, когда они и вовсе не могли тронуться с места. И не было ни одного дня, когда бы они прошли хотя бы половину того, что проходили другие при строгом расчете пищи на собак.

Было очевидно, что им придется экономить на

собачьем корме. А они перекармливали собак, приближая день, когда должны были начаться неприятности. Привозные собаки, желудки которых еще не были приучены довольствоваться ничтожным количеством пищи, были ужасно прожорливы. А когда вдобавок ко всему слабосильные пойнтеры перестали вовсе тянуть, Хэл пришел к заключению, что вычисленная им норма питания была мала. Тогда он удвоил ее. В довершение же всего, когда Мерседес со слезами на своих хорошеньких глазках и с дрожью в голосе не смогла убедить своего брата давать собакам еще больше, она стала красть рыбу из мешков и кормить собак тайком. Но не в пище нуждались Бэк и его товарищи, а в отдыхе. И хотя они бежали теперь не очень быстро, тяжелый груз, который они тащили за собой, выматывал из них последние силы.

Затем начался голод. Однажды утром Хэл сделал открытие, что корма для собак осталось всего половина, тогда как пройдено всего-навсего четверть пути, и что достать в тех местах корма ни за какие деньги было невозможно. Тогда он урезал нормы и попробовал наверстать недостаток в корме на скорости движения. Его сестра и зять согласились с ним. Но из этого ровно ничего не

вышло вследствие перегрузки саней и полной неопытности людей. Очень просто было давать собакам меньше пищи, но совершенно невозможно было заставлять их идти скорее, когда собственная нерадивость хозяев, вставáвших поздно, мешала им использовать ежедневно должное количество часов. Они не только не понимали, как нужно обращаться с собаками, но даже не умели организовать самих себя.

Первым свалился Даб. Жалкий воришка, вечно попадавшийся на месте преступления и подвергавшийся наказаниям, он все-таки был честным работником. Его вывихнутое плечо, оставленное без всякого внимания, разболелось еще больше, и, наконец, Хэл, рассердившись, застрелил его из своего револьвера. Было известно еще раньше, что привозные собаки погибают от голода при том скудном пайке, который удовлетворяет местных собак; поэтому все шесть привозных собак, находившихся в упряжке Бэка, неминуемо должны были погибнуть. Первым издох ньюфаундленд, за ним последовали три короткошёрстных пойнтера, а две дворняги еще цеплялись за жизнь, но конец их был неизбежен.

Мягкость и кротость, свойственные южанам, с этих людей как рукой сняло. Полярное путеше-

ствие, чуждое всяких очарований и романтики, оказалось им совершенно не под силу. Мерседес перестала плакать из-за собак, слишком занятая оплакиванием себя самой и ссорами с мужем и братом. Ссориться они никогда не уставали. Их сварливость, обусловленная их страданиями, с каждым днем все возрастала. То удивительное терпение, которое проявляют люди во время путешествия, при всех своих трудах и страданиях оставаясь добрыми и приветливыми, совершенно было недоступно для этих двух мужчин и женщины. Они им не обладали. Вечно недовольные, они постоянно ныли: то у них болело тело, то ломило кости, даже самые их сердца оказались не в порядке — и все это сопровождалось колкостями и грубостями с утра до вечера.

Стоило только Мерседес подать малейший повод, Чарльз и Хэл начинали ссору. Тот и другой искренне верили в то, что именно он, а не другой, работал больше, и при первой возможности высказывали это друг другу. Мерседес становилась на сторону то мужа, то брата. В результате получались бесконечные семейные сцены. Начиналось, например, с того, кто из двух (это могло касаться только Чарльза и Хэла) должен был нарубить сучьев для костра; тотчас же вспоминались все

члены семьи: отцы, матери, дяди, двоюродные братья — все родственники, жившие за тысячи миль отсюда и многие из них давно уже умершие. Совершенно было непонятно, какое отношение к рубке двух-трех сучков для костра могли бы иметь взгляды Хэла на искусство или же общественные развлечения, о которых писал брат его матери; однако ссоры возникали как по этому поводу, так и по поводу политических взглядов Чарльза. И то, что красноречивый язык сестры Чарльза мог иметь какое-то отношение к разведению огня на берегах Юкона, было ясно только для самой Мерседес, которая получала даже некоторое облегчение в высказывании мнения по этому поводу и, точно случайно, затрагивала некоторые особенности, неприятные для семьи ее мужа. А огонь тем временем все еще не был разведен, привал не устроен и собаки не накормленными.

У Мерседес были свои личные жалобы, чисто женского свойства. Она была красива и изнежена, и когда-то за ней красиво ухаживали. Но теперешнее обращение с ней мужа и брата было далеко от красоты. Быть по-женски беспомощной вошло у нее в привычку. Мужу и брату это не нравилось. На их упреки она отвечала тем, что она — слабая женщина и что это — ее неотъем-

лемое право. Это делало их жизнь невыносимой. Мерседес уже не думала больше о собаках и так как считала себя уставшей и больной, то все время оставалась сидеть на санях, как бы ни был труден путь. Она была красива и избалована ухажерами, но все же в ней было не менее ста двадцати фунтов веса — далеко не безделица при том грузе, который тащили слабые, голодные собаки. Она ехала целыми днями, пока собаки не падали прямо в упряжи на пути и сани не останавливались. Чарльз и Хэл просили ее сойти и пройтись хоть немного пешком, ссорились с ней, угрожали, но она только плакала и призывала небеса в свидетели тому, как были жестоки с ней ее брат и муж.

Однажды они силой стащили ее с саней. Другой раз они уже не пробовали делать это. Она задрыгала ногами, как ребенок, и села на снег. Они отправились дальше, но она даже не шелохнулась. Пройдя три мили, они вынуждены были остановить сани, вернуться за ней и тащить ее до саней на себе.

В избытке собственных страданий они стали глухи к страданиям собак. Теория Хэла состояла в том, что каждый должен себя закалять, но эту теорию он применял только к другим. Он пропо-

ведовал ее сестре и зятю, но, не переубедив их, стал применять ее к собакам посредством дубинки. У урочища Пять Пальцев запасы корма для собак иссякли. Старая, беззубая индианка променяла им пять фунтов мороженой лошадиной шкуры на револьвер системы Кольта, висевший вместе с большим охотничьим ножом на поясе у Хэла. Эта шкура была только жалким подобием пищи, так как еще полгода назад она была содрана с издохшей от голода лошади какого-то погонщика. В замороженном виде она походила на листовое железо, и когда собаки ее проглатывали, она там превращалась в непереваримые ремешки, покрытые короткой шерстью, и только раздражала желудок.

И все это переживал Бэк, идя во главе упряжки, точно в кошмаре. Он тянул как мог; когда же он не мог больше тянуть, он падал и оставался на снегу, пока его снова не поднимали на ноги удары плетью или дубинкой. Весь глянец и вся мягкость, которыми когда-то отличалась его пушистая шерсть, исчезли. Шерсть свешивалась с него грязными лохмотьями, свалявшаяся и испачканная запекшейся кровью оттого, что Хэл часто бил его дубинкой. Его мускулы превратились в узловатые нити, ребра и кости резко выступали наружу,

и кожа висела складками от образовавшейся под ней пустоты. Это надорвало бы сердце любому, но у Бэка оно было железным. Человек в красном свитере мог бы подтвердить это.

Что испытывал Бэк, то же переносили и его товарищи. Это были ходячие скелеты. Всех их было семеро, включая Бэка. В своих невыносимых страданиях они стали равнодушны к острым ожогам плети и к ударам дубинкой. Муки от истязаний воспринимались ими точно в тумане, как бы на расстоянии, и то, что они видели и слышали, казалось, их не касалось. Это были ходячие тени, одна только видимость живых существ. Это были мешки с костями, в которых чуть теплилась жизнь. Едва останавливались для привала, как все собаки падали замертво, тут же, на дороге, и эта еще теплившаяся в них искра жизни, казалось, потухала в них навсегда. Когда же на них вдруг опускалась плеть или дубинка, то искорка жизни начинала снова чуть-чуть мерцать, и они, пошатываясь, поднимались на ноги и с неимоверным трудом плелись дальше.

Настал день, когда добродушный Билли упал и не встал. У Хэла уже не было на поясе револьвера, потому он взял топор и ударил им Билли по голове, а затем вытащил его вместе с постромками

из общей упряжи и оттащил в сторону. Бэк видел это, и его товарищи тоже видели, и каждый из них знал, что та же судьба скоро постигнет и его. На следующий день погибла Куна, и теперь осталось всего пять собак: Джо, крайне истощенный даже для того, чтобы огрызнуться; изувеченный и хромой Пайк; одноглазый Соллекс, все еще отлично разбиравшийся в дороге и тосковавший лишь о том, что оставалось мало сил для работы; Тик, который в эту зиму еще не бегал так далеко и подвергался ударам больше других только потому, что был бодрее всех, и Бэк, все еще во главе упряжки, но уже не поддерживавший дисциплины и не побуждавший к ней других, от усталости постоянно впадавший в полузабытье и различавший дорогу лишь по чутью.

Стояла прекрасная весенняя погода, но ее не замечали ни собаки, ни люди. С каждым днем солнце вставало все раньше и раньше и заходило все позже и позже. Уже в три часа утра светало, а сумерки опускались около девяти вечера. Целыми днями светило яркое солнце. Унылое молчание зимы сменилось великим весенним шумом пробуждавшейся жизни. Оживление охватило всю землю, наполнило ее радостью и трепетом возрождения. Оно шло от всего, что

ожило и задвигалось, проснувшись от долгого сна в течение длинных морозных месяцев. В соснах стал подниматься сок. На ивах и осинах появились зеленые почки. Кусты и верба выбрасывали свеженькие листочки. По вечерам застрекотали кузнечики, а днем все насекомые и все, что ползает и бегает, выползало на солнышко. В лесу затоковали тетерева и застучали носами дятлы. Запрыгали белки, запели птицы, и высоко в небе потянулись к северу треугольники уток, гусей и журавлей.

С каждого холмика сбегали ручейки воды, слышалась музыка невидимых потоков. Все оттаивало, пробуждалось, заявляло о жизни. Юкон надулся и приготовился освободиться от льда, который сковывал его так долго. Река размывала лед снизу, а солнце — сверху. Образовались полыньи, появились трещины на льду, и тонкие куски льда сползали в реку. И посреди всего этого весеннего шума и пробуждавшейся жизни, под лучами ласкового солнца и при легком дуновении ветерка, словно путники, едущие навстречу смерти, брели двое мужчин, женщина и несчастные собаки.

Собаки падали на каждом шагу, Мерседес плакала, но не слезала с саней, Хэл бесполезно

проклинал все и всех, а Чарльз задумчиво смотрел вперед своими слезившимися глазками. Так они дошли до стоянки Джона Торнтона у устья Белой реки. Когда нарты остановились, все собаки свалились как мертвые. Мерседес вытерла глаза и стала разглядывать Джона Торнтона. Чарльз присел отдохнуть на пень. Он садился очень медленно, лицо его искажалось от боли, все говорило о его крайнем утомлении. Хэл заговорил первый. Джон Торнтон заканчивал топорище, которое строгал из березы. Работая, он слушал и, когда его спрашивали, давал лаконичные ответы. Он знал, с кем говорил, и потому был уверен, что ни один из его советов выполнен не будет.

— Наверху нам тоже говорили, что внизу по реке езды уже нет и что самое лучшее для нас, это — идти берегом, — сказал Хэл в ответ на предостережение Торнтона, что лед рыхлый и двигаться по нему опасно. — Нас предупреждали также, что мы ни за что не доберемся до Белой реки по льду, а вот добрались же!

Последнюю фразу он произнес не без некоторого торжества.

— И хорошо делали, что предупреждали, — ответил Джон Торнтон. — Лед может тронуться каждую минуту. Только дураки могут рисковать

добираться сейчас по льду. Я вам прямо говорю, что я лично не рисковал бы ни за какие деньги в мире.

— Ну и поздравляю вас с тем, что вы не дурак, — сказал Хэл. — А что касается нас, то нам нужно попасть в Доусон во что бы то ни стало. — И, взмахнув плетью, он закричал:

— Вставай, Бэк! Ну?! Тебе говорят! Вперед!..

Торнтон продолжал строгать. Он знал, что бесполезно разговаривать с недалекими людьми, тем более что двумя-тремя дураками станет больше или меньше — от этого мир не пострадает.

Но собаки на этот раз не послушались команды. Давно уже прошло то время, когда они сразу поднимались под ударами. Бич безжалостно хлестал их спины, рассекая кожу… Джон Торнтон стиснул губы. Соллекс первый попытался подняться. За ним последовал Тик. Следующим, визжа от боли, встал Джо. Пайк делал тщетные усилия. Два раза он падал, еле поднявшись на передние ноги, а в третий встал, наконец, на все четыре. Бэк же не двинулся. Он оставался лежать на том месте, где свалился. Плеть стегала его раз за разом, но он визжал и не шевелился. Несколько раз Торнтон отрывался от своей работы, точно для того, чтобы заговорить, но всякий раз не решался. На глаза у

него навернулись слезы. Наконец, в то время как Хэл все еще стегал собаку, он поднялся с места и нерешительно заходил взад и вперед.

В первый раз Бэк свалился, и Хэл пришел в ярость. Он бросил плеть и взялся за дубину. Но и под этим дождем ударов, более тяжелых, чем от плети, Бэк не шелохнулся. Как и его товарищи, он все равно был бы неспособен бежать дальше, но, в отличие от них, он решил совсем не вставать. У него явилось смутное предчувствие неминуемой гибели. Оно преследовало его все время, пока он выбирался с речного льда на берег, и не оставляло его и теперь. Чувствуя каждый день под ногами, как рыхлел и становился ненадежным лед, он испытывал ощущение какой-то грядущей и близкой беды, вот именно там, на льду, куда сейчас его гнал хозяин. Он наотрез отказался двинуться с места. Он так привык к страданиям и так перестал обращать на себя внимание, что даже не замечал наносимых ему ударов. А так как Хэл все еще продолжал его бить, то в нем угасала последняя искра жизни и готова была погаснуть совсем. Он как-то весь одеревенел. Ощущение боли покинуло его. Он не чувствовал ничего, хотя и слышал, как ударялась о его тело дубина. Но это было уже не его тело — оно будто принадлежало

другому.

Вдруг без всякого предупреждения, издав какой-то нечленораздельный звук, более похожий на крик животного, чем человека, Джон Торнтон подскочил к размахивавшему дубиной Хэлу. Хэл повалился назад, точно срубленное дерево. Мерседес взвизгнула. Чарльз посмотрел с недоумением, отер свои слезившиеся глазки, но от усталости не мог подняться с места.

Джон Торнтон стал около Бэка, стараясь овладеть собой и не будучи в силах сказать ни одного слова от возбуждения и негодования.

— Если только ты прикоснешься сейчас к этой собаке, — сказал он наконец с дрожью в голосе, — я убью тебя.

— Это моя собака! — возразил Хэл, выплевывая изо рта кровь и поднимаясь. — Убирайся, иначе я положу тебя на месте. Я должен ехать в Доусон.

Торнтон стал между ним и Бэком и не выказывал ни малейшего намерения сойти с места. Хэл вытащил свой длинный охотничий нож. Мерседес опять взвизгнула, зарыдала, захохотала — у нее началась настоящая истерика. Торнтон вышиб топорищем из рук Хэла нож. Хэл попытался было его поднять, но Торнтон ударил его топорищем по пальцам. А потом нагнулся, поднял нож

и в два взмаха разрезал постромки у Бэка.

Хэлу ничего не оставалось, как угомониться. К тому же он занялся сестрой, затем — своими пальцами. До полусмерти избитый Бэк все равно уже был не в силах тащить сани.

Несколько минут спустя сани спустились с берега на лед. Бэк слышал, как сани отъезжали, и поднял голову, чтобы посмотреть им вслед. Пайк был на его месте впереди, Соллекс — у самых саней, а между ними — Джо и Тик. Все они хромали и еле плелись. Мерседес опять сидела на тяжелых санях, Хэл правил, Чарльз брел позади.

Бэк смотрел на удаляющихся товарищей. Торнтон опустился перед ним на колени и жесткими руками ощупывал все его кости. Обследовав его, он пришел к заключению, что все кости Бэка целы, он только избит и истощен невыносимым голодом. Тем временем сани отъехали от них на четверть мили. Собака и человек смотрели, как они медленно подвигались по льду. И вдруг они увидели, что задок саней погрузился, точно нырнул в яму, а шест Хэла взвился в воздухе. Донесся визг Мерседес. Затем Торнтон и Бэк увидели, как Чарльз бросился бежать назад, но вся масса льда вдруг осела под ними, и все люди вместе с собаками и с санями пошли ко дну. На

их месте появилась полынья. Теперь уже по льду не пробраться.

Джон Торнтон и Бэк посмотрели друг на друга.

— Бедняга! — сказал Джон Торнтон.

И Бэк лизнул ему руку.

VI
Из любви к человеку

Когда в декабре Джон Торнтон отморозил себе ноги, то спутники устроили его как можно поудобнее и оставили здесь выздоравливать, а сами отправились вверх по реке, чтобы напилить бревен, выстроить из них плот и уже на нем добраться до Доусона. Торнтон еще слегка хромал, когда принял живое участие в Бэке, но установившаяся теплая погода помогла ему настолько, что и последняя хромота скоро прошла. Лежа целыми днями на солнышке на берегу реки и следя за шумящими ручейками, щебечущими птицами и пробуждением весны, Бэк медленно восстанавливал свои силы.

Ах, как был нужен хороший продолжительный отдых тому, кто пробежал три тысячи миль! И нужно сознаться, что по мере того как у Бэка заживали раны, нарастали мускулы и переставали вылезать наружу кости, он становился все ленивее. Впрочем, и все здесь ничего не делали — Бэк, Джон Торнтон, Скит и Ниг — и только ожидали, что вот-вот придет сверху плот, который заберет

их и доставит в Доусон. Скит была небольшим ирландским сеттером и скоро сдружилась с Бэком, который вначале мало обращал внимания на ее ухаживания. Она обладала тем врачебным талантом, какой вообще не чужд некоторым собакам; подобно тому, как кошка облизывает своих котят, она зализывала раны у Бэка. Аккуратно каждое утро, как только он заканчивал есть, она принималась за дело, пока, наконец, он не научился смотреть на нее с таким же уважением, как и на Джона Торнтона. Ниг относился к нему не менее дружелюбно, хотя старался этого не показывать. Это был большой черный пес, помесь ищейки с борзой, с веселыми глазами и бьющим через край добродушием.

К удивлению Бэка, эти две собаки не проявляли к нему никакой ревности. Казалось, что доброту и великодушие они переняли от Джона Торнтона. Когда Бэку стало лучше, они вовлекли его в смешные игры, от которых не мог удержаться иной раз и сам Торнтон; в этих грубоватых шалостях Бэк набирался сил и привыкал к новой обстановке. Любовь, искренняя, страстная любовь, в первый раз в жизни посетила Бэка. Он не испытывал ее даже у судьи Миллера на благодатном Юге, в долине Санта-Клара. Охотясь и играя вместе

с сыновьями судьи, он относился к ним только по-приятельски; к его внукам он питал чисто отеческое чувство, а с самим судьей вел себя с достоинством, как преданный друг. Но пылкую и горячую любовь, обожание, доходившее до безумия, он стал питать только к одному Джону Торнтону.

Этот человек спас ему жизнь, а это что-нибудь да значило; кроме того, он был идеальным хозяином. Другие люди относились к своим собакам хорошо из чувства долга или же потому, что это было выгодно им же самим; Торнтон же относился к ним, как к своим детям, потому что это было в его натуре. Но он шел еще дальше: он никогда не забывал сказать собаке ласковое или приветливое слово, долгое время проводил с ней в разговоре — и это доставляло большое удовольствие и ему самому, и собакам. Он имел обыкновение хватать Бэка обеими руками за голову и, упершись в нее лбом, раскачиваться из стороны в сторону, называя его разными именами, которые казались Бэку объяснением в любви. Бэк не знал большей радости, чем испытывать именно такую ласку и такие грубые объятия, и при каждом покачивании с боку на бок ему казалось, что вот-вот от безграничного восторга

лопнет его сердце. И когда Торнтон, наконец, отпускал его, он вскакивал на ноги, раскрывал пасть, глаза его зажигались красноречивым блеском, горло сжималось от избытка чувств, и он застывал на месте без движения.

— Он только не говорит! — говорил о нем с уважением Торнтон.

Свою привязанность Бэк проявлял обычно способами, причинявшими боль. Он хватал зубами руку Торнтона и так сжимал ее, что на ней надолго оставались отпечатки его зубов. И, подобно тому как Бэк умел в причитаниях Торнтона понимать любовь, так и Торнтон принимал эти укусы за выражение привязанности.

Но большею частью Бэк проявлял свою любовь в немом обожании. Сходя с ума от прикосновении или от простых слов Торнтона, он сам их не добивался. В противоположность Скит, которая до тех пор терлась около Торнтона, пока, наконец, он не ласкал ее, или Нигу, который сам лез к нему и клал свою громадную башку на его колени, Бэк довольствовался обожанием на расстоянии. Он мог лежать у ног Торнтона без движения, вполне спокойно целые часы или же смотреть ему в лицо, не отрывая от него глаз, изучая его, следя с величайшим вниманием за каждой малейшей

переменой в его выражении или за каждым его движением. Или же, соответственно обстоятельствам, он укладывался поодаль, сбоку или позади, и уже оттуда наблюдал за фигурой своего хозяина в целом или за каждым его жестом в отдельности. Очень часто — такова уже была их взаимная симпатия — сила взгляда Бэка заставляла Торнтона повернуть к нему голову, и он делал это молча, не произнося ни слова, и только по его глазам Бэк понимал, что было у него на душе. И от этого еще больше прыгало сердце у Бэка.

Долгое время после своего выздоровления Бэк не упускал из виду Торнтона. Как только тот выходил из палатки, Бэк всюду следовал за ним по пятам, пока хозяин не возвращался. С тех пор как Бэк попал сюда, на Север, у него сложилось убеждение, что все предыдущие его хозяева были непостоянные, и он боялся, что и этот хозяин будет у него не всегда. Он опасался, что и Торнтон мелькнет в его жизни так же, как Перро и Франсуа или шотландец-метис. Даже по ночам, во сне, он вскакивал от этого страха. В такие моменты он встряхивался от сна и полз в ознобе к палатке Торнтона. Здесь он останавливался и долго вслушивался в дыхание своего хозяина.

И все же, несмотря на всю его любовь к Джону

Торнтону, которая, казалось, могла быть присуща только высоко цивилизованному существу, в нем, едва только он попал на Север, проснулся голос его отдаленных предков и уже не затихал. В нем по-прежнему были тверды его верность и привязанность, составлявшие теперь всю суть его существования на земле, но он стал замечать в себе какую-то тягу к дикой свободе и к проявлению беззастенчивой хитрости. Теперь, у огня Джона Торнтона, он был более первобытным существом и более диким зверем, чем тогда, на пламенном Юге, когда он бродил в виде породистой собаки, имевшей позади себя поколения смягченных цивилизацией предков. Если он и не обкрадывал сейчас своего хозяина, то только потому, что любил его; он не поцеремонился бы теперь ни с кем другим, ни с чьей другой палаткой и не стал бы размышлять ни одной минуты. И он знал при этом, что хитрость, с которой он стал бы красть, научила его никогда не быть застигнутым на месте преступления.

Его морда и тело были сплошь изгрызаны другими собаками, и он с неведомым ему раньше ожесточением вступал с ними в драку. Скит и Ниг были слишком добродушными собаками, чтобы вступать с ними в пререкания, к тому же

они принадлежали Джону Торнтону; но если подворачивалась чужая собака, будь она какой угодно породы и силы, она тотчас же должна была признать превосходство Бэка или же вступить с ним в борьбу не на жизнь, а на смерть. И Бэк был беспощаден. Он отлично усвоил законы дубины и клыка, не признавал соперников и не отступал в борьбе, хотя бы она угрожала ему смертью. Он многое узнал от Шпица и от драчливых полицейских и почтовых собак и теперь понимал, что середины нет. Или он должен победить, или другой должен сделать его своим рабом; оказывать сострадание значило признавать себя слабым. Сострадания не существовало в первобытной жизни. Его принимали за трусость, и оно влекло за собою смерть. Убивай — иначе будешь убит сам; ешь — иначе тебя съедят другие, — вот первобытные законы существования. И Бэк повиновался тому, что заговорило в нем из глубины давно прошедших времен.

Он стал старше и мудрее. Он стоял между прошлым и настоящим; вечность, находившаяся позади, проходила через него в могучем ритме, точно прилив и отлив или смена времен года. Он сидел у огня Джона Торнтона, широкогрудый, с белыми острыми клыками и с длинной шерстью;

в его воображении возникали собаки всевозможных пород, полуволки и настоящие дикие волки, и все они спешили, искали, чуяли запах того мяса, которое он ел, и жаждали той воды, которую он пил, нюхали запах ветра, вслушивались вместе с ним и сообщали ему о тех звуках, которыми заявляла о себе дикая жизнь в лесу, диктовавшая им свои законы, направлявшая их поступки и не оставлявшая его и во сне. Она снилась ему, представлялась наяву и делала их всех участниками его грез.

Так повелительно эти тени манили его к себе, что с каждым днем люди со всеми их законами все более отходили на задний план. Там, в глубине леса, звучал призыв, и всякий раз, как он слышал этот мистический призыв, манивший его и пронизывавший насквозь, он чувствовал, что вот-вот бросит этот домашний уют и убежит в лес, — его тянуло, и он сам не знал, куда и почему; там, глубоко в лесу, ни на минуту не переставая, звучал призыв. Но, как только он убегал в лес и добирался до девственной почвы и до травы, по которым еще не ступала нога человека, его влекли обратно любовь к Джону Торнтону и привычка к домашнему очагу.

Только Торнтон и удерживал его. Все остальное

человечество было для него нулем. Случайные прохожие хвалили и ласкали его, но он был к этому глух, а от человека, который слишком настойчиво проявлял себя, он просто уходил. Когда товарищи Торнтона, Ганс и Пит, прибыли, наконец, на давно жданном плоту, Бэк не обратил на них внимания, пока не понял, что они близки к Торнтону. Но и после этого он пассивно принимал от них дружеские знаки внимания с таким видом, точно делал им этим одолжение. Эти люди во всем походили на Торнтона, зависели от земли, думали просто и видели ясно; и, раньше чем они доплыли на плоту по водным пучинам до Доусона, они уже поняли Бэка и его повадки и не претендовали на такую же привязанность с его стороны, какую питали к ним Скит и Ниг.

Любовь же его к Торнтону, казалось, все росла и росла. Из всех людей он только один мог положить Бэку на спину какую-нибудь поклажу во время летних путешествий. Что бы ни приказал Торнтон, Бэк исполнял беспрекословно. Однажды — это было тотчас же после того, как они продали свой плот и отправились из Доусона к истокам реки Тапнаны, — люди и собаки сидели на гребне утеса, который вертикально спускался вниз к реке с высоты в триста футов. Джон Торнтон сидел

у самого края, Бэк — рядом с ним, плечо к плечу. Какое-то озорство овладело вдруг Торнтоном, и он задумал удивить Ганса и Пита чем-нибудь неожиданным.

— Бэк, прыгай! — скомандовал он, указывая рукой на пропасть.

Тотчас же Бэк кинулся вперед и потащил за собой Торнтона, пока Ганс и Пит не спохватились и не оттащили их от обрыва.

— Удивительно! — воскликнул Пит, когда все успокоилось и разговор возобновился.

Торнтон покачал головой.

— Нет, — сказал он, — это — великолепно, но в то же время и страшно. Меня иной раз пугает его преданность.

— Да, — проговорил Пит в заключение, кивнув в сторону Бэка, — не желал бы я находиться в положении того человека, который попытался бы вас обидеть.

— Черт возьми, и я тоже! — добавил и Ганс.

Не успел подойти к концу год, как предположение Пита оправдалось. Это было в Серкль-Сити. «Черный» Бартон, человек злой и подозрительный, поспорил о чем-то с неким посетителем кабачка. Торнтон добродушно вмешался, чтобы их разнять. Бэк, как обычно, лежал в это время в

углу, положив морду на лапы и следя за каждым движением хозяина. Без всякого предупреждения Бартон размахнулся и с такой силой толкнул в плечо Торнтона, что тот отлетел в сторону и упал бы непременно, если бы ему не удалось ухватиться за решетку прилавка.

Присутствовавшие не услышали ни лая, ни ворчания. Скорее это был рев. Они увидели, как Бэк всей своей массой вдруг взвился в воздух, нацелясь зубами в горло Бартона. Этот человек спасся только тем, что успел инстинктивно протянуть руку и отстранить пасть Бэка, но Бэк все же повалил его на пол, вскочил на него, высвободил свои зубы из его руки и снова старался вцепиться в горло. Бартон уже ослабевал, и его горло оставалось незащищенным. Тогда все присутствовавшие навалились на Бэка и отогнали его. Но, пока пострадавшему унимали кровь, Бэк вертелся тут же и все время яростно ворчал, пытаясь броситься вновь, и отступил лишь после того, как ему пригрозили палкой. Тотчас организовали собрание, на котором постановили, что собака права и потому ее хозяин ответственности не подлежит. Но репутация Бэка возросла от этого еще больше, и с этого дня его имя стало переходить из уст в уста по всей Аляске.

Позже, в самом конце года, он спас Джону Торнтону жизнь при совершенно исключительных обстоятельствах. Три товарища тащили на веревке длинную узкую лодку через опасное место на Сорокамильной реке. Ганс и Пит шли берегом, пробираясь от дерева к дереву с пеньковой веревкой, а Торнтон оставался в лодке, помогая ей пробираться через стремнины длинным шестом и криками направляя товарищей, находившихся на берегу. Бэк тоже бежал по берегу вровень с лодкой, не спуская глаз с хозяина, и проявлял крайнее беспокойство.

В особенно опасном месте, где подводные камни выступали наружу, Ганс ослабил веревку, а Торнтон в это время старался направить лодку шестом в проход между камнями. Держа в руке конец веревки, Ганс побежал вниз, чтобы потянуть за нее опять, когда лодка выберется из порогов. Лодка понеслась по течению и попала в водоворот, где вода бурлила, как под мельничным колесом. Ганс растерялся и вместо того, чтобы дать лодке ход, натянул веревку и сделал это так быстро, что лодка перевернулась дном кверху и Торнтон вывалился из нее в пучину. Его понесло в такой водоворот, с которым не справился бы и самый опытный пловец.

Бэк тотчас же прыгнул в воду. Проплыв сотни три ярдов по стремительному потоку, он, наконец, добрался до Торнтона. Почувствовав, что тот ухватился за его хвост, Бэк направился к берегу, стараясь загребать лапами изо всех своих сил. Но течение отбивало его от берега. Снизу доносился зловещий рев воды: там дикий поток становился еще яростнее, разрывался на части и старался протиснуться между старыми камнями, вылезавшими из воды наподобие зубьев колоссального гребня. Засасывание воды у последнего порога было настолько ужасно, что Торнтон понял: ему не сдобровать. Его круто обернуло мимо одной скалы, ударило о другую и с сокрушительной силой отшвырнуло на третью. Он обхватил ее вершину обеими руками, освободил Бэка и, стараясь перекричать рев потока, скомандовал ему:

— Сюда, Бэк! Сюда!

Но Бэка несло течением, он плыл вниз, отчаянно борясь и не имея уже возможности повернуть назад. Когда он услышал во второй раз приказание хозяина, он показался над водой, высоко поднял голову, точно хотел взглянуть на него в последний раз, и покорно повернул к берегу. Он напряг все свои силы, и Пит с Гансом вытащили его на берег в тот самый момент, когда он начал

терять сознание.

Они знали, что провисеть на скользком камне в самой быстрине течения можно было только две-три минуты, и потому со всех ног пустились бежать по берегу к тому месту, против которого висел Торнтон. Они обмотали вокруг Бэка конец той самой веревки, на которой тащили лодку, но так, чтобы она не смогла его ни стеснять, ни удушить, и столкнули его в реку.

Он смело поплыл, но ошибся в направлении; он понял свою ошибку слишком поздно, когда его пронесло мимо Торнтона и мимо голых камней.

Ганс так дернул за веревку, точно это была не собака, а лодка. Веревка натянулась течением, и бедный Бэк исчез и все время оставался под водой, пока, наконец, его не прибило к берегу. Его вытащили наверх. Он еле дышал. Ганс и Пит бросились к нему, сделали ему искусственное дыхание и откачали из него воду. Он очнулся, встал на лапы и опять упал. Между тем до них донесся издалека слабый голос Торнтона, и хотя они не расслышали его слов, но поняли, что он находился в опасности. Голос хозяина подействовал на Бэка, точно электрический ток. Он вскочил на ноги и помчался по берегу к тому самому месту, откуда отплыл в первый раз. Ганс

и Пит последовали за ним.

Опять его обвязали веревкой и опять столкнули в реку. На этот раз он не ошибся в направлении и поплыл куда следовало. Он не рассчитал один раз, но повторить ошибку не мог. Ганс спускал постепенно веревку, а Пит развертывал ее кольца. Бэк поднимался все выше и выше, пока, наконец, не оказался перед Торнтоном. Тогда он повернулся и со скоростью курьерского поезда ринулся прямо на него. Торнтон следил за ним, и, когда благодаря быстрому течению Бэк со всего размаха ударился о него своим телом, точно стенобитный таран, он обхватил Бэка обеими руками за косматую шею. Ганс привязал конец веревки за дерево, и Торнтон вместе с Бэком скрылись под водой. Захлебываясь, задыхаясь, то выскакивая из воды, то погружаясь в нее снова, волочась по каменистому дну и ударяясь о торчавшие скалы и выступы, они добрались, наконец, до берега.

Очнувшись, Торнтон увидел себя лежащим животом поперек бревна. Ганс и Пит усердно откачивали его, двигая взад и вперед. Первым делом он стал искать взглядом Бэка, который лежал тут же, слабый и бездыханный. Около него стоял Ниг и жалостно выл, а Скит лизала Бэку морду и закрытые глаза. Торнтон был разбит и изранен,

но подполз к Бэку, ощупал его и обнаружил, что у него сломаны три ребра.

— Делать нечего, — сказал он со вздохом, — придется остаться здесь.

Они тут же расположились лагерем и прожили здесь до тех пор, пока Бэк не поправился и не смог продолжать путь.

В ту же зиму в Доусоне Бэк совершил еще один подвиг, быть может, не столь героический, но зато принесший ему славу чуть не на всей Аляске. Этот подвиг был как нельзя кстати для трех лиц, которые очень нуждались в деньгах, чтобы приобрести необходимые инструменты, без которых нельзя было отправиться в долгожданное путешествие на девственный Восток, куда еще ни разу не ступала нога золотоискателя. Подвиг этот случился благодаря незначительному разговору в зале ресторанчика «Эльдорадо», когда путешественники хвастались своими любимыми собаками. Зашла речь о Бэке, и о нем стали отзываться недоброжелательно. Тогда Торнтон стал на его защиту. Не прошло и получаса, как один из заседавших побился об заклад, что его собака сдвинет с места сани с пятьюстами фунтами клади и даже некоторое расстояние провезет их; другой побился об заклад, что его собака сделает

то же самое даже и с шестьюстами фунтами, а третий — с семьюстами фунтами клади.

— Вот чепуха-то! — воскликнул Торнтон. — Мой Бэк сдвинет с места тысячу фунтов!

— Сдвинет с места? — удивился король золотоискателей Мэттьюсон, тот самый, который бился за семьсот фунтов. — И даже протянет их сто ярдов?

— Да, — спокойно ответил Торнтон, — сдвинет с места и провезет сто ярдов.

— Ладно, — тихо и небрежно произнес Мэттьюсон, но так, что его могли услышать все. — Ставлю тысячу долларов за то, что он этого не сделает. Вот они!

С этими словами он бросил на прилавок мешочек с золотым песком, величиной с соусник.

Никто не откликнулся на это предложение. Все признали, что со стороны Торнтона это обычное хвастовство. И он почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. Он действительно просто сболтнул. Он и сам не знал, осилит ли на самом деле Бэк тысячу фунтов. Ведь это — полтонны! Такая громада даже ужаснула его. Он очень верил в силы Бэка и в душе считал, что он способен потянуть любой груз, но ни разу не проверял его на чрезмерной клади. Между тем на Торнтона

были устремлены глаза двенадцати человек, и все молча ожидали. К тому же у него не было за душой тысячи долларов, а Ганс и Пит сидели почти без гроша.

— Сейчас у меня на улице стоят сани, и на них двадцать мешков с мукой по пятидесяти фунтов каждый, — сказал Мэттьюсон с жестокой настойчивостью. — Таким образом, я вас не задержу.

Торнтон не отвечал. Он не знал, что сказать. Он только рассеянно смотрел то на одного, то на другого из гостей с видом человека, потерявшего нить своих мыслей и искавшего, за что ухватиться, чтобы уловить ее вновь. И вдруг глаза его встретились со взглядом Джима О'Брайена, местного богача, с которым когда-то они были близкими товарищами. Это его слегка подбодрило. В нем вдруг вспыхнуло желание сделать то, чего бы он никогда не сделал при других обстоятельствах.

— Можете вы одолжить мне тысячу долларов? — спросил он почти шепотом.

— Ну конечно! — ответил О'Брайен, бросив на прилавок рядом с мешочком Мэттьюсона свой мешок. — Но я не верю, Джон, чтобы собака могла выполнить вашу затею.

«Эльдорадо» быстро опустел. Все высыпали

на улицу. Столы были забыты. Спорщики и закладчики отправились туда же, чтобы следить за выполнением пари и делать ставки. На некотором расстоянии от саней уже собралось несколько сот людей в шубах и меховых перчатках. Сани Мэттьюсона с их грузом стояли уже два часа, и притом на страшном морозе (было шестьдесят градусов ниже нуля), а потому их полозья крепко примерзли к гладко укатанному снегу. Собравшиеся стали биться об заклад, что Бэк не стащит с места саней. На слове «стащит» началась игра. О'Брайен доказывал, что Торнтон имеет право сдвинуть сани с места с тем, чтобы Бэк начал их «стаскивать» уже после этого. Мэттьюсон же настаивал на том, что фраза «стащит» включает в себя и то, что сани должны быть сдвинуты с места самой собакой, — не имеет значения, что они примерзли к снегу. Большинство решило спор в пользу Мэттьюсона, и ставки против Бэка повысились на три против одного.

Но принять это пари не нашлось никого: никто не верил, что собака осилит. Ясно было, что Торнтон слишком поспешил принять пари, и сам он, полный сомнений, посматривал на сани и видел, что такой груз могли стащить с места и везти только десять собак, а не одна, — и вся эта затея

стала казаться ему совершенно невыполнимой. Мэттьюсон торжествовал.

— Три против одного! — предложил он. — Ставлю еще тысячу! Хотите принять, Торнтон?

Обуревавшие Торнтона сомнения выразились у него на лице, но его вдруг охватил тот мятежный дух игры, который видит только ставки, не считается с невозможным и остается глух ко всему, за исключением борьбы. Он подозвал Ганса и Пита. Их карманы были почти пусты, и все втроем они могли поставить только двести долларов. С этими двумястами долларов они и пустились на Север искать счастья. Но они немедленно поставили и эти деньги против шестисот долларов Мэттьюсона.

Из саней выпрягли всех собак и на их место поставили Бэка. Всеобщее возбуждение перешло и на него, и он смутно почувствовал, что требуется что-то сделать, чтобы спасти Джона Торнтона. В толпе прошел шепот восхищения его блестящим внешним видом. Он был в отличном состоянии, без единого лишнего золотника жира, и те сто пятьдесят фунтов, которые он весил, представляли собой мужество и пыл. Его шерсть отливала шелком. На затылке и на плечах она у него приподнималась и, казалось, при каждом

его движении готова была стать дыбом, точно от избытка энергии каждый волосок в отдельности был живым и деятельным. Широкая грудь и сильные передние лапы были пропорциональны размерам всего тела, а мускулы под кожей натягивались, как веревки. Присутствовавшие оценили эти мускулы, убедились, что они были точно железные, и ставки понизились до двух против одного.

— Отлично, отлично, сэр! — прошепелявил представитель последней династии богачей-золотоискателей, золотой король из Скукум-Бенча. — Я предлагаю вам, сэр, за эту собаку восемьсот долларов до испытания. Восемьсот долларов вот за такого, каков он есть сейчас!

Торнтон отрицательно кивнул и стал рядом с Бэком.

— Вы должны отойти от него, — запротестовал Мэттьюсон. — Свободная игра, чистое место.

Толпа смолкла; слышались только отдельные голоса игроков, тщетно предлагавших два против одного. Каждый признавал, что Бэк — великолепная собака, но двадцать мешков муки, по пятидесяти фунтов в каждом, представляли для зрителей слишком большую помеху, чтобы решиться развязать кошельки.

Торнтон опустился около Бэка на колени. Он взял его голову обеими руками и прижался к ней щека к щеке. Теперь уж было не до игры и не до ласковых слов, как это они делали обычно. Теперь Торнтон шептал ему в ухо следующие слова: «Ведь ты любишь меня, Бэк! Ведь ты меня любишь!»

Бэк скулил от едва сдерживаемого нетерпения.

Толпа с любопытством наблюдала эту сцену. Она показалась ей таинственной. Точно это было заклинание. Когда Торнтон поднялся на ноги, Бэк схватил зубами его руку в перчатке, сдавил ее и затем медленно, неохотно выпустил. Это было его ответом, полным любви, — ответом не на словах, а своим способом. Торнтон, успокоенный, отошел.

— Вперед, Бэк! — скомандовал он.

Бэк натянул постромки, затем опустил их на несколько дюймов. Это был уже давно изученный им прием.

— Пошел! — резко звучал голос Торнтона при всеобщем молчании.

Бэк дернул вправо, а затем сделал такой прыжок, точно хотел нырнуть, и постромки сразу вытянулись в струну; но тут же все его сто пятьдесят фунтов внезапно подались назад. Груз

дрогнул, и из-под полозьев послышалось скрипение снега. Но воз не сдвинулся с места.

— Иди же! — крикнул Торнтон.

Бэк повторил тот же прием, но на этот раз в левую сторону. Скрипение снега перешло в визг, сани закачались, и полозья сползли с места на два-три дюйма в сторону. Таким образом сани отцепились от удерживавшего их льда. Все присутствовавшие затаили дыхание, совершенно не веря своим глазам.

— Теперь вперед!

Команда Торнтона раздалась, как пистолетный выстрел. Бэк рванулся изо всех сил. В могучем напряжении все его тело съежилось в комок, мускулы вытянулись и задрожали под шерстью, точно живые существа. Широкой грудью он припал чуть не к самой земле, вытянув голову вперед и книзу, и бешено задвигал передними лапами, так что от его царапавших когтей на твердом укатанном снегу тотчас же образовались две параллельные канавки. Сани закачались, дрогнули и совсем уже готовы был сдвинуться с места. Вдруг Бэк поскользнулся одной лапой, и кто-то из толпы громко охнул. Затем после целого ряда напряженных попыток сани сдвинулись с места и подались вперед, не застревая на мертвой

точке… сперва на полдюйма… потом на дюйм… на два дюйма… Тем временем усилия Бэка все уменьшались и уменьшались, и, когда сани, наконец, преодолели инерцию, он потащил их свободно вперед.

Присутствовавшие глубоко вздохнули, совершенно не заметив, что за минуту перед этим они не дышали вовсе. Торнтон побежал позади, все время подбадривая Бэка короткими ласковыми словами. Расстояние было измерено заранее, и, когда Бэк достиг вязанки дров, брошенных на то место, где кончались сто ярдов, волнение прорвалось наружу и превратилось в рев толпы. У вязанки Бэк остановился по команде. Все точно с ума сошли от восторга, даже Мэттьюсон. Шапки и рукавицы полетели в воздух. Начались рукопожатия — кто кому жал руку, неизвестно, — и всеобщее возбуждение вылилось в настоящее вавилонское столпотворение.

А Торнтон опустился на колени перед Бэком. Голова к голове — и оба закачались из стороны в сторону. Те, кто успел застать эту сцену, могли слышать, как он бранил Бэка, бранил его долго и горячо, но только ласково и любовно.

— Отлично, отлично, сэр! — вдруг опять забормотал король из Скукум-Бенча. — Я предлагаю

вам за собаку тысячу долларов. Тысячу, сэр! Ну, хотите тысячу двести?

Торнтон поднялся. Его глаза были влажны. Слезы откровенно струились по щекам.

— Нет, сэр! — ответил он золотому королю из Скукум-Бенча. — Можете убираться к черту. Это все, что я могу ответить на ваше предложение.

Бэк вцепился зубами в руку Торнтона. Тот раскачивал его вперед и назад. И, точно повинуясь одному и тому же побуждению, все зрители отступили на почтительное расстояние. Никто не решался больше нарушать безмолвную беседу собаки и человека.

VII
Звуки призыва

Когда Бэк за пять минут выиграл для Джона Торнтона тысячу шестьсот долларов, то у его хозяина появилась возможность уплатить долги и отправиться вместе с товарищами на Восток, к той сказочной, затерявшейся где-то золотой россыпи, история о которой так же стара, как и история всего того края. Многие люди искали ее; немногим удалось ее найти; еще больше людей пропало без вести в неудачных поисках. Эта затерявшаяся россыпь была связана с какой-то трагедией и окружена тайной. Никто не знал, кто первый открыл ее. Самые старые предания уже говорили о совершившемся открытии. Издавна там находилась какая-то старая, развалившаяся хижина, и умиравшие клялись, что видели ее и самую россыпь, и что эта хижина была поставлена там нарочно, чтобы отметить местонахождение золота; при этом они подкрепляли свои клятвы тем, что показывали самородки, равных которым по величине и по качеству никогда не находили на всем земном шаре.

Но никто из живых людей не добрался еще до этой хижины сокровищ, а все мертвые были мертвы. Поэтому-то Джон Торнтон, Бэк, Пит и Ганс пустились с полдюжиной собак на Восток, в неизвестные края, туда, где и люди, и собаки, так же как это было и до них, обманывались в своих ожиданиях. Они проехали на санях семьсот миль вверх по Юкону, свернули влево к реке Стюарт, прошли Мэйо и Мак-Квещен до тех самых мест, где река Стюарт становится простым ручейком, обвивающим, точно нитка, торчащие пики скал, которыми заканчивается горный хребет, идущий вдоль всего континента.

Джона Торнтона мало беспокоили люди и природа. Он был не из трусливого десятка. С щепоткой соли и с ружьем за плечами он мог забраться в любую даль и глушь и чувствовать себя там превосходно. Точно индеец, он никогда не спешил и добывал себе ежедневно пропитание охотой; когда же ему не удавалось что-либо убить, он так же, как и индеец, продолжал свое путешествие дальше, в твердой уверенности, что рано или поздно он набредет на дичь. В этом великом путешествии главную пищу составляла убиваемая по дороге дичь, главный груз на санях — вооружение и необходимые инструменты, а

времени было сколько угодно, до бесконечности.

Бэку доставляли невыразимое удовольствие охота, рыбная ловля и бесконечное блуждание по диким местам. Случалось так, что неделями, день за днем, они все шли и шли вперед; а бывало и так, что также по неделям они не трогались с места, располагаясь лагерем то тут, то там; собаки бездействовали, а люди бурили дыры в промерзлой земле и бесчисленное количество раз грели на огне и промывали в тазу грязь, в которой надеялись найти золото. Иногда они чуть не умирали с голоду, иногда роскошно пировали — все зависело от большей или меньшей удачи на охоте.

Наступило лето. Собаки и люди с узлами на спинах переплывали через глубокие горные озера и спускались вниз или поднимались вверх по неведомым речкам в утлых челноках, наскоро выдолбленных из стволов деревьев.

Приходили и уходили месяцы, а путники все еще бродили по дикой, беспредельной земле, куда ни разу не ступала нога человека, если не считать сказки о покинутой хижине. Они проходили большие пространства под летними ливнями с ледяной крупой, дрожали под полуночным солнцем от холода на обнаженной земле в тех местах, где проходит граница между чахлой рас-

тительностью и вечными снегами, спускались в теплые долины, в которых кишмя кишели мухи и комары, и где, несмотря на нависшие ледники, росла земляника и пестрели цветы, крупные и свежие, с которыми не могли бы соперничать даже детища Юга. К концу года они проникли в изумительную озерную страну, грустную и молчаливую, где, казалось бы, должны были водиться птицы, но не было и признака жизни — один только холодный, вечно дующий ветер, груды льда в защищенных местах да меланхолический всплеск волн о пустынные берега.

И вот уже вторую зиму проводили путники, отыскивая исчезнувшие следы тех людей, которые побывали здесь раньше. Однажды они действительно напали на тропинку, бежавшую в лес; это была очень старая тропа, и оставленная хижина стала казаться реальной. Но тропа эта неведомо где начиналась и неведомо где кончалась. Так и осталось загадкой, какие люди и для чего ее протоптали. В другой раз они набрели на потемневшие от времени обломки охотничьего шалаша, и между клочьями истлевшего одеяла Джон Торнтон нашел части кремневого ружья. Он признал в них ружье Компании Гудзонова залива первых времен эксплуатации Северо-За-

падного края, когда подобное ружье считалось еще настолько ценным, что его меняли на выделанные бобровые шкурки. Это было все. Ни малейшего указания на то, кто был тот человек, который выстроил эту хижину и оставил в ней среди клочьев одеяла свое ружье.

Опять вернулась весна, и на этот раз их странствования завершились тем, что они набрели не на оставленную хижину, а на неглубокое озеро среди обширной равнины, по краям которого, точно желтое масло на дне корыта, лежало золото. Они не стали искать далее. Каждый день они работали, добывая на тысячи долларов золота в виде чистого песка или самородков, и работали не покладая рук. Они ссыпали золото в мешки, сшитые из оленьих шкур, по пятидесяти фунтов в каждом, а мешки складывали в штабеля, точно дрова, около выстроенного наспех шалаша из сосновых ветвей. Они работали, как гномы, добывавшие себе сокровища, и дни мелькали за днями, точно во сне.

Собакам нечего было делать — разве только притащить ту дичь, которую убивал Джон Торнтон, — и для Бэка потянулись длинные часы безделья у огня. Видение коротконогого волосатого человека стало нередко возвращаться к нему,

особенно теперь, когда нечего было делать; очень часто, уставившись на огонь, Бэк блуждал в своем воображении с этим человеком по неведомым для него местам. Он смутно что-то припоминал, но знал, что не видел никогда ни этого человека, ни этих мест.

Неясный иной мир, пожалуй, даже пугал Бэка. Когда ему представлялся волосатый человек спавшим у костра, положившим голову на колени и обнявшим их руками, то он замечал, что этот сон был беспокоен; человек часто вздрагивал и пробуждался, боязливо вглядывался в темноту и подбрасывал дрова в огонь. Если шли они по берегу озера, где волосатый человек подбирал раковины и ел их содержимое, Бэк непрерывно озирался по сторонам, всюду предчувствуя скрытую опасность, каждую минуту готовый бежать, когда она вдруг появится. Пробирались ли они через лес, Бэк и вот этот самый волосатый человек, они старались делать это бесшумно, все время оставаясь настороже, двигая ушами и шевеля ноздрями, потому что у человека были такие же слух и чутье, как и у Бэка. Волосатый человек умел влезать на деревья и пробираться по их вершинам так же, как и по земле; хватаясь руками то за одну ветку, то за другую, он перепрыгивал с

дерева на дерево на расстоянии десяти-двенадцати футов, то идя, то повисая в воздухе, но никогда не падая и не срываясь. Он чувствовал себя на деревьях так же свободно, как на земле. И Бэк смутно припоминал те ночи, когда он сторожил, сидя на земле внизу, а волосатый человек спал в это время на вершине дерева, крепко уцепившись руками за ветви.

Что-то родное чувствовалось Бэку в этом волосатом человеке в связи с тем непобедимым призывом, который доносился до него все это время из глубины леса. В нем росло неугомонное беспокойство, назревали страстные желания. Лесной призыв заставлял его испытывать неведомую, сладкую радость, и в то же время Бэка наполняли страхи и опасения, но чего надо было бояться, он не знал и сам. Иногда он следовал этому призыву, входил в лес, искал что-то, точно потерянную вещь, тихо или громко лаял, в зависимости от того, какое было у него настроение. Он совал свой нос в холодный лесной мох или в черную землю, из которой торчала жесткая трава, и визжал от радости, чуя ее запах; или же он часами лежал, свернувшись меж упавших стволов деревьев, поросших белым мхом, точно скрываясь от кого-то, и, широко раскрыв глаза

и насторожив уши, прислушивался к каждому долетавшему до него звуку. Возможно, что, лежа так, он подстерегал этот таинственный зов, которого не мог себе объяснить и ему самому было непонятно, почему именно он стал так поступать. Его влекло к этому, и он не мог отдать себе отчета ни в чем.

Непреодолимое влечение овладевало всем его существом. Вот он лежит в лагере, лениво греясь на солнце, и вдруг голова его приподнимается, уши настораживаются, он нюхает, прислушивается, вскакивает и пускается бежать без оглядки, все дальше и дальше, через открытые пространства и сквозь лесные чащи, откуда как будто высовываются ему навстречу загорелые лица неведомых людей. Он любил бегать по высохшим руслам речек, подстерегать и выслеживать птиц на деревьях. Иногда целыми днями он просиживал под каким-нибудь кустом и наблюдал оттуда, как перекликались и перелетали с места на место куропатки. Но особенное удовольствие доставляло ему бегать в прозрачные сумерки белых летних ночей, прислушиваться к невнятным и сонным бормотаниям леса, различать звуки и всякие приметы так, как человек читает книгу, и разыскивать то таинственное, что его упорно

звало во сне и наяву, не давая на минуты покоя.

Однажды ночью он вскочил с широко раскрытыми глазами, с шевелившимися ноздрями; вся шерсть на нем встала дыбом. Из леса доносился призыв (пожалуй, только одна из его нот, ибо весь призыв включал в себя великое множество нот), такой ясный и отчетливый, каким не был еще никогда, — протяжный вой, похожий и в то же время не похожий на вой ездовой собаки. Он слышал этот вой и раньше, не обращая на него особого внимания. Он перепрыгнул через хозяина и его товарищей, в это время крепко спавших, и молча помчался к лесу. Приблизившись к тому месту, откуда доносился вой, он пошел тише, соблюдая осторожность в каждом своем движении, пока, наконец, не достиг открытого места среди деревьев. Оглядевшись, он вдруг увидел вытянувшегося на всех четырех ногах и задравшего морду кверху большого тощего лесного волка.

Бэк не произвел ни малейшего шума, но волк перестал выть и, по-видимому, почуял его приближение. Бэк шел открыто, наполовину съежившись, напрягши все свое тело, вытянув хвост, как палку, и с непривычной осторожностью переставляя ноги. Каждое его движение заключало в себе и угрозу, и предложение дружбы. Это было

тем угрожавшим подходом, с каким обыкновенно встречаются дикие звери. Волк испугался и пустился бежать. Бэк последовал за ним дикими прыжками, с безумным желанием догнать его. Он загнал его в узкое пространство, в ложе пересохшего ручья, откуда не было выхода. Волк завертелся, заметался, стал приседать на задние лапы, как это делали Джо и другие собаки, когда им некуда было выскочить, завизжал, заскулил и быстро-быстро, непрерывно защелкал зубами.

Бэк не напал на волка, а только кружил около него, предлагая ему свою дружбу. Волк же оказался подозрительным и трусливым — да оно и понятно, потому что Бэк был чуть ли не втрое крупнее его; голова волка едва касалась плеча Бэка. Улучив момент, волк бросился бежать, и погоня возобновилась. Волк опять был загнан в угол, и опять повторилось то же самое. В конце концов настойчивость Бэка восторжествовала. Убедившись, что Бэк вовсе не намерен его обидеть, волк повернул к нему нос к носу и стал его обнюхивать. Затем они почувствовали себя друзьями и стали играть, но нервно и нерешительно, как обыкновенно играют между собой дикие звери, стараясь скрыть свою жестокость. Потом, спустя некоторое время, волк бросился

бежать легким галопом, с таким видом, точно куда-то спешил. Он поманил за собой Бэка, и они побежали уже рядом сквозь полуночные сумерки вверх по руслу речки, к тому ущелью, сквозь которое она протекала, и по тем пустырям, откуда она текла.

На противоположной стороне водораздела они спустились в низкую долину, по которой тянулись длинные полосы лесов и текло много ручьев, и час за часом бежали по этим лесам, — а солнце поднималось все выше и выше, и день становился все теплее. Бэк испытывал дикую радость. Теперь он знал, что повиновался таинственному призыву, совершая этот побег бок о бок со своим лесным братом к тому месту, откуда доносился до него призыв. Воспоминания о былом нахлынули на него и волновали его так, как когда-то в старину он волновался от действительности, тенью которой они были. Он уже проделывал когда-то все это, что делал сейчас, но где-то в другом, туманном мире, который смутно припоминался ему; он теперь лишь повторял вновь какой-то древний бег, стремясь к свободе, на все четыре стороны, имея под собой сырую землю, а над собой — широкое безграничное небо.

Они остановились у ручья, чтобы напиться, и

Бэк вдруг вспомнил о Джоне Торнтоне. Он сел. Волк побежал далее к тому месту, откуда как будто доносился призыв, затем вернулся к Бэку, понюхал его в нос и сделал два-три движения, заставляя его встать и вновь бежать за ним. Но Бэк отвернулся и медленно поплелся назад. Чуть не час рядом с ним бежал его дикий брат и тихонько скулил. Затем он сел, задрал нос кверху и завыл. Это был горестный вой, и по мере того как Бэк отходил все дальше и дальше, этот вой становился все слабее и слабее, пока, наконец, не затих.

Джон Торнтон уже обедал, когда Бэк возвратился домой и бросился к хозяину с выражением своей привязанности. Он чуть не свалил его, прыгал около него, лизал ему лицо, кусал руку, — одним словом, как это называл Джон Торнтон, «валял дурака». А Торнтон качал Бэка из стороны в сторону и любовно его ругал.

Два дня и две ночи Бэк не оставлял лагеря и не сводил глаз с Торнтона. Он следовал за ним во время работ, смотрел на него, когда он ел, наблюдал, как он укрывался на ночь одеялом и как пробуждался утром. Но прошли эти двое суток, и призыв из леса стал звучать еще более повелительно, чем прежде. К Бэку опять вернулось его беспокойство, и воспоминания о диком брате, о

веселых долинах и о беге бок о бок с ним через дремучие леса овладели всем его существом. И опять он отправился в свои похождения по лесу, но дикий брат больше не являлся, и, как Бэк ни прислушивался, как ни выстаивал долгие часы на одном месте, до него ни разу не донесся жалобный вой.

Бэк стал спать по ночам не в палатке, а на воздухе, и по целым дням его не видели в лагере, а однажды он убежал очень далеко, пробродил где-то целую неделю в напрасных поисках свежих следов своего дикого брата, питаясь по дороге дичью и не чувствуя ни малейшей усталости. В широком потоке, который впадал где-то далеко в море, он поймал лосося и тут же, у потока, загрыз большого черного медведя, ослепленного комарами. В беспомощном состоянии медведь дико ревел и был ужасен. Между ним и Бэком произошла жестокая борьба, которая пробудила в Бэке дремавшие остатки жестокости. Два дня спустя, когда он вернулся к своей жертве, он нашел около нее с дюжину росомах, дравшихся между собою из-за добычи. Он разогнал их, точно овец. А тех двоих, которые отстали от своих убегавших товарищей, он навсегда лишил возможности драться.

Кровожадность Бэка усиливалась. Теперь он был хищником, питавшимся сырым мясом. Он жил за счет чужих жизней, и при этом убивал один, без всякой посторонней помощи, полагаясь только на свои силы и храбрость и торжествуя над врагами так, как может торжествовать только сильнейший. Благодаря этому он стал гордиться собой, и его гордость находилась в прямой связи с его физической силой. Она проявлялась у него во всем: в его движениях, в игре каждого мускула, в манере себя держать, в блеске его шерсти. Если бы не темные пятна на морде и под глазами и если бы не белые волосы, полосой сбегавшие у него на груди, то его можно было бы по ошибке принять за гигантского волка, более крупного, чем самый громадный волк. От своего отца сенбернарской породы он унаследовал величину и вес, а овчарка-мать наделила его своей внешностью. Его морда походила на волчью, а голова была совсем как у волка, только несколько шире и массивнее.

Чутье Бэка было чисто волчьим, настоящим чутьем дикого зверя; его понятливость была унаследована им от сенбернара и от овчарки; если прибавить еще к этому тяжкий опыт, вынесенный им из суровой жизненной школы,

то получился зверь не хуже любого другого, бродившего в пустыне. Хищное животное, все время питавшееся исключительно сырым мясом, он был теперь в полном расцвете своих сил, достигнув высшей точки своего развития и мужественности. Когда Торнтон ласково проводил рукой по его спине, то от соприкосновения с шерстью раздавался треск, так как каждый волосок давал искру. Каждая часть Бэка в отдельности — мозг и тело, нервная система, малейший фибр — достигла в нем высшего совершенства; во всем теле было какое-то равновесие, какая-то общая приспособляемость. На взгляд, звук или жест, требовавшие от него исполнения, он отвечал с молниеносной быстротой. Если обыкновенная ездовая собака всегда была способна немедленно защищаться от нападения или нападать сама, то Бэк отличался этим вдвойне. Он замечал малейшее движение, слышал малейший звук и отвечал на них прежде, чем всякая другая собака успевала сообразить, в чем дело. Он примечал, решал и отвечал в один миг. Все эти три действия — наблюдение, решение и ответ, — как известно, последовательны, но для Бэка промежутка между ними не существовало, — они происходили одновременно. Его мускулы были обременены

избытком жизни и во время работы натягивались, как стальные пружины. Жизнь разливалась по всему его существу великолепным потоком, радостным, неудержимым, так что казалось, что вот-вот в шумном экстазе этот поток вырвется наружу и щедрыми струями потечет по свету.

— Никогда не было такой собаки, — сказал однажды Джон Торнтон, когда его приятели обратили внимание, с каким достоинством Бэк шествовал по лагерю.

— Когда его отливали, — ответил Пит, — то самая форма, должно быть, не выдержала и раздалась по швам.

— Черт возьми, и я того же мнения, — добавил Ганс.

Все видели, как Бэк шагал по лагерю, но ни один из них не мог увидеть той мгновенной и страшной перемены, которая происходила с ним, как только он попадал в лес. Там он не шагал. Там он становился диким зверем; как лесная кошка, он подкрадывался к чему-либо подозрительному, пробирался сквозь листву и выслеживал тень, которая то появлялась, то исчезала среди других теней. Он знал, как приспособиться ко всякой поверхности, умел ползать на животе, как змея, извиваться и нападать. Он мог стащить тетерева

с дерева, схватить кролика во время его сна за уши и поймать в воздухе маленьких свиристелей, только на одну секунду опоздавших взлететь на дерево. А о рыбах в прозрачной воде нечего и говорить; даже бобры не успевали спастись от него под свои плотины. Но он убивал только для того, чтобы есть, а не из простой кровожадности. И он ел только то, что убивал сам. Что-то вроде забавы было в его подвигах. Ему доставляло удовольствие подкрадываться к белкам, ловить их поодиночке и затем, перепугав чуть не до смерти, отпускать на вершины деревьев.

К концу года в лесу стали попадаться лоси, которые медленно передвигались на зимовку в более низкие и менее холодные места. Бэк уже загрыз одного лосенка; но ему хотелось более матерого и более страшного противника, и он отправился однажды на водораздел к истокам речки. Стадо лосей голов в двенадцать перекочевывало в это время из-за Полярного круга, и впереди шел вожак — громадный самец. Он был шести футов ростом и представлял собой страшного противника, какого даже и не воображал себе Бэк. Лось раскачивал взад и вперед своими громадными ветвистыми рогами, на каждом из которых было по четырнадцати отдельных рож-

ков, а между крайними верхушками обоих рогов было пространство в семь футов. Его маленькие глазки светились гневом и злобой, и, увидев Бэка, он яростно заревел.

В боку у лося, ближе к груди, торчала оперенная стрела, которая, собственно, и доводила его до бешенства. Руководимый сохранившимся в нем от первобытных охотничьих времен инстинктом, Бэк прежде всего задумал отбить вожака от остального стада. Это оказалось нелегким делом. Он стал лаять на лося и прыгать перед ним, стараясь увернуться от его рогов и от ужасных ударов копытами, один взмах которых мог бы уложить Бэка на месте. Потеряв возможность ввиду грозившей опасности повернуться задом и уйти, лось рассвирепел. Он набрасывался на Бэка, который ловко увертывался от него, еще более подзадоривая его тем, что будто бы неспособен от него убежать. Когда лось отделялся от своего стада, два или три других молодых лося выходили против Бэка и тем давали возможность раненому самцу соединиться со стадом.

Животное обладает особым терпением — упрямым, неустанным, настойчивым, как сама жизнь, — которое в продолжение многих часов заставляет паука неподвижно подстерегать свою

добычу в паутине, змею — лежать для той же цели в кольцах, пантеру — в засаде. Этим терпением отличается все живое, когда ему требуется в пищу другое живое. Это же терпение проявил теперь и Бэк, когда принялся пугать все стадо и сбивать его с направления, раздражать молодых самцов, беспокоить коров с их телятами и отгонять от них старого раненого вожака, безумствовавшего от бессильной ярости. Это продолжалось полдня. Бэк как-то ухитрялся будто раздваиваться, атакуя стадо со всех сторон, оцепляя его угрозами, отбивая намеченную им жертву от ее сородичей всякий раз, как только она получала возможность с ними соединиться, и лишая их и того терпения преследуемых, которое не составляет обычно и сотой доли терпения преследователей.

К концу дня, когда стало заходить солнце на северо-западе (опять дни делались короче, и ночи продолжались уже шесть часов), молодые лоси стали все более и более отходить от своего осажденного вожака. Приближавшаяся зима гнала их в более низкие места, и им стало казаться, что уже никогда больше они не отделаются от этого неутомимого существа, которое мешает им идти. К тому же дело касалось жизни не всего стада и не молодых самцов — им не угрожал никто.

Дело шло о жизни одного сотоварища, который представлял гораздо меньший интерес, чем их собственная жизнь, — и в конце концов они решили им пожертвовать.

Спустились сумерки, а старый вожак все еще стоял, понурив голову и глядя на своих сородичей, — на коров, которых он любил, на телят, для которых он был отцом, на молодых лосей, над которыми он властвовал, — как они убегали от него во мраке вечера. А он не мог за ними следовать, потому что у самого его носа неотвязно вертелось безжалостное чудовище, которое не позволяло ему уходить. Он весил на триста фунтов более, чем полтонны; он прожил долгую, суровую жизнь, полную лишений и борьбы, — и вот наступал его конец, он стоял лицом к лицу со смертью. И кто же был этому причиной? Небольшое зубастое существо, едва доходившее ему до колен.

С тех пор всю ночь и весь день Бэк не оставлял своей добычи; он не давал ей ни минуты покоя, не позволял ей пожевать ни листьев, ни побегов березы и ивы. Он мешал раненому лосю, изнемогавшему от жажды, промочить себе горло из какого-нибудь ручейка или ложбинки. Часто, в отчаянии, лось вступал с ним в продолжи-

тельную борьбу. В таких случаях Бэк не пытался останавливать его, но начинал вертеться у него под ногами, довольный затеянной им игрой, состоявшей в том, что когда лось стоял спокойно, то ложился на землю и Бэк, а когда лось собирался напиться или поесть, то Бэк яростно бросался на него в атаку.

Громадная голова с ветвистыми рогами опускалась все ниже и ниже, и неуклюжая походка лося становилась все слабее и слабее. Лось стал подолгу простаивать на одном месте, уткнувшись носом в землю и опустив уши, как тряпки; и Бэк пользовался такими промежутками, чтобы сбегать напиться и отдохнуть. В те моменты, когда Бэк лежал, высунув красный язык, с глазами, устремленными на громадное животное, ему начинало казаться, что поблизости во всем происходит какая-то значительная перемена. Он чувствовал вокруг себя какое-то странное волнение. Точно вместе с этим лосем сюда пришло множество других жизней. Как-то вдруг сразу заявили о своем существовании и лес, и река, и воздух. Мысль эта зародилась в нем самом не потому, что он видел, слышал или обонял, а благодаря какому-то другому, более тонкому чувству. Он ничего не услышал, ничего не видел и

все-таки знал, что все кругом стало как-то совсем иначе, и что от этого все вещи получили новое назначение и новые имена. И он решил все это разузнать получше, как только покончит дело с лосем.

Наконец, уже к исходу четвертого дня Бэк окончательно доконал громадное животное. День и ночь он оставался затем около своей жертвы, ел ее, спал возле нее и часто обходил вокруг, затем, отдохнув и подкрепив свои силы, он отправился обратно к дому Торнтона. Он побежал легким галопом и несся час за часом, ни разу не сбившись с пути, держа направление прямо к дому по совершенно незнакомым местам лучше и вернее, чем это сделал бы человек с компасом в руке.

Когда он так бежал, то все более и более чувствовал какое-то новое движение на земле. Кругом расстилалась жизнь, совершенно другая, чем та, какая обыкновенно оживала к лету. Об этом ему говорило уже не одно только неуловимое, таинственное чувство. Об этом громко заявляли птицы, болтали белки, даже сам ветерок нашептывал что-то. Иногда он останавливался и жадно втягивал в себя струи свежего утреннего воздуха, чуя в них весть, побуждавшую его бежать еще скорее. Какое-то щемящее предчувствие

несчастья угнетало его. Точно случилось что-то непоправимое. Он пересек последний водораздел и, спустившись в долину, с большой предосторожностью стал приближаться к своему лагерю.

Еще за три мили до лагеря Бэк почуял чей-то свежий след, от которого зашевелилась и встала дыбом у него на затылке шерсть. След этот вел прямо к лагерю, к Джону Торнтону. Бэк заспешил, удвоив осторожность и быстроту и чуткий к массе мелких подробностей, которые открывали перед ним многое. Его обоняние угадывало картину того, как кто-то живой проходил здесь, ступая пятками по земле, по которой он теперь бежал. Почему-то ему показалось, будто стих самый лес. Птицы смолкли. Белки скрылись. Только попадались по пути громадные наросты на засохших стволах деревьев, похожие по внешнему виду на серых людей.

Когда Бэк подходил так, точно вместо него ползла его тень, его нос вдруг невольно потянулся куда-то вбок, точно кто-то вдруг насильно схватил его и нарочно туда направил. Он пошел на этот новый запах и увидел в кустарнике Нига. Бедная собака лежала на боку мертвая, дотащившись сюда сама, и в каждом боку у нее было по оперенной стреле.

В ста шагах далее Бэк наткнулся на одну из ездовых собак Торнтона, купленную им в Доусоне. Эта собака еще корчилась в предсмертных муках прямо на дороге, но Бэк прошел мимо нее, не останавливаясь. Из лагеря доносились звуки многих голосов, то затихавших, то усиливавшихся: это пели песни. Он подполз на животе к краю расчистки и увидел Ганса, лежавшего ничком и утыканного стрелами, точно дикобраз. Тогда Бэк бросился к шалашу, устроенному из сосновых ветвей, и то, что он увидел там, заставило дыбом подняться его шерсть на затылке и на плечах. Его охватил прилив неудержимой ярости. Не сознавая сам того, что он этим подал голос, он разразился громким яростным лаем. В первый раз за всю свою жизнь он позволил страсти взять верх над его хитростью и рассудком и только из великой любви к Джону Торнтону потерял голову.

Индейцы племени ихет плясали вокруг остатков шалаша, когда вдруг услышали этот страшный лай и увидели перед собой разъяренное животное, какого не видели ни разу. Это был Бэк, олицетворенный ураган ярости, бросившийся на них, чтобы их погубить. Он прыгнул на ближайшего к нему (это был их предводитель) и широко располосовал ему горло до самой гортани, откуда

брызнули фонтаны крови. Бросив свою жертву, он кинулся на следующего и ему разгрыз горло. Ничто не могло его остановить. Он ворвался в самую середину дикарей, рвал их, кусал, разрывал на части, не останавливаясь в своих ужасных движениях ни на одну секунду и не обращая внимания на стрелы, которыми они его осыпали. И так непостижимо быстро проходило это нападение, и так тесно индейцы сбились от него в кучу, что стали попадать стрелами один в другого; один из молодых индейцев с такою силой пустил свою стрелу в Бэка, что она, попав в его товарища, пронизала ему грудь насквозь и выскочила с другой стороны. Паника охватила ихетов, и они в страхе разбежались по лесу, убежденные в том, что встретились со злым духом.

И действительно, Бэк в это время представлял воплощенного дьявола, гнавшегося за индейцами по пятам и преследовавшего их, точно убегавших оленей. Это было роковым днем для индейцев. Они разбежались далеко по лесу, и только через неделю встретились в нижних долинах и сосчитали свои потери. А Бэк, устав от преследования, возвратился в опустевший лагерь. Там он нашел убитым Пита: бедняга лежал в своей постели, очевидно, захваченный

врасплох, не успев еще проснуться. На земле чуялись следы отчаянной борьбы Торнтона, и Бэк обнюхал каждый камешек по пути к берегу глубокого пруда. На самом краю его, головою и передними лапами в воде лежала Скит, верная до конца. Самый пруд, тинистый и замутненный промывкой золота, содержал в себе то, что искал Бэк, то есть тело Джона Торнтона. Бэк проследил его шаги до пруда, но обратно от пруда они уже не попадались.

Весь день Бэк просидел на берегу или же в беспокойстве бродил по лагерю. Он знал смерть как прекращение движения, как выход живого существа из среды живых, и поэтому понимал, что Джон Торнтон не вернется. Это оставляло в нем большую пустоту, что-то такое, что походило на голод, но пустота эта причиняла боль, которую не в состоянии было заглушить даже принятие пищи. По временам, когда он начал созерцать трупы ихетов, он забывал об этой боли, и в такие минуты испытывал гордость, гораздо большую, чем когда-либо прежде. Он загрыз человека — это была самая благородная дичь, — и он загрыз ее по закону дубины и клыка. И он с любопытством обнюхивал трупы. Как легко все они умерли! Ведь гораздо труднее убить простую собаку, чем

их! Право, все они не стоили бы ничего, если бы отнять от них их стрелы и дубины. Надо ли теперь бояться их, когда у них не будет стрел и дубин? Наступила ночь. Высоко над деревьями взошла луна и осветила землю так, точно это был смутный день. И с наступлением ночи, сидя и скуля около пруда, Бэк вдруг почувствовал в себе прилив новой жизни, совсем иной, чем та, которую нарушили здесь индейцы. Он поднялся, прислушался и понюхал воздух. Издалека донесся до него чуть слышный, заунывный вой, за которым последовал вдруг целый хор такого же воя. Проходило время, и этот вой все приближался и становился громче. И опять Бэку показалось, что он уже слышал когда-то в древности эти звуки и теперь их припоминал. Он выбрался на середину площадки и стал прислушиваться. Это звучал призыв, многоголосый призыв, никогда еще так не взвинчивавший и не возбуждавший его прежде. И никогда раньше его не влекло так подчиняться этому призыву, как теперь. Джон Торнтон был мертв. Последняя связь оборвалась. Человека и его человеческих претензий на живое существо больше не существовало.

Гоня перед собой живую добычу — точь-в-точь, как Бэк недавно гнал индейцев, — целая

стая волков, миновав поля и луга, реки и горы и выгнав целое стадо лосей, ворвалась вдруг в долину Бэка. Серым потоком ринулись они на засеку, залитую лунным светом. В самом центре ее, неподвижный, как статуя, сидел Бэк и поджидал их прихода. Они испугались его — таким тихим и крупным он им показался. Постояв минуту в нерешительности, самый матерый из них направил стопы к нему. Точно электрическая искра вдруг пронизала Бэка, и он схватил его за шею. Затем он остановился, как и до этого, без движения, а раненый волк в последней агонии корчился перед ним на земле. Три других волка последовательно испытали ту же судьбу и один за другим потянулись назад, истекая кровью, сочившейся из их горла и плеч.

Этого было достаточно, чтобы вся стая волков, в общей свалке охваченная одним и тем же пылом ненависти, бросилась на свою добычу. Но Бэк с необыкновенной быстротой и зоркостью не терял своей позиции. Поворачиваясь во все стороны на задних лапах, хватая зубами и отбиваясь, он во всех местах поспевал одновременно и всюду являлся неожиданно — так быстро он вертелся и так умело себя защищал. Чтобы не дать обойти себя с тыла, он был принужден податься назад к

пруду, залезть в тину и через нее пробраться на высокую насыпь из щебня. Эту насыпь сделали люди, промывавшие здесь золото. Он выбрался на ее правый край и заработал отсюда, как из засады, окруженный водой с трех сторон и отражая врагов только перед собой.

Он так удачно отбивал атаку, что через какие-нибудь полчаса волки вынуждены были отступить с потерями. У всех у них были высунуты языки и при лунном свете ярко блестели белые клыки. Некоторые из них улеглись, вытянув вперед морды и насторожив уши; другие остались стоять, все еще подстерегая Бэка, а третьи лакали воду из пруда. Один волк, длинный, худющий, седой, не без осторожности выступил вперед и дружелюбно завилял хвостом. Бэк узнал в нем того дикого брата, с которым он когда-то пробежал вместе день и ночь. Волк тихонько поскулил, и, когда Бэк ответил ему тем же, они стали обнюхивать друг у друга носы.

Затем старый волк, сухощавый и весь в рубцах от драк, вышел вперед. Бэк сначала оскалил было зубы, не доверяя ему, но затем обнюхался и с ним. После этого старый волк сел в сторонке, уставился на луну и протяжно завыл. Сели вслед за ним и другие и тоже завыли. Теперь призыв

уже безошибочно заговорил в Бэке. Он тоже сел и тоже завыл. Закончив выть, он вышел из своей засады, и все волки окружили его и стали полудружественно, полуподозрительно обнюхивать его. Вожаки подняли визг и бросились к лесу. Все волки, завизжав хором, последовали за ними. Бэк тоже побежал за ними, бок о бок с диким братом, и тоже завизжал.

На этом можно было бы и кончить историю о Бэке.

Не прошло и нескольких лет, как индейцы стали замечать, что среди волков произошла какая-то перемена. У некоторых из них появились на мордах и на головах странные темные пятна и вдоль груди белые полосы. Но что всего удивительнее, так это то, что индейцы были убеждены, будто вожаком волков стал нечистый дух в образе собаки. Ихеты боятся этого духа, потому что он гораздо хитрее, чем они сами, он безнаказанно в лютые зимы обворовывает их стоянки, утаскивает из их ловушек попавшуюся в них дичь, загрызает их собак и проводит за нос их лучших охотников.

И чем дальше, тем больше таких россказней. Но бывает и хуже. Часто сами охотники не возвращаются домой, а был и такой охотник, которого

товарищи нашли с перегрызенным горлом, причем вокруг него на снегу были следы от лап, гораздо более крупных, чем у волков. Каждую осень, когда ихеты начинают выслеживать лосей, они никогда не спускаются в одну заповедную долину. А их женщины становятся печальными всякий раз, как у их очага начнут разговаривать о том, что нечистый дух избрал эту долину для своего постоянного пребывания.

И каждое лето в этой долине появляется не нечистый дух, а некое живое существо, которого индейцы не знают. Это — громадный, с великолепной шерстью волк, похожий и все же не похожий на всех остальных волков. Он пересекает в одиночестве все веселые места и спускается к открытой расчистке между деревьями. Здесь из заплесневевших мешков, сшитых из лосиных шкур, желтым потоком вытекает золотой песок и падает на землю; высокий бурьян порос вокруг, и заросли травы стелются так густо, что желтый поток скрыт от дневного света. Здесь загадочный волк долго стоит в задумчивости и затем, испустив протяжный жалобный вой, отправляется обратно.

Но он не всегда бывает один. Когда наступают длинные зимние ночи и волки спускаются за

добычей в долины, его можно видеть во главе их стаи, пробирающейся при бледном лунном свете или при ярком северном сиянии: он идет, гигант среди своих товарищей. И из его могучей груди вылетает вой; это — песня о том времени, когда вселенная была юна, и это — песня всей стаи волков.

РАССКАЗЫ


A08

Сэмюэл

Маргарет Хэнен была особой весьма замечательной во всех отношениях, но особенно она поразила меня, когда я увидал ее в первый раз. Она взвалила себе на плечи стофунтовый мешок зерна и несла его как ни в чем не бывало от телеги к сараю, остановившись лишь на одно мгновение передохнуть, прежде чем подниматься по лестнице, ведущей к закромам. Всех ступенек было четыре, и она поднималась по ним так спокойно и уверенно, что не оставалось никаких сомнений в том, что она донесет мешок, хотя ее тощее тело все изогнулось под тяжестью. Видно было, что она очень стара. Потому-то я и задержался у телеги, наблюдая за ней.

Шесть раз прошла она расстояние между телегой и сараем, каждый раз с полным мешком на плечах; и хотя я стоял на виду, она не обращала на меня никакого внимания. Когда телега опустела, она полезла за спичками и закурила коротенькую глиняную трубочку, прижимая табак заскорузлым и, по-видимому, онемелым пальцем. У нее были замечательные руки — широкие, костлявые, обезображенные работой мозолистые руки

с тупыми, поломанными ногтями, покрытые заживающими и свежими царапинами; такие руки обычно бывают у людей, занятых тяжелым физическим трудом. О ее возрасте можно было судить по сильно выступавшим на руках синим венам. Не верилось, что эти руки принадлежали женщине, которая некогда считалась первой красавицей острова Мак-Гилл. Впрочем, об этом я узнал лишь много времени спустя. Тогда я не знал ни ее самой, ни ее биографии.

Большие, грубые мужские сапоги, надетые на босу ногу, при ходьбе болтались и били ее по тощим икрам. На ней была мужская рубаха и рваная юбка из некогда красной фланели. Фигура у нее была бесформенная, но особенно поразило меня ее морщинистое изнуренное лицо, обрамленное шапкой косматых волос. Ни эти косматые волосы, ни темные морщины не могли скрыть ее прекрасного высокого лба.

Впалые щеки и горбатый нос мало соответствовали ее блестящим голубым глазам. Несмотря на множество морщин вокруг, глаза эти были ясны, как у молодой девушки, а их острый, пронизывающий взгляд мог хоть кого привести в замешательство. Глаза у Маргарет были при этом очень своеобразно поставлены. Обычно

расстояние между глазами бывает не больше длины глаза, а у нее это расстояние было чуть ли не в полтора раза больше. Но особенность эта вследствие поразительной симметричности лица отнюдь не производила неприятного впечатления. Случайный наблюдатель мог вполне не заметить этого. Ее беззубый рот, с опущенными углами сухих и тонких губ, не отвисал, как это часто бывает у старух. Ее губы можно было бы принять за губы мумии, если бы не присущее им выражение страшного упорства. Они не были безжизненными, напротив, в них было какое-то напряжение, одухотворенная решимость. В этих глазах и губах таился ключ той уверенности, с которой она втаскивала тяжелые мешки по крутым ступенькам, не оступаясь и не теряя равновесия.

— Вы старая женщина и так работаете, — решился сказать я.

Она взглянула на меня пристальным, странным взглядом, думая и говоря с характерной для нее медлительностью, словно она была уверена в своей вечности и вовсе не считала нужным торопиться. Снова меня поразила ее безмерная уверенность в себе. Ее твердая походка была, казалось, тоже результатом этой самоуверенности. В своей духовной жизни она, по-видимому, так

же мало рисковала оступиться, как когда таскала стофунтовые мешки с зерном. Она производила на меня жутковатое впечатление.

Как ни мало я знал ее, я уже понимал, что у меня не может с ней быть ничего общего. Чем ближе я узнавал ее в течение последующих недель, тем сильнее чувствовал свою отчужденность от нее. Она представлялась мне гостьей с другой планеты, и ни я, ни кто-либо из моих земляков не могли проникнуть в мир ее душевных переживаний, не могли понять, каким образом она стала такой.

— Через две недели после великой пятницы мне исполнится семьдесят два года, — сказала она в ответ на мое замечание.

— Я и говорю, что вы слишком стары для такой работы, — повторил я. — Ведь это работа мужчины, да еще здорового мужчины.

Но она уже погрузилась в созерцание вечности, и это было так странно, что я не удивился бы, если бы мне сказали, что прошло сто лет или еще больше, прежде чем я услышал ее ответ:

— Ведь надо же делать эту работу. А помочь мне некому.

— Неужели у вас нет детей или родных?

— О, их у меня хоть пруд пруди, да разве они станут мне помогать!

Она на секунду вынула изо рта трубку и сказала, кивнув на дом:

— Я живу сама по себе.

Я поглядел на крепкий дом, крытый соломой, на большие амбары и на обширные поля, принадлежавшие этой же ферме.

— Разве можно одной обрабатывать такой большой участок?

— Да, участок большой — семьдесят акров. Мой старик много повозился с ним. Ему помогали сын да наемный работник, да поденщики во время уборки, да девка, исполнявшая домашнюю работу.

Взобравшись на телегу, она взяла вожжи и спросила, кинув на меня проницательный взгляд:

— Вы, наверное, с той стороны океана?

— Да, я американец, — ответил я.

— Вы, небось, в Америке ни разу не встречали ни одного жителя Мак-Гилла?

— Никогда не встречал.

Она кивнула головой.

— Они домоседы, хотя нельзя сказать, чтобы они были не способны путешествовать. Всех их, однако, тянет домой, и они всегда возвращаются восвояси, конечно, если не погибают где-нибудь на чужбине от лихорадки.

— Значит, ваши сыновья были моряками и вернулись домой?

— Да, все, кроме Сэмюэла, — Сэмюэл утонул.

Я готов поклясться, что при упоминании имени Сэмюэла глаза у нее блеснули, и я почувствовал острое чувство соболезнования. Мне почудилось, что тут лежит ключ ко всем ее тайнам и объяснение всех ее странностей. Мне показалось, что между нами пробежал некий ток, и я заглянул ей в душу. Я хотел уже расспросить ее, но она вдруг причмокнула губами, хлестнула лошадь и, крикнув мне «Добрый день!», уехала.

Жители Мак-Гилла — простой и славный народ, и я думаю, что во всем мире нет более трезвых и трудолюбивых людей. Если встретить их за границей (только на море, ибо они смесь моряков и фермеров), то их нельзя принять за ирландцев. Сами они считают себя ирландцами, с гордостью говорят об Ирландии и подшучивают над своими братьями-шотландцами. Тем не менее они несомненно шотландцы — правда, переселившиеся много лет назад, но все же шотландцы, со всеми их характерными чертами, не говоря уже об особенности их мягкого произношения, которое лучше всего доказывает их шотландское происхождение.

Узкая полоса воды в полмили шириной отделяет остров Мак-Гилл от Ирландии. Но стоит только переехать оттуда на Мак-Гилл, чтобы почувствовать, что ты очутился в совершенно другой стране. Шотландское влияние ощущается очень сильно: все жители Мак-Гилла пресвитериане. Население настолько трезво, что на всем острове нет ни одного кабака, хотя живет там семь тысяч человек. Живут они по старинке: общественное мнение для них — высший закон; духовенство пользуется неоспоримым влиянием; родителям повинуются и уважают их так, как нигде. Всякое ухаживание прекращается в десять часов вечера, и без согласия родителей ни одна девушка не решится даже пойти гулять со своим возлюбленным.

Молодые люди часто отправляются в море, разгульная портовая жизнь засоряет их души; однако, возвращаясь после своих путешествий, они снова ведут строгую, воздержанную жизнь, ухаживают до десяти часов вечера, каждое воскресенье бывают в церкви и слушают проповедника, а дома выслушивают знакомые с детства строгие наставления. Эти моряки-скитальцы знавали за морем немало женщин, однако никто из них никогда не привозил себе жен из-за границы.

Единственным исключением был школьный учитель, осрамившийся тем, что взял себе жену за полмили, по ту сторону «воды». Ему этого так и не простили до самой смерти. Когда он умер, жена его вернулась к своим родным, жившим на том берегу, — и пятно на гербе острова Мак-Гилл таким образом было смыто. Обычно кончалось тем, что моряки женились на девушках своего родного острова, начинали вести строгую и честную жизнь и становились образцами тех добродетелей, которыми славился остров.

Остров Мак-Гилл не имел истории. Он не мог похвастаться ни одним происшествием, которое было бы достойно попасть на страницы истории. На острове никогда не было ни революционных выступлений, ни заговоров, ни аграрных беспорядков. Там был только один случай лишения владения, и то чисто формальный — просто опыт, произведенный владельцем по совету адвоката.

У острова Мак-Гилл не было летописи. История шла мимо него. Он исправно платил подати, признавал своих коронованных повелителей и держался в стороне от всего мира; взамен он требовал только одного: чтобы и мир оставил его в покое. Вселенная делилась на две части — на остров Мак-Гилл и на весь остальной мир. Все,

что не было островом Мак-Гилл, было чуждым и даже варварским; все жители это знали, да и не могли не знать. Их соотечественники-мореходы достаточно хорошо изучили другие безбожные страны.

В первый раз в жизни я услышал об острове Мак-Гилл от шкипера пароходика из Глазго, на котором я ехал в качестве пассажира из Коломбо в Рангун; этот же шкипер снабдил меня письмом к некоей миссис Росс, вдове капитана, жившей с дочерью и двумя сыновьями — тоже капитанами, бывшими в то время на море. Миссис Росс не сдавала комнат, но благодаря письму шкипера мне удалось у нее поселиться. Однажды вечером, после моей встречи с Маргарет Хэнен, я заговорил о ней с миссис Росс и сразу понял, что напал на нечто действительно весьма таинственное.

Миссис Росс, подобно всем остальным жителям острова, сначала не хотела говорить со мной о Маргарет Хэнен. Однако она все же сообщила мне, что Маргарет Хэнен была некогда первой красавицей на острове. Будучи дочерью весьма зажиточного фермера, она вышла замуж за некоего Томаса Хэнена, человека вполне обеспеченного и независимого. Ей совсем не приходилось исполнять тяжелую работу. Кроме

домашнего хозяйства, она ничем не занималась и, не в пример своим соотечественницам, никогда не работала в поле.

— А что случилось с ее детьми? — спросил я.

— Двое ее сыновей — Джэми и Тимоти — женаты и плавают в море. Джэми принадлежит большой дом рядом с почтой. Незамужние дочери живут вместе с ними.

— А остальные умерли?

— Сэмюэлы? — спросила Клара с оттенком иронии в голосе.

Клара была дочерью миссис Росс. Это была молодая красивая женщина с превосходной фигурой и чудесными черными глазами.

— Ты чего усмехаешься? — с упреком сказала мать.

— Почему Сэмюэлы? — спросил я. — Я не понимаю.

— Так звали четырех ее умерших сыновей.

— Как! Их всех звали Сэмюэлами?

— Да.

— Странно! — заметил я при всеобщем молчании.

— Да, очень странно, — подтвердила миссис Росс, продолжая вязать шерстяную фуфайку, лежавшую у нее на коленях. Она постоянно вязала

эти фуфайки для своих сыновей-шкиперов.

— Так неужели только Сэмюэлы умерли? — продолжал я, пытаясь поддержать этот разговор.

— Остальные живы до сих пор, — отвечала она. — Отличное семейство. Лучшего не найти на всем острове. И моряков таких никогда не было на острове. Пастор всегда ставил их всем в пример. Да и о девушках нельзя сказать ничего дурного.

— Но как же они решились покинуть ее одну на старости лет? — заметил я. — Как же ее родные дети не позаботятся о ней? Она живет совсем одна. Неужели они не могут помочь ей в работе?

— Нет. И это продолжается уже двадцать один год. Но она сама в этом виновата. Она всех их выгнала из дому, а старого Томаса Хэнена, который был ее мужем, вогнала в гроб.

— Пила? — рискнул я спросить.

Миссис Росс с презрением покачала головой: такая слабость не была знакома жителям острова.

Наступило молчание, в продолжение которого миссис Росс упорно вязала и оторвалась на миг от вязанья лишь для того, чтобы кивком разрешить молодому штурману парусной шхуны, жениху Клары, пойти погулять с ее дочерью. Я в это время рассматривал страусовые яйца, висевшие в

углу подобно гигантским плодам. На каждом был грубо намалеван морской пейзаж — бурное море, по которому плыли суда с надутыми парусами, причем отсутствие перспективы искупалось точным соблюдением разных технических подробностей. На камине стояли две огромные раковины с резьбой, исполненной терпеливыми руками преступников из Новой Каледонии. Посередине каминной полки помещалось чучело райской птицы, а по всей комнате были разбросаны огромные раковины Южных морей; хрупкие кораллы особой породы «пи-пи» хранились под стеклом; тут были каменные топоры из Новой Гвинеи, большие вышитые кисеты из Аляски с изображением всевозможных геральдических рисунков, бумеранги из Австралии, модели судов в стеклянных банках, чашка для «Кай-кай» людоедов с Маркизских островов, резные китайские и индийские шкатулки с перламутровыми и деревянными инкрустациями.

Глядя на эти трофеи, привезенные сыновьями-моряками, я размышлял о тайне Маргарет Хэнен, вогнавшей в гроб своего мужа и покинутой собственными детьми. Она не пила. В чем же дело? Может быть, причиной была жестокость или какая-нибудь неслыханная измена? Или, может

быть, страшное преступление — из тех, которые подчас случаются в деревнях?

Я по очереди высказал свои догадки, но миссис Росс отрицательно качала головой.

— Не в том дело, — сказала она. — Маргарет была честной женой и хорошей матерью. Я уверена, что она никогда и мухи не обидела. Она отлично воспитала своих детей и держала их в страхе божием. Вся беда в том, что она свихнулась — стала форменной дурой, — и миссис Росс многозначительно постучала себе по лбу.

— Но я разговаривал с ней сегодня утром, — заметил я, — по-моему, напротив, она очень не глупая женщина, а для своих лет замечательно толковая.

— Все это так, — спокойно подтвердила она, — я про это и не говорю. Я говорю о ее диком, преступном упрямстве. Более упрямой женщины еще не видел свет. И все это из-за Сэмюэла. Так звали ее младшего и, говорят, любимого брата, покончившего с собой из-за ошибки пастора, не зарегистрировавшего в Дублине новой церкви. Ясно было, что имя это приносит несчастье, но она и слышать об этом не хотела. Сколько было об этом толков, когда она назвала Сэмюэлом своего старшего ребенка, того самого, который

умер от крупа. И что же! Когда родился второй, она опять назвала его Сэмюэлом. Трех лет отроду он свалился в кипящий котел и сварился. И все это из-за ее проклятого упрямства! Она во что бы то ни стало хотела иметь сына Сэмюэла. В результате у нее умерло четыре сына. После смерти первого ее мать валялась у нее в ногах и умоляла больше не называть мальчиков Сэмюэлами. Но ее невозможно было уговорить. Когда дело касалось Сэмюэлов, Маргарет Хэнен всегда поступала по-своему.

Она была помешана на этом имени. Все ее друзья и родные демонстративно ушли из ее дома, когда крестили второго сына — того, который сварился. Они удалились в ту минуту, когда пастор спросил, какое имя дать ребенку, и она ответила: «Сэмюэл». Они все встали и вышли из дому. Тетка Фанни, сестра ее матери, уходя, обернулась и сказала так, что все слышали: «Зачем она хочет погубить невинного малютку?» Пастор это слышал и тоже был недоволен, но, как он потом говорил моему Ларри, ничего не мог поделать. Она этого хотела, а нет закона, запрещающего матери называть сына по своему желанию.

И третьего сына она опять назвала Сэмюэлом. А когда он погиб в океане, она пошла против всех

законов природы и родила четвертого! Вы только подумайте! Ей было сорок семь лет. Родить в сорок семь лет! Вот был скандал!

На следующее утро Клара рассказала мне историю любимого брата Маргарет; в течение недели из разных расспросов я наконец восстановил трагическую историю Маргарет Хэнен. Сэмюэл Данди был ее младшим братом, и, по словам Клары, Маргарет не чаяла в нем души. Он был уже капитаном одного из парусников, когда ему вздумалось жениться на Агнес Хьюит, хрупкой и болезненной девушке, очень нежной и очень чувствительной. Их свадьба была первой в новой церкви; по прошествии двух недель Сэмюэлу пришлось распрощаться со своей молодой женой и отплыть в море на большой четырехмачтовой шхуне «Лохбэнк».

Роковая ошибка пастора произошла именно из-за этой новой церкви. Правда, один из старшин впоследствии объяснил, что это не было, собственно, его ошибкой, что виновата была консистория, управлявшая пятнадцатью церквами острова Мак-Гилл. Старая церковь совсем развалилась, ее нельзя было даже отремонтировать, а потому ее сломали и на старом фундаменте построили новую. Глядя на ее фундамент, имевший

форму корабельного киля, пастор, да и никто другой, не мог и вообразить, что новая церковь будет менее законной, чем старая.

— В течение первой недели, — рассказала мне Клара, — в новой церкви были обвенчаны три пары. Первыми обвенчались Сэмюэл Данди и Агнес Хьюит; потом Альберт Махан и Минни Дункан; в конце недели — Эдди Трой и Фло Мэкинтош, все молодые мужья — моряки.

Последний из них отправился в плавание через шесть недель, и никто не подозревал, какое несчастье готовит им судьба.

Очевидно, сам дьявол впутался в это дело. И то сказать — ему это было на руку. Свадьбы отпраздновали в мае, а через три месяца, как полагается, пастор представил дублинским властям свой отчет за треть года. Но в ответ пришло извещение, что церковь не утверждена законом, ибо не была своевременно зарегистрирована. Церковь сейчас же была узаконена путем регистрации, но не так просто было узаконить браки. Все три мужа плавали в море, а их жены… их жены-то вовсе не были их женами.

Священник не хотел смущать народ, продолжала Клара, и созвал совет, на котором было решено дождаться возвращения молодых людей.

И вот однажды, когда пастор крестил кого-то на дальнем конце острова, внезапно вернулся Альберт Махан, судно которого прибыло в Дублин. Священник узнал об этом в девять часов вечера, когда уже надевал свои ночные туфли и собирался ложиться спать. Он тотчас вскочил, велел заложить лошадь и помчался прямо к Альберту. Альберт ложился спать и уже стаскивал сапоги.

«Ступайте за мною, — кричит им пастор, — оба ступайте».

«С какой стати, — возражает Альберт, — я устал до смерти и хочу спать».

«Вам нужно законно обвенчаться», — говорит пастор.

Альберт мрачно посмотрел на него и говорит:

«Знаете что, пастор, я не люблю этаких шуток!» — а про себя думает: «Как это пастора угораздило так нализаться!»

«Разве мы не повенчаны?» — спрашивает Минни.

Пастор отрицательно качает головой.

«Разве я не миссис Махан?»

«Нет, — отвечает он, — вы только мисс Дункан».

«Да ведь вы же сами нас повенчали», — говорит она.

«И да и нет», — отвечает пастор.

Когда он, наконец, рассказал им, в чем дело, Альберт надел сапоги, и они отправились вместе с пастором, чтобы законно обвенчаться. Альберт Махан частенько говорил потом, что каждому доводилось два раза венчаться на острове Мак-Гилл.

Через шесть месяцев вернулся домой Эдди Трой, и его тоже обвенчали вторично. Но Сэмюэл Данди отправился в плавание на три года, и его судно не вернулось в срок. Как на грех у его жены на руках был двухлетний ребенок, ожидавший возвращения отца. Шли месяцы, бедная жена худела и страшно беспокоилась.

«Я думаю не о себе, — бывало, говорила она, — а об этом бедном малютке без отца. Кем он будет, если что-нибудь случится с Сэмюэлом».

Ллойд занес «Лохбэнк» в список погибших судов и перестал выплачивать его жене половину жалованья. Вопрос о законности ребенка так ее мучил, что когда была потеряна всякая надежда на возвращение Сэмюэла, она вместе с ребенком утопилась в озере. Но вот тут-то и начинается самое главное несчастье. «Лохбэнк» вовсе не погиб. Вследствие всяких неудач и бесконечных задержек он сделал такой крюк, какой приходит-

ся делать судам, быть может, раз в пятьдесят лет. Вот, вероятно, радовался при этом дьявол! Когда Сэмюэл вернулся и узнал ужасную новость, у него что-то случилось в мозгу и в сердце. На следующее утро его нашли на могиле жены и ребенка, где он пытался покончить жизнь самоубийством. Никто еще никогда так страшно не умирал на острове Мак-Гилл. Он плевал пастору в лицо, ругался и так кощунствовал перед смертью, что все окружающие дрожали от ужаса.

И все-таки, несмотря на это, Маргарет Хэнен назвала своего первого сына Сэмюэлом.

Ничем нельзя объяснить упрямство этой женщины. У нее была какая-то болезненная потребность назвать ребенка Сэмюэлом. Ее третий ребенок был, к счастью, девочкой, которую она назвала своим именем, но четвертый ребенок был опять мальчиком. Несмотря на все эти несчастья, она непременно решила назвать ребенка Сэмюэлом в честь рокового брата. Теперь все стали ее избегать даже в церкви. Мать Маргарет прямо сказала, что если та назовет ребенка этим проклятым именем, она никогда не будет с ней разговаривать. И старуха сдержала слово, хотя прожила еще тридцать лет. Пастор согласился окрестить ребенка каким угодно именем, кроме

Сэмюэла. Все другие пасторы на острове Мак-Гилл говорили то же самое. Маргарет Хэнен хотела даже подавать на них в суд, но потом взяла и отвезла ребенка в Белфаст; там его и окрестили Сэмюэлом.

Ничего плохого не случилось. Весь остров был поражен. Мальчишка рос и чувствовал себя превосходно. Учитель не мог им нахвалиться. К всеобщему удивлению, ребенок даже не хворал никакими детскими болезнями. У него не было ни кори, ни свинки, ни скарлатины. Он был абсолютно невосприимчив к болезням. У него никогда не болела голова, никогда не стреляло в ушах, у него на коже не было никогда ни одного чирья или прыщика. Он всех превзошел в учении и в атлетике. Он и ростом был выше всех своих сверстников.

Маргарет Хэнен торжествовала. Этот удивительный мальчик был ее сыном и вдобавок носил ее любимое имя. Все родные и знакомые, за исключением ее матери, помирились с ней и признали, что они ошибались, хотя некоторые старухи продолжали упорствовать и мрачно шушукались между собой за чашкой чая. Мальчик был слишком необыкновенный, чтобы долго жить, а кроме того, проклятие, несомненно, тя-

готело над ним. Молодежь стояла за Маргарет и смеялась над суевериями; но старые вороны продолжали каркать.

После этого родились другие дети. Пятым ребенком был опять мальчик, которого Маргарет назвала Джэми, а затем одна за другой родились три девочки — Элис, Сара, Нора; затем мальчик Тимоти и еще две девочки — Флоренс и Кэти. Кэти была одиннадцатой и последней. Маргарет Хэнен в тридцать пять лет на этом решила остановиться. Нужно сказать, что она верой и правдой послужила острову. У нее было девять здоровых детей. Все они быстро развивались. Маргарет казалось, что рок вполне удовлетворился гибелью двух ее мальчиков. У нее было девять детей, но один из них носил имя Сэмюэл.

Джэми решил стать моряком, не по своей, правда, воле, а потому, что на острове установился обычай отправлять младших сыновей в плавание, а старших — сажать на землю. Тимоти последовал примеру Джэми, и когда тот в первый раз принял командование пароходом, вышедшим из Кардиффа, Тимоти был младшим помощником на большом парусном судне. Но Сэмюэл не имел особенной склонности к оседлой жизни. Ферма мало его привлекала. Его братья стали

моряками не по склонности, а потому что это был единственный способ прокормить себя и семью; он же, который в этом не нуждался, завидовал им, когда они возвращались из плавания и, сидя у очага, рассказывали о своих приключениях и о чудесах далеких стран.

Сэмюэл сделался учителем, что вовсе не нравилось его отцу, и даже получил какую-то ученую степень, сдав экзамен в Белфасте. Когда старый учитель вышел в отставку, Сэмюэл занял его место. Тайком он продолжал изучать мореплавание, и старая Маргарет любила слушать, как он сбивал в теоретических навигационных вопросах своих братьев, хотя они уже достигли звания штурманов. Том Хэнен пришел в страшную ярость, когда Сэмюэл — школьный учитель, джентльмен и вдобавок наследник фермы — взял и отправился в плавание простым матросом на парусном судне. Маргарет твердо верила в счастливую звезду своего сына и в то, что все, что он ни делает, к лучшему. И в самом деле, Сэмюэл, бывший исключительным человеком во всех областях, и тут проявил себя в полном блеске: на свете не было еще моряка, который бы повышался на службе так быстро, как Сэмюэл. Проведя в море всего два года в качестве матроса, он был уже временно

произведен в младшие помощники. Это назначение он получил в одном из портов Западного побережья, славящегося своими лихорадками, и комиссия из шкиперов, экзаменовавшая его, должна была признать, что он знал по навигации больше, чем знали они сами. Через два года он отбыл из Ливерпуля штурманом на «Стэрри Грэйс», имея в кармане капитанский диплом. И вот тогда-то и произошло то событие, о котором уже в течение многих лет каркали старые вороны.

Его рассказал мне Гэвин Мак-Нэб, уроженец Мак-Гилла, служивший боцманом на «Стэрри Грэйс».

— Я очень хорошо все это помню, — говорил он. — Мы шли на восток, и разразилась ужасная буря. Сэмюэл Хэнен был превосходным моряком, другого такого я не видел в своей жизни. Я отлично помню выражение его лица в тот роковой день. Море бушевало, швыряя нашу шхуну, а капитан уже несколько дней пьянствовал у себя в каюте. В семь часов Хэнен поставил шхуну к ветру, не рискуя больше бороться с ураганом. В восемь часов, после утреннего чая, он снова вышел на мостик, а через полчаса туда же явился и капитан, вылупив глаза и еле держась на ногах.

Буря свирепствовала как никогда, а он стоял,

шатаясь, икая и разговаривая сам с собой.

«Клади руль!» — крикнул он вдруг рулевому.

«Помилуй вас Бог», — воскликнул младший помощник, стоявший рядом с ним. Но капитан продолжал бормотать что-то себе под нос. Вдруг он опять гаркнул рулевому во все горло:

«Клади руль, черт тебя дери! Оглох ты, что ли? Клади руль!»

Очевидно, пьяным везет, потому что иначе ничем нельзя объяснить, каким образом «Стэрри Грэйс» шел при такой погоде, не зачерпнув ни одного ведра воды, хотя нужно сказать, что помощники старались вовсю, а матросы носились как сумасшедшие. Капитан самодовольно хихикнул и отправился в каюту, чтобы хлопнуть еще виски. Он, очевидно, решил всех нас этим поразить, ибо самое большое судно не могло бы идти при такой буре. Я в жизни не видел ничего подобного. Нельзя даже вообразить, что творилось на море, а я ведь плаваю уже сорок лет, начав еще мальчишкой. Ей-богу, это было нечто неслыханное.

Младший помощник побледнел как смерть. Простояв на мостике полчаса, он спустился вниз и послал себе на смену Сэмюэла. Ах, какой моряк был этот Сэмюэл! Но даже он с трудом

выдерживал. Он глядел по сторонам и думал, что предпринять, и ничего не мог придумать. Прежде чем судно могло бы взять правильный курс, с него смыло бы всю команду и его разбило бы вдрызг. Ничего не оставалось, как продолжать идти дальше. Мы все равно знали, что всем нам пришла крышка и что если ветер усилится, всех нас смоет в море.

Я, кажется, сказал, что Бог послал эту бурю. Нет! Скорее ее накликал на нас сам дьявол. Я видал виды на своем веку, смею вас уверить, но я бы не хотел вторично пережить такую бурю. Никто не решался оставаться в каюте. На палубе тоже никого не осталось. Все матросы столпились на мостике и наблюдали, держась за что попало. Трое помощников стояли на корме, и только эта пьяная скотина капитан валялся внизу в каюте.

Вдруг я вижу, что на расстоянии мили от нас поднимается такая огромная волна, какой я никогда в жизни не видал. Трое помощников, стоявшие рядом со мной, тоже заметили ее приближение, и все мы начали молиться, чтобы она не обрушилась на нас. Но, очевидно, не так было угодно Богу. Перед самым носом судна волна вдруг взвилась чуть ли не до неба, подобно огромной горе, причем штурманы бросились в

разные стороны, второй и третий помощники полезли на бизань-мачту, но старший помощник — Сэмюэл Хэнен — ах, какой был храбрый человек! — кинулся к рулевым, чтобы помочь им. Он думал не о себе, а только о спасении судна.

Двое рулевых были привязаны к штурвалу, но он хотел заменить их на тот случай, если бы они погибли. И вот тут-то волна и обрушилась на нас. Мы, стоя на мостике, не могли видеть кормы, масса воды в тысячу тонн залила ее. Эта волна начисто смыла все и утащила всех за собой — и двух помощников, которые полезли на бизань-мачту, и Сэмюэла Хэнена, и двух рулевых у штурвала, и сам штурвал. Мы больше никогда не видели их. Судно наше стало кружиться волчком, утонули еще два матроса, бывшие с нами на мостике. Потом на корме мы нашли труп плотника, превращенного в какой-то кисель. У него не осталось ни одной целой косточки.

Тут-то и начинается самое удивительное, что свидетельствует о своеобразном героизме этой женщины. Маргарет Хэнен было сорок семь лет, когда она узнала о гибели Сэмюэла. И вот через некоторое время по острову Мак-Гилл распространился невероятный слух. Это было невероятно! Никто не хотел верить. Доктор Холл

фыркал, и все смеялись, словно это была просто-напросто остроумная шутка. Узнали, что сплетня исходит от Сары Дэк — служанки Хэнен, жившей в их доме. Все тотчас решили, что Сара Дэк просто врет, хотя сама она клялась и божилась, что все это правда. Кто-то решился даже спросить однажды самого Тома Хэнена, но тот только ругался и чертыхался в ответ.

Сплетня затихла на то время, когда весь остров был занят обсуждением гибели «Гренобля» в Китайском море. На «Гренобле» погибли все офицеры и весь экипаж, половина которого состояла из уроженцев Мак-Гилла. Но потом сплетня снова воскресла. Сара Дэк продолжала настаивать. Том Хэнен начал смотреть все мрачнее и мрачнее, и даже доктор Холл, побывав у Хэненов, перестал фыркать. Ну, тут уже весь остров встрепенулся, и у всех стали чесаться языки. Это было против всех законов божеских и человеческих. Никогда еще не было ничего подобного. Когда наступил срок и нельзя было уже сомневаться в правдивости показаний Сары Дэк, все в один голос решили, подобно боцману «Стэрри Грэйс», что тут не обошлось без черта. Сара Дэк рассказывала, между прочим, что Маргарет Хэнен была убеждена в том, что у нее родится мальчик.

«Я родила одиннадцать детей, — говорила она, — шестерых девочек и пятерых мальчиков. Во всем должен быть ровный счет. Шесть мальчиков и шесть девочек — вот вам и ровный счет. Я уверена, что у меня будет мальчик. Это так же несомненно, как то, что солнце встает каждое утро».

И действительно, родился мальчик, и притом какой-то удивительный. Доктор Холл восхищался его крепким и здоровым сложением и даже поместил статью в «Дублинском Медицинском Обозрении», где указывал, что это был самый интересный случай в его практике за последние несколько лет. Сара Дэк всем рассказывала о невероятном весе ребенка, и опять ей никто не верил, и все говорили, что она привирает. Но когда ее слова были подтверждены доктором Холлом, который сам взвешивал и осматривал ребенка, то жители Мак-Гилла поневоле прикусили язык и должны были уже верить всем слухам, которые распространяла Сара Дэк о росте и аппетите ребенка. И однажды Маргарет Хэнен снесла мальчика в Белфаст и назвала его при крещении Сэмюэлом.

— Это был не ребенок, а золото, — говорила мне Сара Дэк.

Я познакомился с Сарой Дэк, когда она была уже почтенной старушкой, лет шестидесяти, причем за ней закрепилась такая трагическая и необыкновенная репутация, что если бы ее язык болтал еще десятки лет, то и тогда она продолжала бы оставаться героиней всех местных кумушек.

— Да, не ребенок, а золото, — повторяла Сара Дэк. — Он никогда не капризничал, а сидел себе спокойно на солнышке, пока, бывало, не проголодается. А какой он был сильный! Он сжимал ручки, как взрослый мужчина. Через несколько часов после рождения он так схватил меня, что я закричала от боли. А какое у него было превосходное здоровье! Он спал, ел, рос и никому не мешал. Он ни разу никого не разбудил ночью, даже когда у него прорезывались зубки. А Маргарет носила его на руках и все говорила, что второго такого красавца нет во всем Соединенном Королевстве.

А как он рос! Как быстро он рос и как много ел! В год он был ростом с иного двухлетнего. Только в ходьбе и в разговоре он почему-то отставал. Ползал на четвереньках, издавал горлом какие-то звуки — и больше ничего. Это, конечно, можно было объяснить его чересчур быстрым ростом. А он все рос и становился все здоровее. Сам старый Хэнен удивлялся его силе и говорил,

что в Великобритании не найти другого такого мальчугана. Доктор Холл первый высказал одно подозрение, но тогда, помню, я и не подумала, чем это может кончиться. Я припоминаю, как он показывал маленькому Сэмми какие-то вещицы, производившие шум. Он подносил их ему к ушам, потом показывал издалека. Кончив свое исследование, доктор ушел, хмуря лоб и недовольно качая головой, словно ребенок был болен. Но я готова была поклясться, что он здоров; об этом свидетельствовали его быстрый рост и хороший аппетит. Доктор Холл не сказал Маргарет ни слова, и я никак не могла понять, что его огорчает.

Я хорошо помню, как маленький Сэмми в первый раз заговорил. Ему было всего два года, но ростом он был с пятилетнего ребенка и все ползал на четвереньках, никому не мешая и всегда довольный, если его часто кормили. Я как раз развешивала белье, вдруг он вылез на четвереньках, болтая головой и моргая от яркого солнца. И вот тут он заговорил. Я так испугалась, что едва не умерла; я сразу поняла, почему доктор Холл печально качал головой. Да, он заговорил. Смею вас уверить, что еще ни один ребенок на острове Мак-Гилл не говорил так громко. Я так и задрожала от ужаса. Маленький Сэмми вопил, он

выл, как осел, — да, именно, как осел. Он ревел так громко, весело и долго, что, казалось, у него лопнут легкие.

Сэмми был идиотом — ужасным, чудовищным идиотом, и доктор Холл сказал об этом Маргарет, после того как мальчик заговорил. Но мать не хотела ему верить. Она утверждала, что это обойдется, и приписывала все слишком быстрому росту.

— Подождите, — говорила она, — вы увидите.

Но старый Том Хэнен понял, в чем дело, и с тех пор его трудно было узнать. Он ненавидел это существо, не хотел даже касаться его, хотя когда-то любовался им целыми часами. Я часто видела, как он с ужасом смотрел на него из-за угла. А когда мальчик начинал реветь, старый Том затыкал себе уши и на него страшно и жалко было смотреть.

Как мальчуган ревел! Больше он ни на что не был способен, разве только на то, чтобы расти. Когда он был голоден, он начинал завывать и унять его можно было только пищей. Каждое утро он на четвереньках вылезал из дома, грелся на солнце и ревел. Из-за этого-то рева он и погиб в конце концов.

Я очень хорошо все это помню. Ему было всего

три года, хотя на вид ему можно было свободно дать все десять. А старый Том чувствовал себя хуже и хуже: ходит в поле за плугом и все разговаривает сам с собой, бормочет…

Я помню, как он сидел в тот день на скамейке у кухонной двери и прилаживал новую рукоятку к своему заступу. Вдруг выполз его ужасный сын и начал реветь, по обыкновению жмурясь от солнца. Я видела, как старый Том выпучил глаза и смотрел на чудовище, ревевшее перед ним, точно осел. Том не мог этого выдержать, и что-то стряслось с ним. Он вдруг вскочил и изо всех сил хватил чудовище рукояткой заступа по голове, и все бил и бил, словно это была бешеная собака. Затем он прямо отправился в конюшню и повесился там на перекладине. Ну, после этого я уже не могла оставаться у них и перешла к своей сестре, которая вышла за Джона Мартина и отлично живет.

Сидя на скамейке возле кухни, я поглядывал на Маргарет Хэнен, которая в это время прижимала табак в трубке заскорузлым пальцем и смотрела на поля, подернутые вечерним сумраком. На этой скамейке сидел и Том Хэнен в тот ужасный день его жизни. А Маргарет сидела на тех самых ступеньках, где грелся на солнце, мотал головой

и ревел страшный идиот. Мы беседовали с ней около часу, и она все время говорила с той медлительностью, которая так шла к ней: она словно созерцала вечность.

Я никак не мог понять, какими мотивами руководствовалось в своем упорстве это удивительное существо. Хотела ли она пострадать за правду? Или она втайне поклонялась какому-то неизвестному божеству? Может быть, она думала, что служит отвлеченной правде — высшей цели человека — в тот далекий день, когда назвала своего первенца Самуэлем. Или это было просто ослиное упрямство? Упорство кобылы с норовом? Тупое упрямство крестьянского ума? Или это было капризом? Фантазией? Была ли она безумной только в этой части своего рассудка, или, напротив, в ней жил дух Бруно[13]? Была ли она убеждена в своей логической последовательности? Хотела ли она воспротивиться глупому суеверию своих сограждан, или, наоборот, ею самой руководило суеверие, особого рода фатализм, альфой и омегой которого было старинное имя — Сэмюэл.

— Скажите, — говорила она мне, — неужели,

[13] notes: 13

Джордано Бруно — сожжен инквизицией в Риме за свои философские взгляды. *(Прим. ред.).*

если бы я назвала второго Сэмюэла Лэрри, он не сварился бы в котле с кипятком? Скажите, сэр, это останется между нами, — вы как будто образованный человек, — неужели имя играет какую-нибудь роль? Неужели я бы не стирала в тот день, если бы он был Лэрри или Майкл? Неужели кипяток не был бы кипятком, и неужели он не ошпарил бы ребенка, если бы его звали не Сэмюэлом, а иначе?

Я подтвердил правильность ее рассуждений, и она продолжала:

— Неужели имя может изменить предначертания Господа? Значит, мир управляется кем-то другим, а Бог — просто слабое капризное существо, которое решается изменять вечный ход вещей только потому, что какой-то червь — Маргарет Хэнен — назвала своего ребенка Сэмюэлом. Вот, например, мой сын Джэми не взял в свою команду какого-то Рушэн-Фэнна, говоря, что тот накличет на них бурю. Что это, по-вашему? Неужели Бог, создавший мир, будет слушаться какого-то вонючего Рушэн-Фэнна, сидящего где-то на борту грязной шхуны?

Я сказал, что она безусловно права, но она продолжала развивать свою мысль.

— Неужели Бог, который управляет движением

небесных светил и для могучих ног которого весь мир только подставка, — неужели вы думаете, что он может назло Маргарет Хэнен послать огромную волну, которая бы смыла ее сына у мыса Доброй Надежды только потому, что она назвала его Сэмюэлом?

— Но почему именно Сэмюэл?

— Не знаю. Так мне захотелось.

— Но почему вам этого хотелось?

— Да как же я могу вам на это ответить? Я думаю, никто в мире этого не знает. Разве можно ответить, почему или отчего? Мой Джэми, например, так любит сливки, что когда их нет, он, по его собственному выражению, готов проглотить язык. А Тимоти сливок в рот не берет. Я вот люблю слушать, как гремит гром, а моя Кэти во время грозы залезает под перину. Только Бог может знать, почему или отчего. Мы, смертные, этого не знаем. Довольно с нас того, что нам нравится или не нравится. Мне нравится — вот и все. А почему нравится, этого никто не может знать. Мне вот нравится имя Сэмюэл. Это чудесное имя, и в самом звуке есть что-то непостижимое и чарующее.

Сумерки сгущались, и я молча смотрел на прекрасный, пощаженный временем лоб Марга-

рет, на ее широко расставленные глаза, ясные и пронизывающие. Она встала, как бы давая мне понять, что пора уходить.

— Вам будет темно возвращаться, — сказала она. — Пожалуй, будет дождь.

— А что, Маргарет, — спросил я вдруг без всякой задней мысли, — вы никогда ни о чем не сожалеете?

Она посмотрела на меня внимательно.

— Мне жаль, что я не родила еще одного сына.

— И вы бы… — начал я.

— Да, конечно, — перебила она, — я бы дала ему то же имя.

Возвращаясь домой по темной дороге меж ивовых плетней, я думал о всех этих «почему» и повторял то громко, то тихо: «Сэмюэл». Я вслушивался в это сочетание звуков, бывшее причиной стольких трагедий в жизни Маргарет Хэнен. В этом звучании, в этом имени было что-то чарующее. Да, было!

Неслыханное нашествие

Раздор между Китаем и остальным миром достиг своей высшей точки в 1976 году. Пришлось из-за этого даже отложить празднование двухсотлетия американской свободы. И в других странах по той же причине спутались, смешались и были отложены на неопределенное время различные начинания.

Мир внезапно очнулся и сразу увидел грозящую ему опасность, а между тем уже в течение по крайней мере семидесяти лет все неприметно вело к этой трагической развязке. Корни события, взволновавшего теперь весь мир, уходили в далекое прошлое, к 1904 году.

В 1904 году была русско-японская война, и все историки тогда же отметили как событие первостепенной важности вступление Японии в число великих держав. Но особенно важно было пробуждение Китая. Это долгожданное событие наконец началось. Западные государства давно уже старались пробудить эту таинственную страну, но это им не удавалось. И в конце концов вследствие своего врожденного оптимизма, а также расового самомнения они решили, что

пробудить Китай — задача невыполнимая.

Но они упустили из виду одно очень важное обстоятельство: у них с Китаем не было общего языка; их процесс мышления был совершенно иной, чем у китайцев. Они никак не могли сговориться. Ум западных людей не мог глубоко проникнуть в психику китайцев и запутывался в ней, как в лабиринте. С другой стороны, и китайский ум не мог вполне постигнуть европейские мысли, натыкаясь на какую-то непроницаемую стену. Стеной был язык. Не было никакой возможности втолковать китайцу западные идеи. Китай продолжал крепко спать. Экономические достижения и прогресс Запада были для Китая закрытой книгой, и Запад не мог ему помочь раскрыть эту книгу.

Где-то в глубине сознания какой-нибудь европейской нации, — ну, скажем, англичан, — была способность возмущаться краткостью и невыразительностью саксонских слов; так же в глубине сознания китайцев таилась способность возмущаться сложностью иероглифов. Но китайский ум был равнодушен к коротким саксонским словам, так же как английский ум — к китайским иероглифам. Ум тех и других был соткан из совершенно различных материалов; потому-то

экономические достижения и прогресс Запада не могли рассеять сон Китая.

Но явилась Япония и в 1904 году победила Россию. Теперь японская раса стала каким-то парадоксом среди восточных народов. Удивительным образом Япония оказалась необычайно восприимчивой к западной культуре. Япония необыкновенно быстро восприняла западные идеи, переварила их и в несколько лет превратилась в могучую мировую державу. Никак нельзя объяснить, почему Япония так легко усвоила европейскую культуру; объяснить это столь же трудно, как биологический процесс в живом организме.

Разбив Великую Российскую Империю, Япония сама решила стать Великой Империей, она превратила Корею в свою житницу и колонию. Благодаря успешному ведению дипломатических переговоров она монополизировала Маньчжурию. Но Япония все еще была не удовлетворена. Она обратила свой взор на Китай — огромную страну с богатейшими залежами железа и каменного угля — этими основами промышленности и цивилизации. Помимо того, там был и другой великий промышленный фактор — труд.

Население Китая достигало четырехсот милли-

онов — четверти населения всего земного шара. Кроме того, китайцы были отличными рабочими, а фатализм их философии (или, если угодно, религии), их крепкие нервы могли сделать из них великолепных солдат, если только умело с ними обращаться. Нечего и говорить, что Япония прекрасно знала, как с ними следовало обращаться.

Но более всего благоприятствовало расовое родство. Извечная тайна Китая, смущавшая западных людей, отнюдь не могла смутить японцев. Японцы понимали китайцев так, как никогда бы не могли научиться понимать их мы. Процесс их мышления был тот же, что у китайцев. Японцы мыслили теми же символами и пользовались для этого такими же мозговыми извилинами. Японцы с легкостью проникали в самую глубь китайского ума, тогда как мы при этом наталкивались на непреодолимые препятствия. Они обходили эти препятствия по неизвестным нам тропинкам и углублялись в такие дебри китайского ума, куда мы никак не могли следовать за ними. Японцы и китайцы были братьями. Много веков назад один из этих народов воспользовался письменностью, изобретенной другим, и когда-то в несказанно древнее время они отошли от одного общего монгольского корня. В них произо-

шли различные перемены, вызванные отчасти изменившимися условиями жизни, отчасти — примесью чужой крови. Но где-то в глубине своих сердец они продолжали носить общерасовое наследие, которое не могло уничтожить даже время. Итак, японцы решили приняться за Китай. В течение нескольких лет непосредственно после русско-японской войны японские агенты наводнили Китай. Они проникали за тысячи верст дальше всяких миссий под видом странствующих торговцев или буддийских проповедников. Эти шпионы, в основном инженеры, тщательно вычисляли и записывали силу каждого водопада, отмечая места для устройства заводов; они изучали горные высоты и ущелья, определяли стратегические преимущества и недостатки местности, записывали количество скота в деревнях, а также количество людей, которых можно было мобилизовать в данном округе для принудительных работ. Никогда и нигде не было такой переписи, и ни один народ не мог ее произвести, кроме упорных, терпеливых и патриотически настроенных японцев.

В скором времени вся эта работа стала производиться явно. Японские офицеры реорганизовали китайскую пехоту. Инструкторы превратили

средневековых воинов в настоящих солдат двадцатого века, привыкших ко всем новейшим достижениям военной техники и во многом даже превосходивших солдат Запада. Японские инженеры развернули в Китае систему каналов, понастроили заводов, снабдили Империю телеграфами и телефонами и приступили к постройке железных дорог. Благодаря их энергии были открыты нефтяные источники Чупсана, железоносные горы Ван-Синга, медные залежи Чинчи; они же вырыли знаменитый газовый колодец в Воу-Вин, который до сих пор остается самым замечательным резервуаром натурального газа.

В Китайском Государственном Совете заседали японские эмиссары. Китайским государственным людям нашептывали в уши японские дипломаты. Им был обязан Китай своей политической реорганизацией. Они лишили влияния класс ученых, настроенный чрезвычайно реакционно, и на место ученых всюду поставили либеральных чиновников. В каждом китайском городе стали выходить газеты, которыми руководили японские редакторы, получавшие инструкции непосредственно из Токио. Благодаря этим газетам стали развиваться и научились либерально мыслить широкие круги китайского населения.

Китай наконец проснулся. То, что не удалось Западу, удалось Японии. Япония сумела преподнести Китаю западную культуру в форме, доступной его пониманию. Япония недавно сама удивила весь мир своим неожиданным пробуждением, но в ней было тогда всего сорок миллионов жителей. Пробуждение Китая с его четырехсотмиллионным населением произвело потрясающее впечатление. Китай был колоссом среди наций, и его голос вскоре стал уверенно и громко раздаваться во всех странах. Япония создала новый Китай, и гордые западные народы вынуждены были почтительно внимать ему.

Быстрый рост и успех Китая объяснялся, главным образом, необыкновенно высоким качеством труда. Китайцы — превосходные работники. Это их исконное качество. Никакие другие работники не могли сравниться с ними в ловкости. Работа для китайцев — как дыхание. Она была им так же необходима, как другим народам необходимы путешествия, войны и всевозможные авантюры. Свободу они понимали как доступ к орудиям производства. Обрабатывать почву и трудиться не покладая рук, — вот все, чего они требовали от жизни и от своих повелителей. И пробуждение Китая не только

открыло его народу свободный доступ к орудиям производства, но и научило его пользоваться этими орудиями наиболее совершенным образом.

Возродившийся Китай! Это было лишь первым шагом к его владычеству. Он проявил вдруг неожиданную гордость и стремление к самоопределению. Он начал волноваться под покровительством Японии, но волнение продолжалось недолго. По совету Японии, он прежде всего изгнал из Империи всех западных эмиссаров, инженеров, офицеров, коммерсантов и учителей. Затем он начал так же поступать и с представителями Японии. Японских государственных людей осыпали почестями и орденами, но отправили домой. Как некогда Япония разделалась с пробудившим ее Западом, так же теперь разделывался с ней Китай. Исполинский воспитанник поблагодарил Японию за все ее заботы и попечения, а затем вышвырнул ее за борт со всем багажом. Западные народы тихонько посмеивались. Радужные мечты японцев разлетелись как дым; Япония злилась, а Китай издевался над ней. Кровь самураев воспламенилась, засверкали мечи, и Япония начала воевать. Это случилось в 1922 году. В течение семи месяцев шли кровавые бои, после чего Япония, потерпев поражение,

должна была уйти на свои маленькие острова, потеряв Маньчжурию, Корею и Формозу. Япония перестала играть роль в мировой трагедии. После этого она стала заниматься только искусством, и весь мир долго восхищался красотой и изяществом ее художественных произведений.

Вопреки всяким опасениям, Китай не оказался воинственным, у него не было никаких наполеоновских амбиций, и он также стал мирно заниматься искусством. В конце концов все сошлись на том, что Китай опасен не как военное, а как торговое государство. Однако, как оказалось впоследствии, никто не предвидел истинной опасности. В Китае продолжала успешно развиваться машинная цивилизация. Вместо регулярной армии там была организована очень сильная и хорошо обученная милиция. Флот Китая был настолько мал, что служил посмешищем для всего мира, но Китай и не думал о расширении своего флота, его военные суда никогда не заходили в иностранные порты.

Настоящая опасность, которую таил в себе Китай, заключалась в его необыкновенной плодовитости. И тревога по этому поводу была поднята впервые в 1970 году. С некоторого времени все прилегавшие к Китаю земли стали

страдать от китайских переселенцев. Оказалось, что население Китая достигло уже пятисот миллионов; таким образом, со времени его пробуждения население возросло на сто миллионов. Бургальтер отметил чрезвычайно важный факт, что китайцев теперь больше, чем белых. Это можно проверить простым арифметическим расчетом. Он сложил количество населения Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Африки, Англии, Франции, Германии, Италии, Австралии, Европейской России, Скандинавии — в сумме получилось четыреста девяносто пять миллионов, и все-таки пятьсот миллионов населения Китая превосходили эту громадную цифру. Данные, собранные Бургальтером, обошли весь мир. И мир содрогнулся. В течение многих веков население Китая было неизменным. Его территория была насыщена людьми; другими словами, на его территории, принимая во внимание примитивные способы жизни и производства, умещалось предельное количество населения. Но после пробуждения его производственное могущество возросло до грандиозных размеров; теперь на той же самой территории могло вместиться гораздо больше населения. Одновременно деторождение стало

увеличиваться, а смертность — уменьшаться. Прежде, когда прирост населения был больше, чем государство могло выдержать, излишек населения просто вымирал от голода, но теперь, благодаря машинной цивилизации, жизнеспособность Китая чрезвычайно возросла, голод прекратился, и число жителей увеличивалось одновременно с ростом средств к существованию.

В этот переходный период своего развития китайцы не мечтали о завоеваниях. Они отнюдь не были империалистами. Они были трудолюбивы, бережливы и очень мирно настроены. На войну они смотрели как на неприятную необходимость, иногда совершенно неизбежную. И вот, пока западные народы дрались между собой и пускались в разные рискованные предприятия, китайцы спокойно работали возле своих машин и развивали промышленность. Но теперь население начинало переливаться, так сказать, через край и «заливать» прилегающие к Империи территории, причем происходило это с медлительностью и упорством движущегося глетчера.

После шума, поднятого книгой Бургальтера, Франция в 1970 году вздумала оказать сопротивление. Французский Индо-Китай был переполнен эмигрантами. Франция сказала: «Довольно», но

поток не останавливался. Тогда Франция сосредоточила на границе своих владений стотысячную армию. Но Китай выслал свою милицию — огромное войско в миллион штыков. За этой армией шли жены, дети и родственники, везя за собою багаж и образуя как бы вторую армию. Французские солдаты разлетелись как мухи. Китайские милиционеры вместе со своими семьями заняли французский Индо-Китай и расположились там с твердым намерением прожить несколько тысяч лет.

Франция схватилась за оружие. Она послала свои военные суда к берегам Китая. У Китая не было флота, он, как улитка, запрятался в свою раковину. Целый год Франция блокировала Китайское побережье и бомбардировала приморские города и селения, но Китай относился к этому равнодушно; он абсолютно не зависел от других стран и ни в чем не нуждался; он спокойно прислушивался к грохоту французских пушек и продолжал работать. Франция плакала, стонала, ломала в бессилии руки и взывала к другим нациям. Наконец она отправила карательную экспедицию, которая должна была пойти на Пекин. Это было отборное войско в двести пятьдесят тысяч человек — цвет французской армии.

Войско высадилось, не встретив никакого сопротивления, и двинулось в глубь страны. И никто его больше уже не увидел. Линия сообщений была прервана на второй день — ни один из солдат не вернулся, чтобы поведать о случившемся. Войско было проглочено огромной пастью Китая.

В течение следующих пяти лет Китай быстро расширялся по всем направлениям. Сиам сделался частью Империи. Несмотря на протесты Англии, китайцы заняли Бирму и Малайский полуостров. То же происходило и на южной границе Сибири, где китайские орды жестоко теснили Россию. Этот процесс был очень прост. Сначала шли китайские переселенцы (вернее, они уже находились здесь, постепенно перейдя границу Империи). Потом раздавался звон оружия, и всякое сопротивление сметалось огромной армией милиционеров, шедших в сопровождении своих семейств и везших за собой имущество. Они делались колонистами покоренных земель. Никогда еще в мире не было такого странного и в то же время действенного способа завоеваний.

Непал и Бутан также наполнились переселенцами, а вся Северная Индия снесена этим страшным живым наводнением. Бухара и Афганистан были также поглощены. Поток этот чувствовался

и в Персии, и в Туркестане, и в Центральной Азии. Как раз в это время Бургальтер проверил свои данные, и оказалось, что он ошибся. В Китае население должно было равняться семистам — восьмистам — никто не знает скольким — миллионам человек, быть может — даже миллиарду. «На каждого белого приходится два китайца», — заявил Бургальтер, и весь мир задрожал от ужаса. Рост народонаселения Китая начался с 1904 года. С тех пор там ни разу не было голода. Если считать, что население возрастало ежегодно на пять миллионов человек, то в течение семидесяти лет оно должно было возрасти на триста пятьдесят миллионов. Но кто мог это знать точно! Может быть, оно увеличивалось еще быстрее. Никто ничего не ведал об этой новой грозе двадцатого века — о старом Китае, возродившемся и ставшем таким плодовитым и воинственным. В 1975 году в Филадельфии был созван конгресс. Все западные страны и даже некоторые восточные послали на него своих представителей. Однако ничего существенного достигнуто не было. Говорили об установлении премии за деторождение. Но математики осмеяли это предложение, доказав, что китайцы слишком опередили всех в этом направлении. Невозможно было придумать никаких

реальных средств для того, чтобы справиться с Китаем. Державы взывали друг к другу и угрожали Китаю. Это было единственным достижением конгресса в Филадельфии. А китайцы смеялись над конгрессом. Вот что соизволил сказать Ли Тангфунг, действительный владыка, скрывавшийся за троном дракона:

— Какое дело Китаю до Комитета Наций, — сказал Ли Тангфунг, — мы — наиболее древняя, наиболее могучая и наиболее царственная нация. Мы должны исполнить свое предназначение. Очень жалко, что наши стремления идут вразрез со стремлениями всего остального мира, но что же делать! Вы много толковали о царственных расах и о наследии земли; на это мы можем ответить только одно — посмотрим! Вы не можете напасть на нас. Какое нам дело до вашего флота; мы знаем, что наш флот мал, но, видите ли, мы им пользуемся только для полицейских целей. Нам не нужно морей. Вся наша сила заключается в нашем населении, которое скоро достигнет миллиарда. Благодаря вам мы снабжены всем современным военным снаряжением. Посылайте ваш флот — мы даже не заметим его. Посылайте свои карательные экспедиции, но не забывайте об опыте Франции. Высадить полмиллиона

солдат на нашем берегу для вас равносильно разорению, а наши миллионы проглотят такую армию мгновенно. Посылайте миллион, посылайте пять миллионов — мы все равно их проглотим. Пуф! Это маленький кусочек, о котором не стоит разговаривать. Пусть Соединенные Штаты, как вы угрожаете, уничтожат те десять миллионов кули, которых мы высадили на вашем побережье. Ну, что ж, ведь это едва составляет половину нашего ежегодного прироста.

Так говорил Ли Тангфунг. Весь мир был потрясен его речью. Ли Тангфунг говорил правду. Не было никакого способа приостановить рост китайского населения. Теперь это население достигало миллиарда, но при ежегодном приросте в двадцать миллионов через двадцать пять лет оно должно было достигнуть полутора миллиардов — цифры населения всего земного шара в 1904 году.

И ничего нельзя с этим поделать. Не было такой плотины, которая могла бы остановить этот чудовищный поток. Воевать — бесполезно. Китай смеялся над блокадой. Он приветствовал нашествия. В его огромной пасти могли легко уместиться гости из всех стран мира. А между тем океан желтой жизни заливал почти всю Азию.

Китайцы насмехались, читая в газетах мудрые рассуждения западных ученых.

Но был один ученый, по имени Якоб Ланингдаль, на которого Китай не обратил должного внимания. В сущности говоря, он был ученым в самом широком смысле этого слова. Он был очень образован, но совершенно неизвестен и служил профессором в одной из нью-йоркских лабораторий Министерства здравоохранения.

Голова Якоба Ланингдаля мало чем отличалась от голов других людей, но в ней однажды зародилась гениальная идея. Голова эта оказалась также достаточно благоразумной, чтобы сохранить эту идею в секрете. Он не стал излагать ее в журнальной статье. Вместо этого он взял отпуск и 19 сентября 1975 года уехал в Вашингтон. Несмотря на поздний час, он прямо отправился в Белый дом, где ему была обещана аудиенция у президента. Он просидел у президента несколько часов. Содержание их разговора осталось тайной для всего мира. Но, в конце концов, мир вовсе и не интересовался Якобом Ланингдалем. На следующий день президент созвал Совет. На нем присутствовал и Якоб Ланингдаль. Результаты совещания хранились в строжайшей тайне. В тот же день Рафус Коудери, государственный секре-

тарь Соединенных Штатов, покинул Вашингтон и на следующий день рано утром отплыл в Англию. Тайна стала постепенно распространяться, но распространялась она только среди правителей. Не более шести человек в каждом государстве были посвящены в эту тайну. Тотчас же вслед за распространением тайны началась усиленная работа в доках, арсеналах и корабельных мастерских. Население Франции и Австрии насторожилось, но правительства так искренно уверяли народ, что готовится просто какое-то не подлежащее оглашению мероприятие, что волнения быстро прекратились.

То было время Великого Мира. Все страны сговорились не воевать между собою. Начались мобилизации армий в России, Германии, Италии, в Австрии, Греции и Турции. Затем началось движение на Восток. Все азиатские железные дороги были забиты поездами. Китай оставался спокойным — вот все, что было известно. Через некоторое время началось Великое Движение на морях. Флотилии военных судов двинулись из всех стран. Один флот следовал за другим, и все они группировались у берегов Китая. Во всех странах опустели порты. Приплыли к берегам Китая и таможенные суда, и буксирные пароходы,

и старые крейсеры, и броненосцы. Не довольствуясь этим, нации мобилизовали и торговый флот. По статистическим данным, в Китай было отправлено 58 640 торговых судов, снабженных прожекторами и скорострельными орудиями.

Китай улыбался и ждал. На его границе стояли миллионы европейских солдат и моряков. Китай мобилизовал армию в пять раз больше. То же самое он сделал и на побережье. Однако Китай вскоре призадумался. После всех этих необычайных подготовительных операций никакого нашествия как будто бы и не предполагалось. Китай не мог понять, в чем дело. На Великой Сибирской границе все было спокойно. И никто не бомбардировал приморских городов и селений. Никогда еще в истории не было такого грозного сборища флотов. У берегов Китая собрались флоты всех наций; бесчисленные суда днем и ночью бороздили воды океана, и тем не менее никто ничего не предпринимал. Неужели европейцы предполагали выгнать Китай из его раковины? — Китай улыбался. Неужели они думают взять его измором? — Китай снова улыбался.

Если бы читатель 1 мая 1976 года попал на улицы Пекина — города с населением в одиннадцать миллионов человек, — он был бы поражен инте-

ресным зрелищем. Он увидел бы толпы желтых людей, наводнившие все улицы, причем каждый человек, задрав голову, смотрел на небо. Высоко в воздухе можно было увидеть движущуюся точку, которая, судя по плавности движений, могла быть только аэропланом. С этого аэроплана, в то время как он летал взад и вперед над городом, падали странные, безобидные на вид снаряды, какие-то стеклянные трубки, которые разбивались на тысячи кусков. Но ничего смертоносного, по-видимому, эти трубки в себе не таили. Ничего особенного не произошло. Не было никаких взрывов. Правда, три китайца были убиты этими трубками, упавшими им на голову с такой огромной высоты. Но разве стоило говорить о трех убитых при ежегодном приросте в двадцать миллионов! Одна из трубочек упала перпендикулярно в фонтан, наполненный водой, и не разбилась. Хозяин дома извлек ее из воды. Сам он не решился ее вскрыть и понес ее начальнику квартала. За ним следовала толпа любопытных. Начальник квартала был храбрый человек. На глазах у всех он разбил трубку ударом своего чубука. Опять-таки ничего не произошло. Правда, те, кто стоял совсем близко, утверждали, будто из трубки вылетело несколько москитов. Толпа со

смехом разошлась.

Весь Китай, подобно Пекину, подвергся бомбардировке стеклянными трубочками. Маленькие аэропланы летали по всем направлениям, причем на аэропланах этих помещалось всего двое летчиков. Один правил машиной, а другой разбрасывал трубки. Если бы читатель снова заглянул в Пекин недель через шесть после описанных событий, он напрасно стал бы искать одиннадцатимиллионное население. Он нашел бы лишь жалкие остатки — всего несколько сот тысяч человек, а трупы остальных он увидел бы валяющимися на улицах, в домах, сваленными в груды на погребальные фургоны. Все остальное население ему пришлось бы искать на дорогах, в окрестностях столицы. Но и тут он повстречал бы лишь ничтожное количество живых людей, зато увидел бы горы трупов, — моровая язва, очевидно, успела нагнать убегавших. То, что случилось в Пекине, произошло и во всех остальных китайских городах. Мор свирепствовал повсюду. Это не была одна или две каких-нибудь болезни — это было множество ужасных эпидемий. Все разновидности смертельных заразных болезней носились по стране. Китайское правительство слишком поздно оценило всю грандиозность и

чудовищность этого предприятия, всю опасность этих маленьких аэропланов и безобидных на вид стеклянных трубочек.

Напрасно правительство выпускало воззвание за воззванием. Ничто не могло удержать от бегства одиннадцатимиллионное население Пекина и жителей других городов, стремившихся спастись от эпидемий и заражавших при этом всю страну. Врачи и санитары доблестно погибали на своем посту. Смерть-победительница издевалась над декретами императора и Ли Тангфунга. Она издевалась уже потому, что сам Ли Тангфунг умер на вторую неделю, а император, укрывшийся в своем дворце, умер на четвертую неделю.

Если бы свирепствовала какая-нибудь одна эпидемия, Китай сумел бы с ней справиться. Но что можно было поделать с целыми полчищами болезней? Тот, кто избегал оспы, умирал от скарлатины. Кого щадила желтая лихорадка, того убивала холера. А если иной железный организм оставался невосприимчивым к этим болезням, то его все равно подкашивала Черная Смерть, как принято называть бубонную чуму. Мириады бактерий и бацилл, культивированных в западных лабораториях и заключенных там в стеклянные трубочки, теперь носились по Китаю.

Организованной жизни больше не было. Правительство распалось. Всякие декреты и воззвания были бесполезны, ибо люди, подписывавшие их, умирали через минуту. Ничто не могло остановить бегство миллионов обезумевших людей. Они бежали из городов, наводняли страну — и всюду приносили смерть. Было жаркое лето — Якоб Ланингдаль сумел правильно выбрать время года, — и чума, ликуя, распространялась повсюду. О том, что происходило в Китае, можно было только предполагать, хотя кое-что рассказали немногие очевидцы, пережившие все эти ужасы. Всюду бродили одичавшие люди. Огромные армии, сосредоточенные на границах, быстро таяли. Все фермы были разграблены людьми, искавшими себе пропитания; нивы погибали, ибо некому было убирать их. О новых посевах никто и не думал. Замечательнее всего были попытки прорвать цепь и бежать из пределов Китая. Но огромные армии других народов никому не давали возможности спастись. Избиение обезумевших людей на границах носило массовый характер. Иногда иностранным войскам приходилось отступать на двадцать-тридцать миль, чтобы избежать заразы, распространяемой миллионами гниющих трупов.

Один раз чума вдруг перекинулась на немецкие и австрийские войска, сосредоточенные на границе Туркестана. Европейцы предвидели такой случай и заранее приняли все возможные меры к скорейшему прекращению эпидемии. Правда, погибло около шестидесяти тысяч солдат, но международный корпус врачей превосходно справился со своей задачей, и эпидемия была приостановлена. Примерно в это время ученые высказали предположение, что от смешения бацилл различных болезней зародилась новая бацилла невиданной еще силы. Первый высказал это предположение Вомберг. Он заразился сам и умер. Бацилла эта, наконец, была открыта и изучена Стевенсом, Хаценфельтом, Норманом и Линдерсом.

Таково было неслыханное нашествие на Китай. Для целого миллиарда людей не оставалось никакой надежды на спасение. Заключенные как бы в огромной покойницкой, наполненной гноящимися и разлагающимися трупами, люди могли только умирать. Некуда было бежать. И со стороны суши, и со стороны моря все выходы тщательно охранялись европейскими армиями. Семьдесят пять тысяч судов крейсировали возле берегов. Днем их дым застилал весь горизонт,

а ночью их прожекторы перебегали с места на место и не пропускали самой маленькой джонки. Попытки флотилии джонок прорвать цепь судов были бесполезны. Новейшие огнестрельные орудия удерживали дезорганизованные китайские массы, а чума вершила свое дело.

Старые способы войны теперь казались просто смешными. Все свелось к патрульной службе. Китай смеялся над войной до тех пор, пока с ней не познакомился. Это была война двадцатого века, война ученых и лабораторий, война Якоба Ланингдаля. Громаднейшие орудия весом в сотни тонн были ничто по сравнению с маленькими стеклянными трубочками, которые, подобно злым гениям, налетели на империю с миллиардным населением.

В течение всего лета 1976 года Китай представлял сущий ад. Нигде нельзя было избежать микроскопических снарядов, проникающих в самые сокровенные места. Миллионы трупов оставались непогребенными, а бактерии все размножались; к тому же в стране начал свирепствовать голод. Организмы, ослабев от голода, окончательно потеряли способность сопротивляться болезням. Люди сходили с ума, убивали и пожирали друг друга. Так погиб Китай.

Только в феврале, при установившейся холодной погоде, первые экспедиции решились проникнуть в глубь мертвой страны. Экспедиции эти были немногочисленны и состояли лишь из ученых и их телохранителей. Экспедиции вошли в Китай с разных сторон. Несмотря на все меры предосторожности, несколько врачей и солдат погибло. Но это не смутило остальных. Они увидели Китай, превратившийся в огромный пустырь, по которому бродили голодные собаки и чудом уцелевшие шайки разбойников. Их немедленно перебили. Никто не должен был остаться в живых. Затем началось оздоровление Китая. На это ушло пять лет и многомиллионные средства. После этого мир двинулся в Китай, но не по национальным зонам, как предлагал барон Альбрехт, а в смешанном порядке, согласно демократической американской программе. Это было грандиозное и очень успешное смешение разных народностей, начавших заселять Китай в 1987 году, — превосходный опыт перекрестного оплодотворения. Мы теперь уже знаем, к каким великим достижениям в области науки и искусства привел этот опыт.

В 1987 году Великий Мир был нарушен Францией и Германией, снова начавших свой старый спор об Эльзасе и Лотарингии. Надвигалась военная гроза, и 17 апреля в Копенгагене был созван конгресс. Представители всех наций, присутствовавшие на нем, торжественно поклялись друг другу никогда не прибегать к тем способам уничтожения врага, которые были применены при неслыханном нашествии на Китай.

Извлечено из книги Уолта Мэрвина «Этюды по всеобщей истории».

Встреча в хижине

Наплыв людей был невероятный — никогда я такого не видел. Тысяча собачьих упряжек неслась по льду. Их не было видно за дымом. Двое белых и один швед замерзли в ту ночь, и человек двенадцать застудили легкие. Но разве не видел я собственными глазами дна ямы? Оно было желто от золота, словно покрыто горчичным пластырем. Вот почему я сделал заявку на Юконе, и вот чем вызван был такой наплыв. А потом ничего из этого не вышло. Говорю вам — ничего. И я все еще не могу найти разгадку.

Рассказ Шорти.

Ухватившись одной рукой за шест, управляющий движением собак Джон Месснер удерживал сани на тропе. Другой рукой он тер себе щеки и нос; временами, когда их онемение чувствовалось сильнее, он тер еще чаще и крепче. На лоб его был надвинут козырек меховой шапки со спущенными наушниками. Остальная часть его лица была защищена густой бородой, по природе

своей темно-рыжей с золотыми отливами, а в настоящее время белой от инея.

Перед ним плелась свора из пяти собак, впряженная в тяжело нагруженные юконские сани. Постромки саней то и дело терлись о ноги Месснера, и на поворотах он вынужден был через них переступать. Делал он это очень неловко, — он слишком устал; то и дело задевал за веревки и спотыкался, а сани наезжали на него сзади.

Когда они наконец добрались до места, где тропа шла без изгибов и сани могли двигаться некоторое время без его помощи, он оставил шест висеть на привязи и онемевшей правой рукой стал усиленно о него колотить.

Надо было поддерживать кровообращение в этой руке, но вместе с тем не забывать носа и щек.

— Пожалуй, для езды слишком холодно, — сказал он. Говорил он громко, как люди, привыкшие к одиночеству. — Только безумец может ездить при такой температуре. Если сейчас не восемьдесят градусов ниже нуля, то уж наверное семьдесят девять.

Он достал часы и затем с трудом положил их обратно в карман толстой шерстяной куртки. Потом посмотрел на небо и окинул взглядом белую

полосу горизонта к югу.

— Двенадцать часов, — пробормотал он. — Чистое небо, и нет солнца.

Он шел молча около десяти минут, после чего прибавил, словно продолжая:

— Я проехал очень мало. И вообще слишком холодно, чтобы ездить.

Внезапно он заревел на собак: «Уоа!» и остановился. Его охватил панический страх за правую руку, и он начал снова усиленно колотить ею по шесту.

— Бедные вы, черти, — обратился он к собакам, которые грустно легли на лед, чтобы отдохнуть. Он говорил нескладно и прерывисто, продолжая бить по шесту онемевшей рукой. — Чем это вы провинились, что другое животное завладело вами, впрягло в упряжь, сломило ваши естественные наклонности и превратило во вьючных животных?

Он тер нос уже не задумчиво, а неистово, чтобы усилить кровообращение; затем снова погнал собак. Сани ехали по замерзшей поверхности большой реки. Она тянулась за ними широкой лентой, расстилавшейся на много миль и уходящей вдаль — в фантастическое нагромождение молчаливых снежных гор. Впереди река разделя-

лась на множество рукавов, которые окаймляли острова, вырастающие в ее русле. Острова были белы и молчаливы. Ни одно животное или насекомое не нарушало молчания. Ни одна птица не пролетела в замерзшем воздухе. Не слышно было никаких звуков и не видно признаков жилья.

Мир спал, и казалось, что это — сон смерти.

Мало-помалу Джон Месснер как будто сам начал приобщаться к равнодушию всего, что его окружало. Мороз все больше и больше подавлял его. Он шел с опущенной головой, апатичный, машинально потирая нос и щеки и изредка, когда можно было оставить сани без управления, ударяя рукой по шесту.

Но чуткость собак не дремала. Внезапно они остановились, обернувшись, и с серьезным вопрошающим видом уставились на хозяина. Их ресницы и морды были покрыты инеем, и сами они выглядели дряхлыми от усталости и холода.

Человек хотел было снова заставить их двинуться, но воздержался и, сделав усилие, посмотрел вокруг. Собаки остановились у проруби. Это была не естественная трещина во льду, а отверстие, старательно прорубленное сквозь три с половиной фута льда топором человека. Толстый ледяной слой показывал, что прорубью

уже долгое время никто не пользовался. Месснер продолжал оглядываться. Собаки показывали дорогу, повернувшись своим заиндевелым телом в сторону неясной тропинки в снегу, идущей от главного речного тракта к одному из островов.

— Хорошо, я знаю, что ноги у вас болят, — сказал он. — Я выясню. Не меньше вашего я хочу отдохнуть.

Он влез на берег и исчез. Собаки не ложились: держась на ногах, они напряженно ждали его возвращения. Он вернулся и впрягся в сани посредством особой веревки с ремнем, который перекинул себе через плечи. Он двинул собак направо и погнал их бегом вверх на берег. Тянуть было очень тяжело, но усталость как будто исчезла.

В своем усердии вынести сани они напрягали последние силы, пригибаясь к земле и издавая радостный визг. Когда какая-нибудь собака скользила или останавливалась, идущая за нею кусала ей зад. Человек же поощрял их и грозил и также напрягал силы, чтобы вывезти тяжелую ношу.

Они стремительно поднялись на берег, повернули направо и подъехали к маленькой бревенчатой хижине. Это был домик в одну комнату, размером в восемь на десять футов.

Он, по-видимому, был покинут обитателями. Месснер выпряг собак, разгрузил сани и занялся освоением хижины. Последний случайный ее житель оставил запас дров. Месснер поставил свою небольшую железную печь и зажег огонь. Он положил пять кусков сушеной сёмги для собак в печь для того, чтобы рыба оттаяла, а затем наполнил кофейник и котелок водой из проруби.

Выжидая, когда закипит вода, он наклонился над печью. Влага от его дыхания смерзлась в его бороде в сплошной кусок льда, который начал таять. Капли стекали на печь, шипели и превращались в пар. Он очищал бороду руками, извлекая мелкие куски льда и бросая их на пол, и был погружен в это занятие, когда на улице раздался громкий лай его собак, сопровождаемый рычанием и лаем чужой своры и звуком голосов. Вскоре в дверь постучали.

— Войдите, — глухо пробормотал Месснер, обсасывая лед со своих усов.

Дверь отворилась, и он увидел за облаками пара мужчину и женщину, остановившихся на пороге.

— Войдите, — повторил он кратко, — и закройте дверь.

Завеса из пара мешала ему разглядеть вошед-

ших. Нос, щеки и голова женщины были так плотно прикрыты, что виднелись только ее два черных глаза. Мужчина был гладко выбрит, за исключением усов, покрытых инеем до такой степени, что его рот не был виден.

— Мы хотели бы знать, нет ли здесь другой хижины, — сказал он, оглядывая голую комнату. — Мы думали, что эта пустая.

— Хижина это не моя, — ответил Месснер, — я набрел на нее только несколько минут назад. Входите, устраивайте ваш ночлег. Места хватит, и вам не нужно будет ставить вашу печь.

При звуке его голоса женщина быстро взглянула на него.

— Снимай шубу, — обратился к ней спутник. — Я разгружу сани и принесу воды, чтобы приготовить еду.

Месснер вынес оттаявшую сёмгу и покормил собак. Он должен был отделить их от своры чужих собак. Возвратившись в хижину, он увидел, что незнакомец уже разгрузил свои сани и принес воду. Котелок кипел. Он насыпал в него кофе, разбавил чашкой холодной воды и снял с печи. Затем положил оттаивать в печь несколько бисквитов из кислого теста и согрел горшок с бобами, который сварил накануне и вез целое

утро в мерзлом виде.

Сняв свою посуду с печи, чтобы пришельцы могли приступить к варке пищи, он, усевшись на своем постельном свертке, принялся за обед, разложенный на ящике с провизией. Между глотками он вел разговор о езде и собаках с незнакомцем, который наклонил голову над печкой и освобождал свои усы от засевшего в них льда. В хижине были две лежанки. Окончив прочищать свои усы, незнакомец бросил на одну из них свои постельные принадлежности.

— Мы будем спать здесь, — сказал он. — Если только вы не хотите занять эту лежанку. Вы пришли первый, значит, вам и выбирать.

— Занимайте, какую хотите, — ответил Месснер. — Обе лежанки одинаковы.

Он разложил свои постельные вещи на другой лежанке и сел на краю. Незнакомец сунул маленький складной ящик с медицинскими принадлежностями под одеяло так, чтобы тот мог служить подушкой.

— Вы врач? — спросил Месснер.

— Да, — был ответ. — Только могу вас уверить, что приехал я в Клондайк не для практики.

Женщина занялась варкой обеда, в то время как мужчина резал сало и подкладывал дрова в

печку. Внутренность хижины была слабо освещена, ибо свет проглядывал лишь через небольшое окно, сделанное из просаленной бумаги, и Джон Месснер не мог разглядеть женщину.

Впрочем, Месснер не особенно и старался это сделать. Казалось, он не интересуется ею. Но она изредка с любопытством посматривала в темный угол, где он сидел.

— О, это замечательная жизнь, — с восторгом сказал доктор, останавливаясь, чтобы поточить нож о печную трубу. — Больше всего мне нравится в ней эта борьба, этот физический труд. Все это так первобытно и так реально.

— Температура достаточно реальна, — засмеялся Месснер.

— Знаете ли вы точно, сколько сейчас градусов? — спросил доктор.

Тот покачал головой.

— Я скажу вам. Спиртовой термометр на санях показывает семьдесят четыре ниже нуля.

— Слишком холодно для езды, не правда ли?

— Это подлинное самоубийство, — вынес приговор врач. — Вы напрягаетесь, вы тяжело дышите, вбирая в легкие ледяной воздух. Легкие охлаждаются, и верхушки их замерзают. Ткани отмирают и вы начинаете кашлять сухим кашлем. В сле-

дующее лето вы умираете от воспаления легких, удивляясь, откуда оно могло взяться. Я останусь в этой хижине неделю, если только температура не поднимется по крайней мере до пятидесяти ниже нуля.

— Скажи-ка, Тэсс, — заговорил он минуту спустя, — не думаешь ты, что кофе достаточно уже прокипел?

Услышав женское имя, Джон Месснер внезапно насторожился. Он быстро на нее взглянул, и по лицу его мелькнула тень, как бы воскресший призрак давно забытой печали. Но тотчас же усилием воли он отогнал призрак. Его лицо было так же спокойно, как и раньше, хотя он оставался настороже и внутренне досадовал на слабое освещение, не позволявшее разглядеть лицо женщины.

Она машинально отставила кофейник, затем взглянула на Месснера. Тот уже овладел собой. Она увидела только человека, сидящего на краю лежанки и изучающего без особенного внимания носки своей обуви. В тот момент, когда она снова повернулась, чтобы заняться приготовлением пищи, он бросил на нее другой быстрый взгляд.

Глаза их на мгновение встретились, но он перевел взор на доктора, разглядывая его с еле

заметной усмешкой.

Она вынула свечу из ящика с провизией и зажгла. Для Месснера было достаточно одного взгляда на ее освещенное лицо. Хижина была мала, и в следующее мгновение она была рядом с ним. Она медленно подняла свечку к его лицу и пристально на него посмотрела, как будто боялась и вместе с тем хотела его узнать. Он спокойно улыбался.

— Что ты ищешь, Тэсс? — крикнул доктор.

— Шпильки, — ответила она, проходя мимо Месснера и делая вид, что отыскивает что-то в платяном мешке.

Они разложили обед на своем ящике и уселись на ящик Месснера — прямо против него. А Месснер растянулся на своей лежанке, подперев голову рукою. Было так тесно, что казалось, будто все трое сидят вместе за столом.

— Откуда вы едете? — спросил Месснер.

— Из Сан-Франциско, — ответил доктор. — Но я здесь уже два года.

— Я сам из Калифорнии, — сказал Месснер.

Женщина посмотрела на него умоляюще, но он улыбнулся и продолжал:

— Из Берклиевското университета, знаете?

— Да, вы похожи на ученого, — сказал доктор.

— Жалею об этом, — засмеялся Месснер в ответ, — я предпочел бы, чтобы меня приняли, например, за золотоискателя или погонщика собак.

— Он не более похож на профессора, чем ты на доктора, — заметила женщина.

— Благодарю вас, — сказал Месснер. Затем, обратившись к ее спутнику, спросил: — Между прочим, могу ли я узнать ваше имя?

— Хейторн, если вы мне поверите на слово. Я оставил визитные карточки вместе с цивилизацией.

— А это миссис Хейторн? — улыбнулся Месснер, слегка кланяясь ей.

Хейторн хотел спросить имя собеседника. Он уже раскрыл рот для вопроса, но Месснер продолжал:

— Кстати, доктор, быть может, вы сумеете удовлетворить мое любопытство. В академических кругах, года два-три назад, произошел скандал. Жена одного из профессоров английского языка, — простите мне этот легкомысленный рассказ, миссис Хейторн, — исчезла с каким-то доктором из Сан-Франциско, хотя я не помню его имени. Помните ли вы этот инцидент?

Хейторн кивнул головой:

— Да, в свое время это произвело большой шум. Его имя было Уомбл — Грехэм Уомбл. У него была громадная практика. Я был с ним немного знаком.

— Очень хотел бы знать, что с ними сталось? Быть может, вы что-нибудь слышали? Они не оставили никаких следов.

— Они очень ловко скрыли все следы. — Хейторн откашлялся. — Был слух, что они отправились в Южные моря и там погибли на торговом судне во время тайфуна.

— В первый раз об этом слышу, — сказал Месснер. — Вы помните этот случай, миссис Хейторн?

— Отлично, — отвечала она, и спокойный ее тон совершенно не вязался с лицом, искаженным гневом. Она отвернулась, чтобы Хейторн не заметил.

Тот снова хотел было спросить имя Месснера, но последний продолжал:

— Я слышал, что этот доктор Уомбл был очень красив и имел большой успех у женщин.

— Ну, во всяком случае эта история прикончила его, — проворчал Хейторн.

— А женщина была, кажется, очень сварлива. Я слышал в Беркли, что жизнь ее мужа была не

из приятных.

— Я ничего об этом не слышал, — возразил Хейторн. — В Сан-Франциско говорили совершенно другое.

— Женщина-мученица? Распятая на кресте замужества?..

Доктор утвердительно кивнул. Серые глаза Месснера казались сдержанно-любопытными. Он продолжал:

— Как и следовало ожидать, были две точки зрения. Живя в Беркли, я знал только одну сторону дела…

— Пожалуйста, еще кофе, — сказал Хейторн своей спутнице. Женщина наполнила его чашку и рассмеялась легким смехом.

— Вы сплетничаете, как две старые дамы.

— Это очень интересно, — улыбнулся ей Месснер и продолжал разговор с доктором.

— Муж, по-видимому, имел неважную репутацию в Сан-Франциско.

— Наоборот, он был педантичен, — выпалил Хейторн с несколько излишней горячностью, — маленький ученый сухарь, без единой капли красной крови в теле.

— Вы его знали?

— Нет, я никогда его не видел. Я не вращался в

университетских кругах.

— И опять одностороннее мнение, — заметил Месснер. — Хоть внешне он и не представлял собой ничего особенного, все-таки едва ли был так уж плох. Он принимал деятельное участие в студенческом спорте. И не лишен был некоторого таланта. Он написал однажды пьесу, имевшую крупный местный успех. А потом я слышал, что его должны были назначить заведующим секцией английского языка. Но произошел этот казус, и он вынужден был уехать. Это разрушило его карьеру — так по крайней мере казалось. Во всяком случае, мы считали, что он окончательно выбит из строя. Думали также, что он очень любит свою жену.

Хейторн закончил пить и, зажигая трубку, неясно пробормотал, что все это его мало интересует.

— Хорошо, что у них не было детей, — продолжал Месснер.

Хейторн взглянул на печь и сказал, надевая шапку и перчатки:

— Я пойду за дровами. Тогда можно будет снять обувь и расположиться поудобнее.

Дверь с шумом затворилась за ним. Целую минуту длилось молчание. Мужчина оставался в том же положении на кровати. Женщина сидела

на ящике, лицом к нему.

— Что вы собираетесь делать? — резко спросила она.

Месснер посмотрел на нее как будто с ленивой нерешительностью.

— Как вы думаете, что я должен сделать? Ничего театрального, надеюсь? Видите ли, я устал и окоченел от дороги, а эта лежанка очень удобна для отдыха.

Она кусала свою нижнюю губу, и видно было, что ей стоит большого труда сдержаться.

— Но… — начала она возбужденно, затем сжала кулаки и остановилась.

— Я надеюсь, вы не хотите, чтобы я убил мистера Хейторна? — сказал он мягко, почти умоляюще. — Это было бы очень грустно и, уверяю вас, совершенно не нужно.

— Но вы должны что-нибудь сделать! — воскликнула она.

— Наоборот, можно себе представить, что я ничего не должен сделать.

— Вы останетесь здесь?

Он кивнул.

Она взглянула с отчаянием вокруг и остановила взор на неразвернутом постельном свертке.

— Ночь приближается. Вы не можете здесь

остаться. Вы не можете! Я говорю вам: вы не можете!..

— Конечно, могу. Я мог бы вам напомнить, что первый нашел эту хижину — и вы мои гости.

Снова ее глаза оглядели комнату и остановились на второй кровати.

— Тогда мы должны уйти, — заявила она решительно.

— Это невозможно. У вас сухой, прерывистый кашель, — мистер Хейторн так профессионально его описал. Вы уже отчасти простудили себе легкие. Он — доктор и никогда не допустит этого.

— Тогда что же вы намереваетесь сделать? — тихо спросила она. В ее тоне была такая напряженность, что казалось, следует ждать незамедлительного взрыва.

Месснер смотрел на нее почти по-отечески: так много было в его взгляде сострадания.

— Дорогая Тереза, я уже сказал вам, что не знаю. Я еще об этом не думал.

— О! Вы сводите меня с ума! — Она вскочила на ноги в бессильном гневе. — Вы никогда не были таким!..

— Я весь был — мягкость и нежность, — согласился он. — Не поэтому ли вы меня оставили?

— Вы так изменились, вы так ужасно спокойны.

Вы пугаете меня. Я чувствую, что вы задумали что-то ужасное. Но что бы вы ни сделали, не делайте ничего безрассудного. Не выходите из себя.

— Я никогда больше не волнуюсь, — прервал он ее. — С тех пор, как вы ушли.

— Вы стали гораздо лучше, — ответила она.

Он усмехнулся.

— Пока я обдумываю, что должен сделать я, слушайте, что должны сделать вы. Вы должны сказать мистеру… Хейторну, кто я. От этого наше пребывание в хижине может стать более приятным, я бы сказал.

— Зачем вы последовали за мной в эту ужасную страну? — спросила она неожиданно.

— Не думайте, Тереза, что я приехал сюда искать вас. Подобными предположениями ваше самолюбие не должно обольщаться. Наша встреча — чистая случайность. Я бросил академическую жизнь и должен был куда-нибудь поехать. Откровенно говоря, я очутился в Клондайке, так как меньше всего рассчитывал здесь встретить вас.

В дверях раздался шум у замка, затем дверь открылась, и Хейторн вошел, неся охапку дров. При первом же звуке за дверью Тереза принялась убирать посуду. Хейторн снова вышел, чтобы

принести еще дров.

— Почему вы нас не представили друг другу? — спросил Месснер.

— Я скажу ему, — она гордо откинула голову. — Не думайте, что я боюсь.

— Я не помню случая, чтобы вы чего-нибудь боялись.

— И я не боюсь признаться в своей вине, — добавила она. И голос, и лицо ее стали мягче.

— Боюсь только, что исповедь ваша едва ли не будет преследовать корыстные цели.

— Я не хочу спорить, — сказала она с недовольным видом, но почти нежно. — Я скажу только, что не боюсь просить у вас прощения.

— Нечего прощать, Тереза. Я должен был бы вас благодарить. Правда, вначале я страдал. А затем вдруг понял, что счастлив, очень счастлив. Это было изумительнейшее открытие.

— Но что, если я вернусь к вам? — спросила она.

— Я был бы, — он посмотрел на нее с легкой усмешкой, — очень этим озадачен.

— Я — ваша жена. Вы не позаботились о разводе.

— Да, — сказал он задумчиво. — Я упустил это из виду. Это одно из первых дел, какие я должен

сделать.

Она подошла к нему и положила руку ему на плечо.

— Ты не хочешь меня, Джон? — Ее голос был мягок и ласков, и прикосновение ее руки обожгло его. — Если бы я сказала тебе, что сделала ошибку? Если бы я сказала, что очень несчастна? Да, я несчастна, я сделала ошибку.

Понемногу Месснером стал овладевать страх. Он чувствовал, что колеблется под этой легкой рукой, лежащей на его плече. Казалось, он терял почву, и все его прекрасное спокойствие исчезло. Она глядела на него влажными глазами, а он, казалось, тоже как будто таял. Он почувствовал, что стоит на краю пропасти и не может противиться силе, влекущей его в бездну.

— Я возвращаюсь к тебе, Джон. Я возвращаюсь сегодня, сейчас.

Как в кошмаре, он метался под ее рукой. Она говорила, и ему казалось, что он слышит нежные переливы песни Лорелей. Словно где-то заиграло фортепиано…

Она пыталась обнять его, но вдруг он вскочил, оттолкнул ее и отступил к двери. Он весь дрожал.

— Я не ручаюсь за себя! — крикнул он.

— Я говорила вам — не выходите из себя! — Она рассмеялась и приступила со спокойным видом к мытью посуды. — Успокойтесь. Вы мне не нужны. Я только играла вами. Я гораздо счастливее там, где сейчас нахожусь.

Но Месснер не поверил. Он вспомнил, с какой легкостью она меняет свое настроение. Он хорошо знает, что на самом деле она несчастна с тем — другим. И она признает свою ошибку! Эта мысль доставила ему удовлетворение. И вместе с тем он не хотел возвращения жены. Его рука опустилась на дверную ручку.

— Не убегайте, — смеялась она. — Я вас не укушу!

— Я не убегаю, — отвечал он с некоторым вызовом. Он натянул свои перчатки. — Я только иду за водой.

Он собрал пустые ведра и посуду и, открыв дверь, обернулся:

— Не забудьте, что вы должны сказать мистеру… Хейторну, кто я.

Месснер пробил лед, образовавшийся на проруби, и наполнил ведра. Но он медлил возвращаться в хижину. Оставив ведра на тропе, он начал шагать по ней. Шел быстро, чтобы не замерзнуть.

Мороз щипал и жег, словно огнем. Борода Мес-

снера была уже белой от инея, когда наконец нахмуренные его брови расправились и выражение решимости появилось у него на лице. Он обдумал свой план действий и не мог удержаться от улыбки при мысли об этом плане.

Ведра были уже подернуты легкой пленкой льда, когда он поднял их и пошел по направлению к хижине. Войдя, он увидел, что спутник Терезы ждет его, стоя у печи. Во всем его облике была какая-то нерешительность и неловкость. Месснер поставил на пол ведра с водой.

— Очень рад встретиться с вами, Грехэм Уомбл, — сказал он вежливо, как бы отвечая на представление.

Месснер не подал руки. Вомблю было очень не по себе. Он ощущал неловкость создавшегося положения и вместе с тем чувствовал к собеседнику ту ненависть, которую обычно обидчик питает к своей жертве.

— Так это вы — тот самый человек, — сказал Месснер вежливо, удивленным тоном. — Ну, хорошо. Видите ли, я действительно рад вас встретить. Мне было несколько любопытно знать, что Тереза в вас нашла — чем, так сказать, вы были привлекательны. Ну-ну!..

И он обмерил своего соперника с ног до головы,

как осматривают при покупке лошадь.

— Я представляю себе, что вы должны ко мне питать… — начал Уомбл.

— Не стоит упоминать об этом, — прервал его Месснер с преувеличенной любезностью. — Мне хочется знать, как вы нашли ее? Оказалась ли она такая, какой вы ее ждали встретить? Была ли ваша жизнь с тех пор счастливым сном?

— Нельзя ли без глупостей? — вмешалась Тереза.

— Я не могу не быть естественным.

— Но вы все-таки можете не тянуть, — резко сказал Уомбл. — Мы хотим знать, что вы хотите делать.

Месснер притворился беспомощным.

— Я положительно не знаю. Это одно из тех невозможных положений, из которых нет выхода.

— Мы трое не можем остаться на ночь в этой хижине.

Месснер кивнул утвердительно.

— Тогда кто-нибудь должен уйти, — продолжал Уомбл.

— Это тоже неопровержимо, — согласился Месснер. — Поскольку три тела не могут одновременно занимать одно и то же пространство,

кто-то должен уйти.

— И это будете вы, — угрожающе заявил Уомбл. — До ближайшего лагеря десять миль, но вы можете их сделать.

— Вот тут-то вы, пожалуй, и ошибаетесь, — возразил Месснер. — Почему же непременно я должен уйти? Ведь я первый нашел эту хижину.

— Но Тэсс не может выйти, — объяснил Уомбл. — Ее легкие простужены.

— Я согласен с вами. Она не может пройти десять миль по морозу. Она во всяком случае должна остаться.

— Тогда дело обстоит именно так, как я сказал, — заявил Уомбл.

Месснер кашлянул.

— Ваши легкие здоровы? Не правда ли? — спросил он.

— Да, но что же из этого?

Снова Месснер откашлялся и сказал, выговаривая слова с особой надуманной медлительностью:

— А из этого только то, что, как вы сами изволили рассуждать, нет никаких препятствий для вашего ухода и прогулки в десять миль по морозу.

Уомбл взглянул на Терезу и уловил в ее глазах

что-то вроде удовольствия.

— Ну? — спросил он ее.

Она колебалась, и он весь покраснел от ярости. Затем обратился к Месснеру.

— Довольно! Вы не можете здесь остаться!

— Нет, могу и останусь!

— Я не позволю вам. — Уомбл выпрямился.

— Все-таки я останусь.

— Я вас выброшу!

— Я вернусь!

Уомбл остановился на минуту.

— Имейте в виду, Месснер, если вы не уйдете, я вас побью. Здесь не Калифорния. Я вас изобью.

Месснер пожал плечами.

— Если вы это сделаете, я созову золотоискателей, и вас повесят на первом дереве. Вы сказали правильно, что здесь не Калифорния. Они простые люди — эти золотоискатели, и мне довольно будет показать им следы ваших ударов и заявить притязание на свою жену.

Женщина пыталась что-то сказать, но Уомбл в бешенстве повернулся к ней.

— Ты не вмешивайся.

Месснер, наоборот, обратился к ней с изысканной вежливостью:

— Пожалуйста, Тереза, не вмешивайтесь.

Но гнев и необходимость сдерживаться оказали свое действие. Она начала кашлять сухим, прерывистым кашлем; с налитым кровью лицом и рукой, прижатой к груди, она ждала, чтобы припадок прошел.

Уомбл мрачно посмотрел на нее, как бы измеряя степень ее болезни.

— Что-нибудь надо сделать, — сказал он. — Ее легкие не выдержат путешествия. Она не может двинуться, пока температура не поднимется. Но я ее не уступлю.

Месснер снова кашлянул, невнятно что-то пробурчал и затем сказал, как бы наполовину извиняясь:

— Я нуждаюсь в деньгах.

Лицо Уомбла тотчас же выразило презрение. Наконец-то его противник оказался подлее его!

— У вас полный мешок золотого песка, — продолжал Месснер. — Я видел, как вы снимали его с саней.

— Сколько вам надо? — спросил Уомбл презрительно.

— Я оценил бы ваш мешок в двадцать фунтов. Что бы вы сказали о четырех тысячах?

— Но это все, что у меня есть! — вырвалось у Уомбла.

— Вы имеете ее, — ответил Месснер, как бы утешая его. — Она должна этого стоить. Подумайте, что я отдаю. Это — разумная цена.

— Хорошо! — Уомбл бросился через комнату за мешком. — Хоть бы поскорее с вами развязаться, подлый змееныш!

— Ну, в этом вы ошибаетесь, — ответил Месснер с улыбкой. — С точки зрения этики, человек, который дает взятку, так же виновен, как тот, кто ее получает. Укрыватель так же дурен, как вор. Поэтому вам не следует в этом маленьком эпизоде воображать, что вы имеете какое-то моральное преимущество.

— К черту вашу этику! — крикнул Уомбл. — Идите сюда и проверьте вес золота. Я могу вас надуть.

И женщина, в бессильной ярости опираясь о лежанку, вынуждена была присутствовать при том, как ее самое — в желтых слитках и песке — взвешивали на весах. Последние были небольшого размера, и поэтому потребовалось несколько операций. Месснер с особой тщательностью проверял каждую кладку.

— В нем слишком много серебра, — заметил он, завязывая мешок с золотом. — Думаю, дадут не больше шестнадцати за унцию. Для вас сделка

очень выгодна, Уомбл!

Он любовно ощупал мешок и, как бы проявляя особое внимание к его ценности, отнес его в свои сани. Вернувшись, он собрал свою посуду и завернул постель. Когда сани были нагружены и визжащие собаки впряжены, он вернулся в хижину за перчатками.

— Прощайте, Тэсс, — сказал он, стоя в открытой двери.

Она повернулась к нему, пылая гневом, пытаясь что-то сказать, но не способная говорить от душившей ее злобы.

— Прощайте, Тэсс, — нежно повторил он.

— Негодяй! — удалось ей выговорить. Она отвернулась и бросилась на постель лицом вниз, рыдая и повторяя: — Негодяй! Негодяй!..

Джон Месснер тихо закрыл за собой дверь и, понукая собак, облегченно бросил последний взгляд на хижину. Он остановил сани у берега, около проруби. Там он вынул мешок с золотом и понес его к проруби. Он разбил лед кулаком и, развязав ремни зубами, высыпал содержимое мешка в воду. Река была неглубока в этом месте, и в свете сумерек он мог видеть желтое дно на глубине двух футов от поверхности. Сделав свое дело, он плюнул в воду.

Он направил собак по Юконской тропе. Визжа и пыхтя, они шли неохотно. Месснер шел за ними, держась за шест правой рукой и потирая левой щеки и нос. Изредка, на поворотах, он задевал о постромки и переступал веревку.

— Вперед, мои бедные, усталые звери! — кричал он. — Вперед!

Путь белого человека

Войдя в хижину старого Эббитса, я обратился к нему с обычным заявлением:

— Я пришел варить на твоем огне и спать эту ночь под твоей крышей.

Эббитс посмотрел на меня мутными и пустыми глазами; Зилла же встретила меня довольно кисло и презрительно ворча. Зилла была его женой и считалась самой злой и ядовитой старухой на всем Юконе.

Я бы ни за что у них не остановился, если бы мои собаки не так устали и будь только остальная часть деревни заселена. Но обитателей я нашел только в этой хижине и потому был вынужден именно в ней искать убежища.

Старый Эббитс то и дело словно пробуждался от своей умственной спячки. Тогда в его глазах зажигались проблески понимания. Несколько раз, даже во время приготовления моего ужина, он пытался гостеприимно узнать о моем здоровье, о числе и состоянии моих собак и о расстоянии, пройденном мною в этот день. Зилла же все более и более хмурилась и еще презрительней ворчала.

Нужно признаться, что у них не могло быть особенных оснований для веселья. Они лежали, скорчившись, у огня, и в этом положении, по-видимому, должны были оставаться до конца своей жизни. Они были дряхлы и беспомощны, страдали от ревматизма и голода. С завистью вдыхали они аромат жарившегося мяса. Они качались вперед и назад медленно и безнадежно, и через каждые пять минут Эббитс испускал тихий стон. Это был не столько стон страдания, сколько усталости от страдания. Он был подавлен бременем и мучительностью того, что называется жизнью, а еще больше подавлял его страх смерти. Он переживал вечную трагедию старости, потерявшей радость жизни и не приобретшей еще успокоения смерти.

Когда мое жаркое из лося зашипело на сковороде, я заметил, что ноздри старого Эббитса стали дрожать и раздуваться, по мере того как он ловил запах еды. Он перестал раскачиваться и стонать, и лицо его сделалось осмысленнее.

Наоборот, Зилла качалась все быстрее, и страдание ее прорвалось в ряде коротких резких возгласов. Мне пришло на ум, что их образ действия напоминает поведение голодных собак, и я не удивился бы, если бы у Зиллы вдруг появился

хвост и она стала бы им бить по полу — по-собачьи. Изредка Эббитс переставал раскачиваться, для того чтобы нагнуться вперед и приблизить свой трепещущий нос к источнику вкусового возбуждения.

Когда же я подал каждому из них тарелку жареного мяса, они стали жадно есть его, производя ртом громкие звуки; они чавкали изношенными зубами, не переставая бормотать. После этого я дал им по чашке горячего чая, и чавканье прекратилось. Стянутый рот Зиллы расправился, и она удовлетворенно вздохнула. Больше они уже не раскачивались и как будто впали в состояние тихой задумчивости. Глаза Эббитса увлажнились: знак сострадания к самому себе.

Они долго искали свои трубки, и это служило доказательством того, что они уже давно не имели табаку. Старик так сильно хотел курить, что впал в состояние беспомощности, и я должен был зажечь его трубку.

— Почему вы одни в деревне? — спросил я. — Поумирали остальные, что ли? Или у вас была повальная болезнь и вы одни остались в живых?

Старый Эббитс покачал головой:

— Нет, болезни не было. Деревня ушла на охоту. А мы слишком стары, наши ноги недостаточно

сильны, и мы не можем носить на спине поклажу. Вот мы и остаемся здесь и ждем, чтобы те, кто помоложе, вернулись с мясом.

— Что ж из того, если они вернутся с мясом? — резко спросила Зилла.

— Они могут принести много мяса, — проговорил он с надеждой.

— Хорошо, пусть будет много мяса, — продолжала она еще более резко. — Но разве это для нас? Нам, беззубым от старости, дадут грызть несколько костей. А жир, почки, языки — все это попадет в другие рты.

Эббитс опустил свою голову и тихо всхлипнул.

— Нет никого, кто охотился бы для нас, — крикнула она с ожесточением, обращаясь ко мне.

В ее словах как будто было обвинение, и я пожал плечами в знак того, что не виновен в этом неведомом, приписываемом мне преступлении.

— Знай же, белый человек, что это из-за твоего рода, из-за всех белых людей мой муж и я не имеем в старости мяса и сидим без табаку и в холоде!

— Нет, — возразил Эббитс серьезно, как бы желая восстановить справедливость. — Верно, что нас обидели, но белый человек не хотел нам зла.

— А где Моклан? — спросила она. — Где твой

сильный сын Моклан и рыба, которую он постоянно тебе приносил?

Старик покачал головой.

— И где Бидаршик, твой крепкий сын? Он был всегда могучим охотником и всегда приносил тебе добрый спинной жир и сладкие сушеные языки лося и карибу. Я не вижу теперь жира и сладких сушеных языков. Твой желудок целыми днями пуст, и тебя накормил человек дурного и лживого племени.

— Нет, — вмешался Эббитс, желая быть мне приятным. — Племя белого человека не лживое. Белый человек говорит правду. Белый человек всегда говорит правду. — Он остановился, подбирая слова, чтобы облечь свое мнение в более мягкую форму. — Но белый человек говорит правду по-разному. Сегодня — одну правду; завтра — говорит другую… Потому и нельзя понять его…

— Сегодня говорить одну правду, а завтра — другую — это значит лгать, — таков был приговор Зиллы.

— Никак нельзя понять белого человека, — настаивал Эббитс. Еда, чай и табак как будто вернули его к жизни, и он крепко цеплялся за мысли, проносящиеся в его мозгу, за ширмой

мутных от старости глаз. Он как-то даже выпрямился, перестал всхлипывать и голос его окреп.

Он обратился ко мне уже с достоинством и говорил, как равный с равным.

— Глаза белого человека открыты, — начал он, — белый человек все видит и много думает, и поэтому он очень умен. Но белый человек сегодня не похож на белого человека завтра, и потому никак нельзя его понять. И он поступает всегда по-разному. Индеец всегда поступает одинаково. Когда наступает зима, лось всегда спускается с высоких гор. Лосось появляется весной, когда лед уходит с реки. Всегда все совершается одинаково, и потому индеец знает и понимает. Но белый человек поступает по-разному, и индеец не знает и не понимает.

Табак очень хорошая вещь. Это то же, что пища для голодного. Сильного он делает сильней, и того, кто рассердился, заставляет забыть свой гнев. И потому табак имеет цену. Цена его очень большая. Индеец дает большого лосося за лист табаку и жует табак долгое время. Вкусен сок табака. Когда он течет в глотку человеку — хорошо. Что же делает белый человек? Что делает он, когда рот его полон табачного сока? Он выплевывает его на снег и этот сок пропадает! Любит

ли белый человек табак? Я не знаю. Но если он любит табак, почему он выплевывает его в снег? Это очень неразумно.

Он замолк, потянул трубку и, увидя, что она тухнет, передал Зилле. Ее губы, застывшие в насмешливой улыбке по адресу белого человека, плотно зажали трубку.

Не окончив рассказа, Эббитс, казалось, снова одряхлел. Я спросил:

— Что же твои сыновья Моклан и Бидаршик? Почему ты и твоя старуха остаетесь в старости без мяса?

Он очнулся как бы от сна и с усилием выпрямился.

— Нехорошо красть, — сказал он. — Когда собака крадет твое мясо, ты бьешь ее палкой. Таков закон. Человек установил его для собаки, и собака должна так жить, иначе палка причиняет боль. Когда человек берет твое мясо, или твою лодку, или твою жену, ты убиваешь того человека. Это закон, хороший закон. Нехорошо красть, и потому по закону укравший должен умереть. Всякий, кто нарушает закон, должен нести кару. Величайшая же кара — смерть.

— Но если ты убиваешь человека, то почему не убить собаку? — спросил я.

Старый Эббитс посмотрел на меня с ребяческим удивлением, а Зилла, словно отвечая на мой глупый вопрос, усмехнулась.

— Вот взгляд белого человека, — пробормотал Эббитс, как бы примиряясь с моим неразумением.

— Это безрассудство белого человека, — огрызнулась Зилла.

— Пусть в таком случае старый Эббитс научит белого человека разуму, — сказал я кротко.

— Собаку не убивают, потому что она должна тащить сани человека. Ни один человек не везет саней другого. Поэтому человека убивают.

— А! — заметил я.

— Это — закон, — продолжал старый Эббитс. — Теперь слушай, белый человек, я тебе расскажу про большую глупость. Есть один индеец, по имени Мобитс. Он украл у белого человека два фунта муки. Что же делает белый человек? Бьет ли он Мобитса? Нет. Убивает ли он его? Нет. Что же делает он с Мобитсом? Я скажу тебе, белый человек. У него есть дом. Он сажает туда Мобитса. Крыша дома хорошая. Стены толстые. Он зажигает огонь, чтобы Мобитсу было тепло. Он дает Мобитсу много пищи. И пища хорошая. Никогда за всю свою жизнь Мобитс не ел такой пищи. Дают свиное

сало, хлеб и бобы. И Мобитсу очень хорошо.

На двери большой замок, чтобы Мобитс не убежал. Это тоже глупость. Мобитс не убежит. Здесь отличная пища, теплые одеяла, жаркий огонь. Очень глупо бежать. Мобитс не глуп. Он остается в этом месте три месяца. Он украл два фунта муки. За это белый человек хорошо о нем позаботился. Мобитс съел много фунтов муки, много фунтов сахара, свиного сала, бобов. Мобитс пил много чаю. Через три месяца белый человек открывает дверь и говорит Мобитсу, что он должен уйти. Мобитс не хочет уходить. Он — как собака, которую долго кормили в одном месте. Он хочет там остаться, и белый человек должен его прогнать. После этого Мобитс вернулся в деревню и с тех пор очень растолстел. Вот что делает белый человек, и нельзя его понять. Это глупость, большая глупость.

— Но твои сыновья? — настаивал я. — Они сильные, а ты стар и голодаешь.

— Был Моклан, — начал Эббитс.

— Он был сильный человек, — прервала мать. — Он мог грести целый день и потом всю ночь без отдыха и пищи. Он знал все о ловле лососей.

— Был Моклан, — повторил Эббитс, не обращая

внимания на ее слова. — Весной он спустился с юношами по Юкону, чтобы торговать в форте Кэмбел. Там есть пост, где много товаров белых людей, и там есть торговец, по имени Джонс. Там же есть белый знахарь — тот, кого вы называете миссионером. Но около форта Кэмбел — опасная вода в том месте, где Юкон суживается, и вода течет быстро, и течение разделяется и снова соединяется. Там есть водоворот, и все время течение меняется. Моклан — мой сын, и потому он храбрый человек.

— Разве мой отец не был храбрым? — спросила Зилла.

— Твой отец был храбрым, — согласился Эббитс с таким видом, словно во что бы то ни стало хотел сохранять семейный мир. — Моклан — мой сын и твой сын и потому он храбрый. Может, из-за храбрости твоего отца Моклан был слишком смел. Когда много воды налито в котел, она переливается через край. И в Моклане слишком много было смелости, и она переливалась через край.

Юноши боятся опасного места у форта Кэмбел. Но Моклан не боится. Он громко смеется и пускается в самые опасные места. Но там, где сталкиваются встречные течения, лодка опрокидывается. Водоворот затягивает Моклана,

крутит его, тянет вниз, еще вниз — и больше его не видно.

— Ай-ай!.. — заплакала Зилла. — Он был ловок и умен, мой первенец.

— Я — отец Моклана, — сказал Эббитс, терпеливо выждав, пока женщина успокоится. — Я сажусь в лодку и еду в форт Кэмбел, чтобы получить долг.

— Долг? — прервал я. — Какой долг?

— У Джонса, главного торговца, — был ответ. — Таков закон, когда попадаешь в чужую страну.

Я покачал головой в знак непонимания, и Эббитс посмотрел на меня с сожалением. Зилла же, как всегда, презрительно фыркнула.

— Слушай, белый человек. В твоем лагере собака, которая кусается. Когда собака кусает человека, ты даешь этому человеку подарок, потому что ты сожалеешь и потому что это твоя собака. Так же, если в твоей стране опасная охота или опасная вода. Ты должен платить. Это справедливо. Это закон. Брат моего отца отправился в страну Танана и был там убит медведем. И разве племя Танана не заплатило моему отцу, не подарило ему много одеял и дорогих мехов? Это было справедливо. Это была дурная охота, и люди племени Танана заплатили.

Вот я, Эббитс, отправился к форту Кэмбел, чтобы получить долг. Джонс, главный торговец, посмотрел на меня и засмеялся. Он много смеялся и не хотел платить. Тогда я пошел к тому, которого вы называете миссионером, и рассказал ему про дурную воду и про долг. Но миссионер говорил о другом. Он говорил о том, куда ушел Моклан после своей смерти. Там большие костры, и если миссионер говорил правду, Моклану никогда больше не будет холодно. А потом миссионер говорил о том, куда я отправлюсь после смерти. И он говорил неправильные вещи. Он сказал, что я слеп. Это — ложь. Он сказал также, что я в великой темноте. Это — ложь. И я ответил: день и ночь приходят одинаково для всех, и в моей деревне нет больше темноты, чем в форте Кэмбел. Я также сказал, что темнота, свет и место, куда мы отправимся после смерти, — это одно; а уплатить за дурную воду — совсем другое. Тогда миссионер сильно рассердился и назвал меня нехорошими, темными именами и велел мне уйти. И я вернулся из форта Кэмбел, не получив платы. Моклан же умер, и в старости я остался без рыбы и мяса.

— Из-за белого человека, — сказала Зилла.

— Из-за белого человека, — согласился Эббитс. — Из-за белого человека вот что еще случи-

лось. У меня был сын Бидаршик. Белый человек с ним поступил совсем не так, как с Ямиканом. И прежде всего должен я тебе рассказать про Ямикана. Это был юноша нашей деревни, и ему случилось убить белого человека. Нехорошее дело — убить человека другого племени. Тогда всегда бывает беда. Но Ямикан убил белого человека не по своей вине. Ямикан всегда говорил мягкие слова и убегал от ссоры, как собака от палки. Но этот белый человек выпил много виски и ночью пришел в дом Ямикана и дрался с ним. Ямикан не мог убежать, и белый человек хотел его убить. Ямикан не хотел умереть и сам убил белого человека.

Тогда деревня наша очутилась в большой беде. Мы очень боялись, что придется много платить племени белого человека, и спрятали одеяла, и меха, и все наше имущество, как будто мы бедные люди и не можем много платить. Прошло много времени, и пришли белые люди. Это были солдаты, они взяли Ямикана с собою. Его мать громко кричала и сыпала себе пепел на голову. Она знала, что Ямикан умер, и вся деревня это знала и радовалась, что не нужно платить.

Это было весной, когда лед сошел с реки. Один год проходит, два года проходят. Снова вернулась

весна, и снова лед сошел с реки. И тогда Ямикан, который умер, вернулся к нам. Он был жив и очень растолстел, и мы узнаем, что он спал в тепле и имел много пищи. У него хорошая одежда, и он словно белый человек. Он стал мудрым и скоро сделался первым человеком деревни.

И он рассказал странные вещи про белых людей, о том, как он долго был с ними и совершил большое путешествие в их страну. Сперва белые солдаты везли его долгое время вниз по реке. Всю дорогу, до конца реки, везли они его, до того, где река впадает в большое озеро, — больше, чем земля, и широкое, как небо. Я не знал, что Юкон такая большая река, но Ямикан видел своими глазами. Я не думаю, что есть озеро больше, чем земля, и широкое, как небо, но Ямикан его видел. Он говорил также, что вода в озере соленая. Это удивительно и непонятно.

Но белый человек, наверное, сам знает про все эти чудеса, и я не буду утомлять его рассказом о них. Я только расскажу ему то, что случилось с Ямиканом. Белые люди очень хорошо кормили Ямикана. Ямикан все время ест и все время дают ему пищу. Белый человек живет в стране под солнцем, рассказывает Ямикан, где много тепла и на зверях только волосы, а не мех. И растут

большие зеленые растения, и становятся они мукой, бобами и картофелем. И там, под солнцем, никогда не бывает голода. Там всегда много пищи. Я про это не знаю. Так говорил Ямикан.

И странно то, что случилось с Ямиканом. Ни один белый человек не сделал ему зла. Они дали ему теплую постель на ночь и много хорошей пищи. Они повезли его через Соленое озеро, величиной с небо. Он ехал на огненной лодке белых, которую вы называете пароходом. Только лодка эта в двадцать раз больше, чем пароход на Юконе. Лодка эта сделана из железа — и все-таки не тонет. Я этого не понимаю, но Ямикан сказал: «Я ехал на железной лодке и смотри — я все еще жив». Это была военная лодка белых людей, и на ней было много белых солдат.

Долго они плыли, и наконец Ямикан приехал в страну, где нет снега. Я не могу поверить этому. Не может же быть, чтобы зимой не было снега. Но Ямикан видел. Я расспрашивал и белых людей, и они сказали: «Да, в этой стране нет снега!» Но я не могу поверить и спрашиваю тебя, бывает ли когда-нибудь снег в этой стране? И я хотел бы узнать, как зовут эту страну. Я уже слышал ее имя, но хотел бы снова его услышать. Так я узнаю, правда то была или ложь.

Старый Эббитс посмотрел на меня вопросительно. Он хотел знать правду во что бы то ни стало. Он добивался правды, хотя ему и хотелось сохранить веру в чудо.

— Да, — ответил я. — Ты слышал истину. В этой стране нет снега, и она называется Калифорния.

— Ка-ли-фор-ни-я-я, — пробормотал он два или три раза, внимательно прислушиваясь к каждому слогу. Он кивнул головой в знак подтверждения. — Да, это та самая страна, о которой говорил Ямикан.

Я догадался, что случай с Ямиканом мог легко произойти в те дни, когда Аляска только-только перешла к Соединенным Штатам. За такое убийство в те времена, когда не было еще территориального закона и должностных лиц, могли судить в Соединенных Штатах — в Федеральном суде.

— Когда Ямикан прибыл в эту страну, где нет снега, — продолжал старый Эббитс, — его повели в большой дом. Там было много людей. Они долго разговаривали и задавали много вопросов Ямикану. Затем они заявили Ямикану, что ему не будут больше делать плохого. Ямикан не понимал, так как ему вообще не делали плохого. Они все время давали ему теплую постель и много еды.

Но после этого они дали ему еще лучшую пищу, дали ему денег и повели его в разные места в стране белых людей. Там он видел много чудес, которых не понять Эббитсу, — ведь он старик и никогда далеко не ездил. Через два года Ямикан вернулся в эту деревню и был в ней первым человеком и был мудрым, пока не умер.

Но прежде чем он умер, он часто сидел у моего костра и рассказывал про странные вещи, какие он видел, и мой сын Бидаршик сидел также у огня и слушал.

Раз ночью, после ухода Ямикана, Бидаршик встает во весь рост и, ударив себя в грудь кулаком, говорит: «Когда я буду мужчиной, я поеду в далекие места, в эту землю, где нет снега, и увижу все это собственными глазами».

— Бидаршик всегда путешествовал по далеким местам, — прервала его Зилла с гордостью.

— Это правда, — с серьезным видом согласился Эббитс. — И он всегда возвращался, чтобы сидеть у костра и мечтать о других, еще более неизвестных, далеких местах.

— Он всегда помнил Соленое озеро величиной с небо и страну под солнцем, где нет снега, — вставила Зилла.

— И он всегда говорил: «Когда у меня будет

сила взрослого мужчины, я пойду сам, чтобы убедиться в правде рассказов Ямикана», — сказал Эббитс.

— Но не было способа дойти до земли белых людей, — вставила Зилла.

— А разве не дошел он до Соленого озера величиной с небо? — спросил Эббитс.

— Но не было способа перейти через Соленое озеро, — ответила Зилла.

— Кроме как на железном пароходе белых людей, большем, чем двадцать пароходов на Юконе, — продолжал Эббитс и, нахмурившись, посмотрел на Зиллу, пытавшуюся снова что-то сказать, и заставил ее замолкнуть. — Но белые люди не позволили ему переехать Соленое озеро на пароходе, и он вернулся домой и продолжал сидеть у костра и по-прежнему томился тоской по стране под солнцем, где совсем нет снега.

— Но все же на Соленом озере он видел железный пароход, который не тонет, — не удержалась Зилла.

— Да, — подтвердил Эббитс. — И он увидел, что Ямикан рассказал правду. Не мог никак Бидаршик поехать в страну белых людей под солнцем, и он заболел и сделался дряхлым, как старик, и не уходил от костра.

— И он не касался больше мяса, поставленного перед ним, — заметила Зилла, — он качал головой и говорил: «Я хочу есть только пищу белых людей и растолстеть, как Ямикан».

— Да, он не ел мяса, — продолжал Эббитс. — И болезнь его становилась все сильнее и сильнее, и я боялся, чтобы он не умер. Это не тело его болело, а голова. Я, Эббитс, его отец, стал раздумывать. У меня нет больше сыновей, и я не хочу, чтобы Бидаршик умер. Это болит у него голова, и есть одно только средство вылечить ее. Бидаршик должен поехать через озеро величиной с небо в ту землю, где нет снега. Иначе он умрет. Я очень много думал и наконец придумал, как Бидаршику туда отправиться.

И вот раз вечером, когда он сидел у костра, в унынии, с опущенной головой, я сказал: «Мой сын, я уже знаю, как тебе можно отправиться в землю белых людей!» Он посмотрел на меня с радостным лицом. «Поезжай, — сказал я, — так же, как поехал Ямикан!» Но Бидаршик не понимает и снова уныл. «Пойди, — говорю я ему, — найди белого человека и так же, как Ямикан, убей его! Тогда придут белые солдаты и возьмут тебя, как они взяли Ямикана, и повезут тебя через Соленое озеро в землю белых людей. И так же, как Ями-

кан, ты вернешься очень толстый, мудрый и с глазами, полными удивительных вещей, какие ты там увидел».

И Бидаршик быстро поднялся и протянул руку за ружьем. «Куда идешь?» — спросил я. «Я иду убить белого человека», — ответил он. И я увидел, что слова мои достигли ушей Бидаршика и что он наконец выздоровеет. И я знал, что слова мои были хороши и разумны.

В это время в деревне находился белый человек. Он не искал золота в земле или мехов в лесу. Он все время искал букашек и мух. Почему он искал букашек и мух, раз он их не ел? Я не знаю. Я знаю только, что это был забавный белый человек. И он искал также птичьи яйца, но не ел этих яиц. Он вынимал все, что было внутри, и сохранял только одну скорлупу. Но скорлупу нельзя есть. И он не ел скорлупы, но клал ее в мягкие коробки, чтобы она не разбилась. Он ловил много маленьких птиц. Но он не ел и птиц. Он брал их кожу и клал в коробки. Любил он также и кости. Костей не едят. Этот странный человек больше всего любил очень старые кости, которые он выкапывал из земли.

Но он был не свирепый белый человек, и я знал, что он умрет очень спокойно. Поэтому я

сказал Бидаршику: «Мой сын, вот белый человек, которого ты можешь убить!»

Бидаршик же ответил, что мои слова мудры. Он пошел к месту, где были кости в земле. Он вырыл много таких костей и принес их в палатку странного белого человека. Белый человек был очень рад. Его лицо сияло, как солнце, и он улыбался, радостно глядя на кости. Он наклонился, чтобы хорошо их осмотреть, и в это время Бидаршик сильно ударил его топором по голове — р-раз! — и странный человек задергал ногами и умер. «Теперь, — сказал я Бидаршику, — придут белые солдаты и увезут тебя в землю под солнцем, где не бывает снега. Там ты будешь много есть и растолстеешь». И Бидаршик был счастлив. Его болезнь уже оставила его, и он сидел у костра и ждал прихода белых солдат.

— Как мог я знать, что белые люди поступают по-разному? — спросил старик, с яростью поворачиваясь ко мне. — Как знал я о том, что белый человек сегодня поступает не так, как вчера, а завтра не так, как сегодня? — Эббитс грустно наклонил голову. — Невозможно понять белого человека. Вчера он увез Ямикана в страну под солнцем и кормил его до отвала хорошей пищей. Сегодня он берет Бидаршика, и что же он с ним де-

лает? Позволь мне рассказать тебе, что он делает с Бидаршиком. Я, отец его, Эббитс, расскажу тебе. Он берет Бидаршика в форт Кэмбел и обвязывает веревку вокруг его шеи. И когда ноги его уже не касаются земли — Бидаршик умирает!

— А-а-а, — плакала Зилла. — И никогда не перешел он озера величиной с небо и не увидел земли под солнцем, где не бывает снега.

— И потому, — продолжал Эббитс с достоинством, — нет никого, кто бы охотился за мясом для меня, когда я стал стар. И я сижу голодный у моего костра и рассказываю это все белому человеку, который дал мне еду и крепкий чай и табак для моей трубки.

— Это все из-за лживого и дурного белого племени, — объявила Зилла.

— Нет, — ответил старик тихо, но твердо. — Это все из-за того, что белый человек поступает всегда по-разному и понять его нельзя.

Неожиданное

Замечать то, что очевидно, и не совершать неожиданных поступков — дело простое. Жизнь каждого отдельного человека — понятие скорее статическое, чем динамическое, и такая тенденция жизни индивида укрепляется и развивается цивилизацией. В последней преобладает обыденное, а необычайное случается редко. Когда же происходит неожиданное — а особенно если оно значительно, — существа неприспособленные погибают. Они не видят того, что не является обычным; поступать непривычным образом они не способны и не могут приладить свою жизнь к другим, новым условиям. Жизнь таких людей течет как бы по определенному руслу, и, достигнув его предела, они погибают.

И наоборот, есть люди, способные выжить во всех условиях. Это те, кто умеет приспособляться, уйти из-под власти обыденщины и приспособиться к любым необычным условиям, в каких, случайно или вынужденно, они могут очутиться. Такой была Эдит Витлси. Она родилась в сельской местности в Англии, где жизнь подчиняется заранее установленным правилам и все необычайное

настолько неожиданно, что представляется безнравственным. Она рано начала работать по найму и еще молодой женщиной поступила на должность горничной.

Цивилизация механизирует и всю окружающую жизнь. То, что нежелательно, устраняется, а неизбежное всегда бывает заранее известно. Можно защитить себя и от дождя и от мороза. Смерть же, вместо того чтобы быть явлением страшным и случайным, принимает характер заранее установленной церемонии, продвигая свои жертвы, словно по хорошо убитой колее, к семейному склепу. Металлические части последнего тщательно очищаются от ржавчины, и пыль вокруг заботливо сметается.

Такова была обстановка, окружавшая Эдит Витлси. Событий не было. Едва ли можно было счесть событием ее поездку. Ей было тогда двадцать пять лет, и ехала она, сопровождая свою хозяйку в Соединенные Штаты. Но это было просто изменением направления колеи — не больше, а колея все же оставалась и была по-прежнему хорошо укатана. Атлантический океан не имел возможности проявить себя каким-нибудь неожиданным образом, и пароход, на котором совершалось путешествие, был не

судном, брошенным в морские просторы, а громадным удобным отелем. Благодаря огромным размерам парохода двигались быстро и спокойно — океан словно превратился в тихий пруд. А там, при выходе на берег, опять их ждала хорошо укатанная колея, приводящая в пути к отелям на колесах, а на остановках — к комфортабельным гостиницам.

По приезде в Чикаго, в то время как ее хозяйке раскрывалась одна сторона жизни, Эдит Витлси узнавала другие ее стороны. И когда наконец она покинула свою службу и превратилась в Эдит Нелсон, она стала обнаруживать — правда, в слабой еще степени — свою способность бороться с необычайными явлениями жизни и выходить из борьбы победительницей. Ганс Нелсон, ее муж, швед по происхождению, был эмигрантом, столяром по профессии. Он проявлял то беспокойство тевтонской расы, которое гонит ее на Запад в поисках приключений. Это был крепкий мужчина с сильно развитыми мускулами; воображением обладал небольшим, зато инициативой — в избытке. Два его качества — честность и верность — были столь же ярко выражены, сколь и его огромная физическая сила.

— Когда я хорошенько поработаю и буду иметь

кое-какие сбережения, я поеду в Колорадо, — сказал он Эдит на следующий день после свадьбы.

Год спустя они очутились в Колорадо, где Ганс Нелсон впервые познакомился с работой на приисках и заболел горячкой золотоискателей. В погоне за золотом он проехал страну Дакотов, Айдахо и Восточный Орегон. Оттуда он пошел в горы Британской Колумбии. Эдит Нелсон все время была с ним — и в пути и на стоянках, — разделяя его удачу, его труды и лишения. Свои мелкие шажки женщины, воспитанной в городе, она променяла на уверенную походку горной жительницы. Она научилась смотреть в лицо опасности ясными глазами и с полным хладнокровием. Она перестала ощущать панический страх, порожденный незнанием и овладевающий в известные минуты городскими жителями. Страх этот делает людей столь же неразумными, как неразумны животные, которые, оцепенев от ужаса, ждут удара судьбы, вместо того чтобы бороться, либо слепо спасаются бегством.

Эдит Нелсон сталкивалась с неожиданностями на каждом шагу трудного пути золотоискателя. Она воспитала свое зрение так, чтобы видеть в окружающем не только то, что очевидно, но также и то, что скрыто от поверхностного взгляда.

Раньше она не имела понятия об искусстве приготовлять пищу и, несмотря на это, научилась делать хлеб без дрожжей и хмеля и умела печь его на сковороде над костром. Когда же исчезала последняя горсть муки и последний ломтик свиного сала, она оставалась на высоте положения и умела из мягких кусков кожи мокасин или дорожного мешка приготовить какое-то подобие пищи, годной, пожалуй, для того, чтобы обмануть желудок голодающего путника и поддержать его неровные шаги. Она научилась самому трудному искусству, недоступному городскому жителю, — искусству навьючивать лошадь и справлялась с любой поклажей. В проливной дождь она могла разжечь костер из сырых поленьев и сохранить хорошее расположение духа. Короче, она с честью выходила из всех неожиданных положений. Но Великое Неожиданное было для нее еще впереди — ей предстояло еще большое и решительное испытание.

Поток золотоискателей двигался в северном направлении. Ганс Нелсон и его жена были захвачены этим течением и увлечены в Клондайк. Конец 1897 года застал их в Дайе, но они не имели еще достаточно средств, чтобы приобрести нужное снаряжение и провезти его через Чиль-

кутский проход, а затем водой в Доусон. Поэтому Ганс Нелсон целую зиму работал плотником на сооружении городка золотоискателей в Скагуэй. Все это время в его душе звучал волнующий призыв Аляски. Больше всего привлекал его Лэтуйский залив. Наконец летом 1898 года он вместе с женой очутился в пути вдоль изломанной береговой линии. Они плыли в больших сивашских челнах. С ними было трое индейцев и три других золотоискателя. Индейцы высадили их, вместе со снаряжением и запасами, в пустынной местности, приблизительно в ста милях за Латуйским заливом, и вернулись в Скагуэ; три золотоискателя остались, ибо все вместе они составляли организованную партию. Каждый из них вложил долю в покупку снаряжения, и добычу предполагалось разделить поровну. А так как Эдит Нелсон приняла на себя приготовление пищи для всей партии, то ей также полагалась мужская доля добычи.

Прежде всего были срублены ели, и из них построили хижину в три комнаты. На Эдит было возложено ведение хозяйства. Искать золото — такова была задача мужчин. Правда, крупной добычи здесь не было. Долгие часы упорной работы давали каждому из участников в среднем

от пятнадцати до двадцати долларов в день. Короткое аляскинское лето длилось в этом году дольше, чем обычно, и они пользовались этим, откладывая свое возвращение в Скагуэ до последней минуты. И в конце концов они опоздали. Предполагалось отправиться вместе с местными индейцами во время их — последней в этом году — торговой поездки на лодках к берегу моря. Индейцы-сиваши ждали белых людей до последней возможности и затем отправились одни.

Теперь партии золотоискателей оставалось ждать какой-нибудь оказии. А пока занялись очисткой своего участка и заготовкой дров к предстоящим холодам.

Все еще не кончалось индейское лето, а затем внезапно, как бы по трубному сигналу, наступила зима. Она пришла сразу, в одну ночь, и золотоискатели, проснувшись утром, увидели снежную, ревущую метель. Неистовый ветер дул порывами, изредка наступала тишина, нарушаемая только плеском волн на пустынном берегу, где соленые брызги ложились на песке, точно зимний снег.

В хижине все было благополучно. Золота добыли приблизительно на восемь тысяч долларов, и это не могло не давать им удовлетворения. Мужчины соорудили себе лыжи, ходили на охоту и

добывали свежее мясо для стола. А долгие вечера они проводили за бесконечной игрой в вист и в педро. И так как работа по добыванию золота кончилась, то Эдит Нелсон передала мужчинам заботу о топке печей и мытье посуды и занялась штопаньем их носков и починкой платья.

Не было ни недовольства, ни ссор в маленькой хижине, и обитатели ее часто выражали свою радость по поводу счастливой совместной жизни. Ганс Нелсон отличался добродушием. Он безгранично восхищался способностью Эдит ладить с людьми. Харки, длинный и худой американец из Техаса, был очень миролюбив, несмотря на свою природную угрюмость. Он был прекрасным товарищем, если только не возражали против его любимой теории, что золото обладает способностью расти. Четвертый член компании, Майкл Деннин, оживлял общество своим ирландским остроумием. Это был крупный мужчина, могучего сложения, вспыльчивый по пустякам, но способный переносить большие невзгоды с неизменно веселым расположением духа. Пятый и последний участник, Дэтчи, веселил всю компанию. Для поддержания общего веселья он даже не прочь был самого себя выставить в смешном виде. Казалось, что он поставил целью своей жиз-

ни вызывать смех. Итак, ни одна серьезная ссора не омрачала спокойствия обитателей хижины; теперь, когда каждый из участников заработал в течение короткого лета тысячу шестьсот долларов, казалось, все они должны были быть довольны и настроены миролюбиво.

И вот тогда-то и случилось Неожиданное. Они только что уселись за стол для утреннего завтрака. И хотя было уже восемь часов — завтракали утром поздно, так как работа закончилась, — свеча, воткнутая в бутылку, еще освещала стол. Эдит и Ганс сидели друг против друга. С одной стороны, спиной к дверям, расположились Харки и Дэтчи. Место с другой оставалось незанятым. Деннина не было.

Ганс Нелсон посмотрел на пустое место, медленно покачал годовой и произнес с потугами на остроумие:

— Он всегда первый за столом. Это странно. Может быть, он болен?

— Где Майкл? — спросила Эдит.

— Он встал немного раньше нас и вышел, — ответил Харки.

Лицо Дэтчи сияло лукавой улыбкой. Он сделал вид, что знает причину отсутствия Деннина, и принял таинственный вид, в то время как его то-

варищи продолжали удивляться. Ганс посмотрел на Эдит, и она покачала головой.

— Он никогда раньше не опаздывал к столу, — заметила она.

— Ничего не понимаю, — сказал Ганс. — У него всегда был лошадиный аппетит.

— Очень жалко, — сказал Дэтчи, грустно кивнув.

Они стали шутить по поводу отсутствия товарища.

— Почему жалко? — спросили они хором.

— Бедный Майкл, — был печальный ответ.

— Разве что-нибудь случилось? — спросил Харки.

— Он уже не голоден, — простонал Дэтчи. — Он потерял аппетит. Эта еда ему больше не нравится.

— Что-то незаметно, когда он с головой уходит в тарелку, — заметил Харки.

— Он это делает исключительно из вежливости по отношению к миссис Нелсон, — живо возразил Дэтчи, — я знаю, я знаю, и мне его очень жалко. Почему его здесь нет? Потому что он вышел. Почему он вышел? Для того, чтобы нагулять себе аппетит. Чем он нагуливает себе аппетит? Тем, что ходит босиком по снегу. Разве я не знаю? Бога-

тые люди всегда таким образом гонятся за своим аппетитом, в то время как он от них убегает. У Майкла тысяча шестьсот долларов. Он — богатый человек. Он потерял аппетит. Поэтому он за ним гонится. Откройте дверь, и вы увидите его, идущего босиком по снегу. В этом вся его беда. Но когда он увидит свой аппетит, он его поймает и придет завтракать.

Всеобщим громким смехом прореагировали на болтовню Дэтчи. Звуки его еще не замерли, когда вошел Деннин. Все обернулись, чтобы посмотреть на него. В руках у него было охотничье ружье. Внезапно он прицелился и выстрелил два раза. После первого выстрела Дэтчи тяжело опустился на стол, опрокидывая чашку с кофе. Головой он попал в тарелку и поднял ее почти под прямым углом. Харки вскочил на ноги при звуке второго выстрела и упал лицом на пол с криком «Боже!», замирающим в его хрипящем горле.

Так разразилось Неожиданное. Ганс и Эдит остолбенели. Они сидели за столом, напряженные, с глазами, пригвожденными к убийце. Они смутно видели его сквозь пороховой дым, и в тишине ничего не было слышно, кроме капанья пролитого на пол кофе Дэтчи. Деннин открыл затвор ружья, выбрасывая пустые патроны. Держа

ружье одной рукой, он сунул другую в карман, чтобы достать свежие заряды.

Он всовывал патроны в ружье, когда Эдит поняла, что надо действовать.

Было очевидно, что теперь он намерен убить Ганса и ее. Три секунды она была совершенно парализована, ошеломленная непредвиденной формой, в которой ворвалось к ним Неожиданное. Затем она пришла в себя и начала бороться за жизнь Ганса и свою. Это действительно была борьба, ибо она прыгнула, подобно кошке, на убийцу и вцепилась в его воротник обеими руками. Он пошатнулся и пытался отбросить ее и удержать в руках ружье. Но это было трудно, так как ее крепкое тело приобрело кошачью силу и ловкость. Она всем корпусом откинулась назад и, цепляясь за его горло, чуть не повалила его на пол. Он выпрямился и быстро повернулся, увлекая ее за собой; ноги ее оторвались от пола, но она не разжала рук, вцепившихся в воротник. Не рассчитав движения, он наткнулся на стул и грохнулся вместе с женщиной на пол.

Ганс Нелсон реагировал на полсекунды позже жены. Его нервные и умственные процессы протекали несколько медленнее, чем ее. Его организм был грубее, и понадобилось на полсекунды

больше для того, чтобы он понял, решил и приступил к действию. Она уже налетела на Деннина и схватила его за горло, когда Ганс вскочил на ноги. Но он не обладал ее хладнокровием и не владел собой от бешенства. Вскочив со стула, он издал какой-то странный звук — не то заревел, не то зарычал. И затем бросился к Эдит и Деннину. Он настиг их, когда они упали на пол, и обрушил свои кулаки на распростертого человека. Удары были жестокие — словно удары молотом, — и скоро Эдит почувствовала, что тело Деннина слабеет и перестает двигаться. Тогда она отпустила его воротник и слегка отодвинулась. Она лежала на полу, тяжело дыша и широко раскрыв глаза. Страшные удары все еще сыпались на лежащего убийцу. Деннин как будто их не замечал. Он не двигался. Тогда она сообразила, что он потерял сознание. Она крикнула Гансу, чтобы тот остановился, — раз и второй. Но он ее не слышал. Тогда она схватила его за руку, но это только замедлило его удары, которые все еще продолжали сыпаться на Деннина.

Эдит пыталась удержать мужа отнюдь не сознательно. Говорило в ней не чувство жалости и не воспоминание религиозной заповеди «Не убий». Скорее всего — смутное чувство законности, эти-

ческое наследие ее расы и окружающей среды, заставило ее встать между мужем и беспомощным убийцей. И только тогда, когда Ганс понял, что бьет свою жену, он перестал сыпать удары. Он позволил ей оттащить себя, приблизительно так, как рассерженная, но послушная собака позволяет своему хозяину себя отвести. Но ярость его еще не утихла и выражалась в каких-то нечленораздельных звуках, вырывающихся из горла.

Все дальше и дальше отталкивала Эдит своего мужа. Она никогда еще не видела его в таком состоянии и теперь боялась его почти больше, чем Деннина в разгар их схватки. Она не могла поверить, что этот бешеный зверь — ее Ганс. Ей казалось, что он может вцепиться в ее руку зубами, подобно дикому зверю. В течение нескольких секунд, не желая делать ей больно, но упорно пытаясь продолжать избиение, Ганс тянулся к лежащему человеку. Но она решительно становилась между ними, пока к нему не вернулся первый проблеск рассудка и он не пришел в себя.

Оба стояли у тела Деннина. Ганс, пошатываясь, с судорожно искривленным лицом, прислонился к стене. Наступила реакция. Ломая руки, Эдит стояла посреди хижины. Она тяжело дышала, ее

всю трясло.

Ганс уставился в одну точку, а глаза Эдит дико блуждали, изучая подробности того, что случилось.

Деннин лежал без движения. Опрокинутый стул, брошенный на пол во время отчаянной борьбы, лежал рядом с ним. Из-под тела убийцы виднелось ружье с приоткрытым замком. Из его правой руки выпали два патрона, которые он не успел вложить в затвор.

Харки лежал на полу, лицом вниз — там, где свалился. Дэтчи по-прежнему наклонялся над столом, а его желтые волосы были прикрыты наполовину тарелкой, все еще приподнятой под углом в девяносто градусов. Эдит не могла оторвать глаз от этой тарелки. Почему она не падала? Это было нелепо. Разве нормально, чтобы тарелка стояла на столе вертикально, даже если при этом произошло убийство!

Она взглянула снова на Деннина, но ее глаза вернулись к приподнятой тарелке. Это было в самом деле нелепо. Ей хотелось истерически хохотать. Затем она ощутила жуть мертвой тишины, и ей остро захотелось, чтобы что-нибудь случилось. Однообразное капанье кофе на пол только подчеркивало тишину. Почему Ганс ни-

чего не делал? Почему он ничего не говорил? Она смотрела на него и пыталась что-то сказать, но язык отказывался повиноваться. У нее как-то особенно болело горло, и во рту было сухо и терпко. Она могла только смотреть на Ганса, который, в свою очередь, смотрел на нее.

Вдруг острый металлический звон нарушил тишину. Женщина вскрикнула и глянула на стол. Упала тарелка. Ганс вздохнул, будто просыпаясь после сна. Звон тарелки присудил их к жизни в новом мире. Вся хижина очутилась в этом новом мире — отныне единственном для них существующем. Старая хижина исчезла навсегда. Жизнь стала новой и неведомой. Неожиданное окутало волшебной дымкой все, меняя перспективу, спутывая ценности, переплетая реальное с нереальным.

— Боже мой! Ганс, — были первые слова Эдит.

Он не ответил, но в ужасе смотрел на нее. Его глаза медленно ощупали комнату, впервые схватывая все детали случившегося. Он надел шапку и направился к двери.

— Куда ты идешь? — спросила Эдит, охваченная страхом.

Его рука была на дверной ручке. Он повернулся вполоборота.

— Рыть могилы.

— Не оставляй меня, Ганс…

— Все равно придется рыть могилы, — сказал он.

— Но ты не знаешь, сколько нужно могил, — возразила она в отчаянии. Она заметила его колебание и прибавила. — Я пойду с тобой и помогу.

Ганс вернулся к столу и машинально оправил свечу. Затем приступили к осмотру. Харки и Дэтчи — оба были мертвы, и поскольку стреляли с близкого расстояния, вид их был ужасен.

Ганс отказался подойти к Деннину, и Эдит вынуждена была одна осмотреть его.

— Он не умер! — крикнула она Гансу. Тот подошел и взглянул на убийцу.

— Что ты сказал? — спросила Эдит, услышав нечленораздельные звуки.

— Я говорю: дьявольски жалко, что он не умер, — ответил он.

Эдит наклонилась над телом.

— Оставь его, — приказал Ганс резко; голос его звучал странно. Она взглянула на него в внезапном страхе. Он поднял ружье, брошенное Деннином, и вкладывал в него патроны.

— Что ты хочешь сделать? — крикнула она,

быстро приподнимаясь.

Ганс не ответил, но она увидела, что он прикладывает ружье к плечу. Она схватила дуло и отвела его.

— Оставь меня в покое! — крикнул он глухо.

Он пытался вырвать у нее ружье, но она подошла к мужу и охватила его руками.

— Ганс, Ганс! Очнись, — кричала она. — Не будь сумасшедшим.

— Он убил Дэтчи и Харки! И я убью его!

— Но так нельзя. Есть закон.

Он выразил сомнение в реальной силе закона здесь — в этой глуши, и продолжал твердить бесстрастно и упорно:

— Он убил Дэтчи и Харки.

Она долго убеждала его, но он только повторял: «Он убил Дэтчи и Харки». В ней сказалось ее воспитание и кровь. Она унаследовала сознание законности. Ей казалось невозможным оправдать новое убийство, как и преступление Деннина. Два нарушения закона не создадут права. Существует только один способ наказать Деннина: посредством легальных мер, установленных обществом. Наконец Ганс сдался.

— Хорошо, — сказал он. — Пусть будет по-твоему. Но завтра или послезавтра он убьет нас.

Она покачала головой и протянула руку, чтобы взять ружье. Он было хотел отдать его, но снова заколебался.

— Лучше позволь мне застрелить его, — молил он. Она опять покачала головой, и опять он сделал движение, чтобы передать ей ружье. В это время дверь отворилась и вошел индеец — без стука. Порыв ветра и снежный вихрь ворвались за ним в хижину… Они обернулись к нему. Ганс все еще держал в руке ружье. Посетитель сразу, не вздрогнув, охватил всю сцену. И тут же увидел убитых и раненого. Он не выказал ни изумления, ни даже любопытства. Харки лежал у его ног. Но он не обратил на него ни малейшего внимания.

— Очень ветрено, — заметил индеец в виде приветствия. — Все хорошо. Очень хорошо.

Ганс, все еще держа в руках ружье, был уверен, что индеец считает его убийцей. Он посмотрел с немой мольбой на жену.

— Доброе утро, Негук, — сказала она, делая над собой страшное усилие. — Нет, не очень хорошо. Большая беда.

— До свидания, я теперь ухожу. Нужно спешить, — сказал индеец. Не торопясь, хладнокровно обойдя красную лужу на полу, он открыл дверь и вышел.

Мужчина и женщина посмотрели друг на друга.

— Он думает, что это сделали мы, — воскликнул Ганс, — что это сделал я!

Эдит молчала несколько секунд. Затем сказала кратко, деловым тоном:

— Безразлично, что он думает. Об этом после. Теперь мы должны копать могилы. Но прежде всего мы должны привязать Деннина так, чтобы он не убежал.

Ганс отказался дотронуться до Деннина, и Эдит связала крепко его руки и ноги. После этого они вышли. Почва замерзла и не поддавалась ударам лома. Они собрали дров, соскребли снег с земли и на мерзлом грунте зажгли костер. Целый час пылал он, прежде чем оттаяло небольшое пространство. Они вырыли яму и затем рядом разложили новый костер. Таким образом яма увеличивалась медленно — на два-три дюйма в час.

Работа была тяжелая и невеселая. Снег мешал костру разгореться. Холодный ветер пронизывал их. Подавленные ужасом совершившейся трагедии, они почти не разговаривали — мешал ветер, — обмениваясь лишь возгласами удивления по поводу того, что могло привести Деннина к убийству. В час Ганс заявил, что он голоден.

— Нет, только не сейчас, Ганс. Я не могу вернуться в хижину — такую, какой она осталась, и готовить там обед.

В два часа Ганс предложил пойти вместе с ней. Но она настаивала на том, чтобы продолжать работу, и в четыре часа могилы были готовы.

Они были неглубоки — не больше двух футов глубиной, но этого было достаточно. Наступила ночь. Ганс достал санки, и трупы были доставлены к их морозным могилам. Похоронное шествие не имело парадного вида. Полозья глубоко врезывались в сугробы, и санки тащили с трудом. Оба — мужчина и женщина — ничего не ели со вчерашнего дня и ослабели от голода и усталости. Они не имели силы противостоять ветру, и его порывы чуть не валили их с ног. Несколько раз санки переворачивались, и они снова водворяли на них печальную поклажу. Последние сто футов до могил вели вверх по крутому склону, и здесь они двигались на четвереньках, подобно собакам, впряженным в сани. Хотя они и цеплялись руками за снег, но сани своей тяжестью дважды увлекали их назад, и дважды они скатились с горы все вместе — живые и мертвые.

— Завтра я поставлю столбы с их именами, — сказал Ганс, когда могилы были зарыты.

Эдит плакала навзрыд. Она произнесла несколько несвязных фраз — это заменяло надгробную службу, — и теперь муж вынужден был почти отнести ее обратно в хижину.

Деннин пришел в сознание и катался по полу в тщетных попытках освободиться. Он смотрел на Ганса и Эдит блестящими глазами, но не пробовал заговорить. Ганс все еще отказывался дотронуться до убийцы и тупо смотрел на Эдит в то время, как она тащила Деннина по полу в мужскую спальню. Но, несмотря на все ее усилия, она не могла поднять его с пола на лежанку.

— Позволь мне его застрелить, у нас не будет больше возни с ним, — наконец проговорил Ганс.

Эдит снова отрицательно покачала головой и продолжала свою работу. Вскоре Ганс одумался и помог ей. Затем они приступили к чистке кухни. Но с пола не исчезали следы трагедии, пока Ганс не сострогал поверхности досок. Стружки он сжег в печке.

Дни приходили и уходили. Вокруг обитателей хижины царила тьма и тишина, нарушаемая только метелями и шумом моря, разбивающегося о ледяной берег. Ганс послушно исполнял малейшие приказания Эдит. Куда девалась его

необыкновенная инициативность… Она настояла на своем способе обращения с Деннином, и потому он предоставил ведение дела всецело ей.

Убийца оставался для них постоянной угрозой. Каждую минуту можно было ожидать, что он освободится от связывающих его веревок. Поэтому мужчина и женщина были вынуждены сторожить его днем и ночью. Один из них всегда сидел с ним рядом, держа в руках заряженное ружье. Сперва они испробовали восьмичасовые дежурства, но напряжение было слишком велико, и впоследствии Эдит и Ганс сменяли друг друга каждые четыре часа. Так как спать было необходимо, а дежурства продолжались и ночью, — все время они тратили на то, чтобы сторожить Деннина, — они едва успевали готовить пищу и добывать дрова.

После несвоевременного посещения Негука индейцы избегали хижину. Эдит послала Ганса в их деревню просить увезти Деннина в лодке до ближайшего поселка или торговой станции белых людей, но индейцы отказались. Эдит сама пошла, чтобы просить Негука. Он — старшина маленькой деревушки — был преисполнен ответственности и в нескольких словах объяснил свою точку зрения:

— Это — беда белых людей, — сказал он, — не беда сивашей. Мы поможем, и тогда это станет бедой сивашей. Когда соединятся беда белого человека и беда сивашей, будет большая беда. Мои люди ничего не сделали плохого. Почему же им помогать и попасть в беду?

Итак, Эдит вернулась в страшную хижину, с ее бесконечными перемежающимися четырехчасовыми сменами. Иногда, когда наступала ее очередь и она сидела рядом с Деннином, с заряженным ружьем на коленях, ее глаза невольно слипались и она начинала дремать. Затем внезапно пробуждалась, хваталась за ружье и быстро оглядывала пленника. То были периодические нервные потрясения, и ничего хорошего они не сулили. Она так боялась этого человека, что даже в состоянии полного бодрствования — если только он двигался под одеялом — не могла удержаться от дрожи и быстро хватала ружье.

Ей грозило нервное переутомление, и она это знала. Сперва она ощущала дрожь в глазах, заставлявшую ее закрывать веки, затем не могла уже справиться с нервным миганием век. Вдобавок она никак не могла забыть происшедшую трагедию. Она ощущала весь ее ужас почти так же остро, как в то утро, когда Неожиданное во-

рвалось в их хижину.

Ганс был тоже подавлен, но по-иному. У него была навязчивая идея, что его долг — убить Деннина; и всегда, когда он что-нибудь делал для связанного человека или наблюдал за ним, Эдит боялась, что кровавый список жертв пополнится еще одним именем. Он постоянно яростно проклинал Деннина и обращался с ним очень резко. Ганс пытался скрыть свою жажду убить и иногда говорил жене: «Когда-нибудь ты захочешь, чтобы я его убил, а тогда я не смогу». Но не раз, входя украдкой в комнату в свободное от дежурства время, она находила обоих мужчин, обменивающихся свирепыми взглядами — подобно двум диким зверям: на лице Ганса было написано желание убить, на лице Деннина — ярость пойманной крысы. «Ганс! — кричала она в таких случаях. — Очнись!» — и он смущенно приходил в себя; однако лицо его совсем не выражало раскаяния.

Таким образом, Эдит, призванная разрешить проблему Неожиданного, должна была учитывать и состояние Ганса. Вначале эта задача сводилась к правильному поведению по отношению к Деннину; нужно было задержать его до передачи властям. Но теперь возникал вопрос о

Гансе, и она видела, что умственное равновесие и спасение также были поставлены на карту. И вместе с тем она скоро обнаружила, что ее собственная сила сопротивления имеет пределы. Ее левая рука нервно подергивалась. Она расплескивала ложку с супом и уже не могла полностью рассчитывать на больную руку. Вероятно, думала она, это нечто вроде пляски святого Витта[14] и боялась развития этой болезни. Что будет, если она не выдержит? И картина будущего — хижина с Деннином и Гансом и без нее — наполняла ее ужасом.

На четвертый день Деннин заговорил. Его первый вопрос был: «Что вы со мной сделаете?» И он повторял этот вопрос много раз в течение дня, и всегда Эдит отвечала, что с ним поступят по закону. В свою очередь, она ежедневно его допрашивала: «Почему вы это сделали?» На это он не давал ответа, а вопрос этот вызывал в нем припадок ярости. Он метался, пытаясь разорвать связывавшие его кожаные ремни, и угрожал ей расправой — вот только он освободится, а ведь

[14] notes: 14

Пляска святого Витта — нервная болезнь, выражающаяся в судорожных движениях головы, рук и ног при полном сознании. Названа по имени святого, к которому в старину суеверные люди обращались на Западе с молитвой об исцелении этой болезни.

это — рано или поздно — должно случиться. В такие минуты она взводила оба курка и готовилась встретить его свинцом, если ему удастся вырваться. При этом она все время была охвачена дрожью, и у нее кружилась голова от напряженности нервного возбуждения.

Но понемногу Деннин сделался более сговорчивым. Она увидела, что вечное пребывание в лежачем положении его сильно утомляет. Он стал умолять, чтобы его освободили. Он давал сумасшедшие обещания. Он не причинит им вреда. Он сам спустится по берегу и передаст себя властям. Свою часть золота он им отдаст, уйдет в дикую глушь и никогда больше не появится перед лицом цивилизации. Он покончит самоубийством — только бы она его освободила. Его мольбы всегда кончались почти бессознательным бредом — казалось, что у него припадок. В ответ она всегда отрицательно качала головой и отказывала ему в свободе, которой он добивался с такой страстью.

Недели шли, и он становился все более и более сговорчивым. И вместе с тем все больше и больше сказывалась его усталость. «Я так устал, я так устал», — шептал он, вертясь, на лежанке, как капризный ребенок. Немного позже он стал

выражать желание умереть, умоляя убить его, освободить от мучений, чтобы он мог наконец отдохнуть.

Положение становилось невыносимым. Нервность Эдит возросла, и она знала, что катастрофа с ней может наступить в любой момент. Она не могла даже выспаться по-настоящему, так как ее преследовал страх, что Ганс поддастся своей мании и убьет Деннина во время ее сна. Хотя был уже январь, — много месяцев должно было пройти раньше, чем какое-нибудь коммерческое судно могло заглянуть в бухту. А ко всему тому они стали ощущать недостаток пищи, ведь они не рассчитывали провести всю зиму в хижине. При этом Ганс не мог поддерживать запасы охотой. Они были привязаны к хижине из-за необходимости сторожить пленника.

Следовало на что-то решиться. Она это сознавала. Она заставила себя вновь продумать все в деталях. Она не могла заглушить в себе присущее ей с рождения чувство законности. Она знала, что все, что сделает, должно соответствовать этому инстинкту права. В долгие часы бдения, с ружьем на коленях, — рядом метался убийца, а за окном ревела буря, — она проделала самостоятельное социологическое исследование и выработала

свою точку зрения на зарождение и эволюцию закона. Ей пришло на ум, что закон есть не что иное, как воля группы людей. Размеры группы не имеют значения. Есть маленькие группы, рассуждала она, как, например Швейцария, и большие, как Соединенные Штаты. И совсем не важно, если группа очень мала. В стране могло быть всего десять тысяч человек, и тем не менее их коллективная воля будет правом этой страны. Но тогда почему тысяча человек не могут составить группу? А если так, то почему не сто? Почему не пятьдесят? Почему не двое?..

Она испугалась собственного вывода и переговорила об этом с Гансом. Сперва он не понял. Когда же понял, то добавил еще кое-какие соображения, которые как будто разрешали вопрос. Он говорил о собраниях золотоискателей; на этих собраниях все обитатели той или иной местности объединялись, обсуждая законы, и приводили их в исполнение. Могло быть всего десять или пятнадцать человек, и тем не менее воля большинства становилась законом для всех десяти или пятнадцати человек, и всякий, кто нарушал эту волю, нес соответственную кару.

Наконец Эдит все стало ясно. Деннин должен быть повешен. Ганс согласился с нею. Они состав-

ляли вдвоем большинство данной социальной группы. Воля этой группы была направлена на то, чтобы Деннина повесили. Проявляя эту волю, Эдит усиленно старалась соблюдать установленные формы. Но группа была так мала, что Ганс и она одновременно должны были являться свидетелями, присяжными, судьями и исполнителями приговора. Она предъявила Деннину формальное обвинение в убийстве Дэтчи и Харки. Пленник лежал на своей лежанке и слушал показания свидетелей — сначала Ганса, потом Эдит. Он отказался отвечать на вопрос о своей виновности или невиновности и молчал, когда она спросила его, имеет ли он что сказать в свое оправдание. Она и Ганс, не вставая с места, вынесли вердикт присяжных: да, виновен. Затем, уже как судья, она определила меру наказания. Ее голос дрожал, ее веки нервно мигали, ее левая рука судорожно дергалась, но она выполнила то, что было необходимо.

— Майкл Деннин, через три дня вы будете повешены.

Таков был приговор. У него вырвался как бы невольный вздох облегчения. Затем он засмеялся и сказал:

— Тогда, по крайней мере, эта проклятая ле-

жанка не будет больше давить мне спину. Это все-таки утешение.

После произнесения приговора они все как будто почувствовали облегчение. Это особенно было заметно в настроении Деннина. Вся его суровость и вызывающий тон исчезли. Он говорил вполне приветливо со своими тюремщиками и даже проявлял порой свое привычное остроумие. Он выражал большое удовлетворение, когда Эдит читала ему вслух Библию. Она читала выдержки из Нового Завета, и он больше всего интересовался рассказами о блудном сыне и о разбойнике на кресте.

Накануне дня казни, когда Эдит задала ему обычный вопрос: «Почему вы это сделали?», Деннин ответил: «Очень просто. Я думал…»

Но Эдит прервала его, просила его подождать и поспешила к лежанке Ганса.

Это было время его отдыха после дежурства, и он проснулся, протирая глаза и ворча.

— Иди, — сказала она ему, — и приведи Негука и еще одного индейца. Майкл признается во всем. Заставь их прийти. Возьми ружье, и если нужно, приведи их силой.

Полчаса спустя Негук и его дядя Хэдикван вошли в комнату приговоренного. Они шли

неохотно, понукаемые вооруженным Гансом.

— Негук, — сказала Эдит, — не будет никакой беды для тебя и твоего народа. Вы должны сесть и ничего не делать, только слушать и понимать.

Тогда Майкл Деннин, приговоренный к смерти, исповедался в своем преступлении. Пока он говорил, Эдит записывала его рассказ, в то время как индейцы слушали, а Ганс сторожил у двери из боязни, что свидетели убегут.

Деннин объяснил, что он не был на родине в течение пятнадцати лет. В его намерение всегда входило вернуться с большой суммой денег домой и обеспечить свою старую мать в последние годы ее жизни.

— Как же мог я это сделать с тысячью шестьюстами долларов? — спросил он. — Мне нужно было все золото, все восемь тысяч. Тогда я мог вернуться в достойном виде. Я подумал, что ничего не будет легче, как убить вас всех, донести в Скегуэй, что это сделали индейцы, и отправиться в Ирландию. Я и попробовал вас всех убить, но, согласно поговорке, я отрезал слишком большой кусок и не мог его проглотить. Вот мое признание. Я исполнил свой долг перед дьяволом, и теперь, если позволит Господь, я исполню свой долг перед Богом.

— Негук и Хэдикван, — обратилась Эдит к индейцам. — Вы слышали слова белого человека? Его слова здесь на бумаге, и вы должны на этой же бумаге поставить знаки, чтобы белые люди, которые потом придут, знали, что вы это слышали.

Индейцы поставили кресты против своих имен и получили приглашение явиться на следующий день со всем своим племенем для засвидетельствования того, что должно произойти. После этого им позволили уйти. Ремни на руках Деннина были ослаблены, и он подписал документ. После этого в комнате наступило молчание. Гансу было не по себе, и Эдит тоже нервничала. Деннин лежал на спине и глядел вверх, на крышу с щелями, забитыми мхом.

— А теперь я исполню свой долг перед Богом, — шептал он. Он повернул голову по направлению к Эдит.

— Прочтите мне, — продолжал он, — из той книги. Может быть, — прибавил он полушутливо, — это поможет мне забыть про лежанку.

День казни выдался ясным и холодным. Термометр показывал 25 градусов ниже пуля. Холодный ветер пронизывал до костей. Впервые после многих недель Деннин стоял на ногах. Его мускулы так долго не работали, а он так давно не прини-

мал стоячего положения, что едва мог стоять. Он качнулся вперед и назад, пошатнулся и схватил Эдит связанными руками, чтобы не упасть.

— У меня как будто кружится голова, — засмеялся он слабо.

Минуту спустя он сказал:

— И рад же я, что все это кончено. Эта проклятая лежанка меня все равно бы уморила.

Когда же Эдит надела ему на голову меховую шапку и начала натягивать на уши наушники, он засмеялся и сказал:

— Для чего вы это делаете?

— На улице мороз, — ответила она.

— Да, но через десять минут не безразлично ли будет бедному Майклу Деннину отморозить ухо? — спросил он.

Она напрягла все свои слабые силы для последнего испытания. Но его замечание нарушило ее самообладание. До сих пор все казалось призрачным, как бы сном, а суровая правда его слов внезапно и мучительно открыла ей глаза на реальность того, что происходило.

Ирландец заметил ее отчаяние.

— Я жалею, что расстроил вас своим глупым разговором, — произнес он с сожалением. — Я не хотел ничего этим сказать. Это великий день для

Майкла Деннина, и он весел, как жаворонок.

Он звонко засвистел, но свист его скоро стал унылым и замер.

— Хотелось, чтобы был священник, — грустно сказал он, а затем быстро добавил: — Но Майкл Деннин слишком привык к походу, чтобы нуждаться в роскоши, отправляясь в путь.

Он был так слаб, что, выйдя, чуть не упал от порыва ветра. Эдит и Ганс шли рядом с ним и поддерживали его с двух сторон. Все время он шутил и старался их приободрить. Свою долю золота он просил послать его матери в Ирландию.

Они взобрались на высокий холм, вышли на открытую поляну, окруженную деревьями. Здесь, у бочки на снегу, торжественно стояли Негук и Хэдикван во главе сивашей. Они привели всю деревню — вплоть до грудных младенцев и собак, чтобы увидеть исполнение закона белых людей. Вблизи была открытая могила, которую Ганс, предварительно оттаяв почву, вырыл в мерзлой земле.

Деннин деловито осмотрел приготовления, оглядел могилу, бочку, веревку и сук, через который она была перекинута.

— Я бы сам не мог лучше сделать, Ганс, если бы это было для тебя.

Он громко рассмеялся собственной остроте, но лицо Ганса замерло в угрюмом оцепенении, которое ничто, казалось, не могло нарушить — разве только трубный глас последнего суда. Ганс чувствовал себя больным. Он совершенно не осознавал, насколько тяжко отправить на тот свет другого человека. Зато Эдит действовала в полном сознании. Но это ей не облегчало задачи. Она сомневалась, удастся ли ей держать себя в руках, чтобы довести дело до конца. Она чувствовала нарастающую потребность кричать, упасть в снег, закрыть руками глаза или убежать в лес, куда-нибудь, только — вон отсюда. С величайшим напряжением удавалось ей держаться прямо и делать то, что она должна была сделать. И она была признательна Деннину за то, что он старается ей помочь.

— Дай мне руку, — сказал он Гансу, влезая с его помощью на бочку.

Он нагнулся так, что Эдит могла накинуть веревку ему на шею. Затем выпрямился, в то время как Ганс подтянул веревку через сук над его головой.

— Майкл Деннин, имеете ли вы что сказать? — спросила Эдит. Голос ее, несмотря на всю ее волю, дрожал.

Деннин смотрел с бочки вниз застенчиво, как человек, который произносит свою первую речь. Он откашлялся.

— Я рад, что это кончено, — сказал он, — вы обращались со мной как с христианином, и я сердечно благодарю вас за всю вашу доброту.

— Да примет тебя, кающегося грешника, Господь, — сказала она.

— Да, — прозвучал в ответ его низкий бас. — Да примет меня Господь, кающегося грешника.

— Прощай, Майкл, — крикнула она, и в голосе ее прозвучало отчаяние.

Она навалилась всей своей тяжестью на бочку, но не могла ее сдвинуть.

— Ганс! Скорее! Помоги мне, — слабо крикнула она.

Она чувствовала, что последние силы оставляют ее, а бочка не двигалась.

Ганс поспешил к ней, и бочка вылетела из-под ног Майкла Деннина.

Она повернулась к нему спиной, затыкая уши пальцами. Затем начала смеяться резким, металлическим смехом. И Ганс был этим потрясен больше, чем всей трагедией.

Кризис наступил. Даже в своем истерическом состоянии она это понимала и была рада, что

сумела выдержать до того момента, когда все было кончено. Внезапно она покачнулась…

— Отведи меня в хижину, Ганс, — с трудом выговорила Эдит. — И дай мне отдохнуть… отдохнуть…

Ганс повел ее — совсем беспомощную — по снегу, поддерживая за талию.

Индейцы оставались, чинно наблюдая за тем, как действует закон белых людей, заставляющий человека плясать в воздухе.

Мечта Дебса

Я проснулся по крайней мере на час раньше обычного. Это само по себе было уже очень странно, и, размышляя об этом, я пролежал в постели около часа. Я не знал, в чем дело, но чувствовал, что не все обстоит благополучно. Меня томило ожидание чего-то ужасного, что уже произошло или должно было произойти. Но что же это было? Я старался дать себе отчет в своих ощущениях. Я вспоминал, что после землетрясения 1906 года многие рассказывали, как они проснулись за несколько минут до первого толчка с чувством безотчетного ужаса. Неужели опять Сан-Франциско постигнет такая же страшная катастрофа?

Я пролежал в ожидании несколько секунд, но не было слышно ни ударов, ни толчков, ни грохота падающих стен. Все было спокойно. И вдруг я понял. Тишина! Вот что томило меня. Я не слышал шума огромного города. В этот час трамваи проходили под моим окном каждые три минуты. Но вот прошло несколько минут, а трамваев не было слышно. Не началась ли в городе забастовка трамвайных служащих, подумал я, или, может быть, на электрической станции произошла

какая-нибудь катастрофа? Но нет! Тишина была абсолютная. Не слышно было ни грохота повозок, ни цоканья копыт по гладкой мостовой.

Я нажал кнопку электрического звонка. Я, конечно, не мог услыхать звонок: он находился тремя этажами ниже. Но звонок, очевидно, действовал, так как через несколько минут вошел Браун с подносом и газетой в руках. Лицо его было, по обыкновению, бесстрастно, но в глазах на этот раз сквозило какое-то беспокойство. Я заметил также, что на подносе не было сливок.

— Сливок сегодня не привезли, сэр, — сказал он, — и булок также.

Я снова поглядел на поднос и увидел, что на нем вместо обычных свежих и румяных хлебцев лежали черствые куски, оставшиеся от вчерашнего хлеба, вдобавок еще черного и неприглядного.

— Сегодня утром, сэр, ничего не было доставлено, — начал он, но я перебил его:

— А газета?

— Газета доставлена, но в последний раз, сэр. В газете написано, что завтра не будет уже никаких газет. Не прикажете ли купить сгущенного молока?

Я отрицательно покачал головой, сел пить кофе и развернул газету. С первых же строк я узнал,

в чем дело. Я узнал даже больше, чем было в действительности, ибо газета была до глупости пессимистически настроена. В Соединенных Штатах разразилась всеобщая забастовка; высказывалось опасение за большие города, так как они могли оказаться без продовольствия.

Я бегло просматривал газету, вникая лишь в сущность дела и припоминая историю рабочих движений.

Всеобщая забастовка была мечтой целого ряда поколений, причем мечта эта впервые возникла в голове у некоего Дебса, одного из виднейших рабочих лидеров, лет тридцать назад. Я вспомнил, что, еще будучи в университете, я написал для одного из журналов статью под заглавием «Мечта Дебса». С идеей этой я обошелся очень деликатно, вполне академически, считая ее мечтой и ничем больше. Мир продолжал развиваться: Гомперс сошел со сцены так же, как и Американская федерация труда. Умер и Дебс со своими дикими мечтами, но его идея не умерла, и вот она осуществилась. Читая газету, я смеялся. Я знал, как обычно проваливаются все забастовки благодаря различным внутренним конфликтам. Вопрос шел о двух-трех днях. Правительство, несомненно, в несколько дней ликвидирует эту

забастовку.

Я отшвырнул газету и начал одеваться. Мне хотелось побродить по улицам Сан-Франциско. Вероятно, любопытное зрелище должны были представлять эти улицы без единого экипажа, трамвая или автомобиля.

— Простите, сэр, — проговорил Браун, подавая мне портсигар, — но мистер Хармед желает переговорить с вами.

Хармед был мой дворецкий. Я заметил, что он был очень взволнован. Он сразу приступил к делу.

— Что мне делать, сэр? Нам нужно запастись провизией, а все поставщики забастовали. Электричество тоже не горит, по всей вероятности, и там забастовали.

— А магазины открыты? — спросил я.

— Только мелочные лавки, сэр. Приказчики не явились на работу, но хозяева с семьями пока что справляются.

— Сейчас же берите автомобиль и поезжайте за покупками. Купите все, что нам может понадобиться. Купите ящик свечей или даже лучше полдюжины ящиков. А когда вы все сделаете, скажите Гаррисону, чтобы он заехал за мной в клуб к одиннадцати часам, никак не позже.

Хармед покачал головой.

— Мистер Гаррисон забастовал, по постановлению Союза шоферов. А я не умею управлять автомобилем.

— Ха-ха, он забастовал, — воскликнул я, — ну, хорошо, когда вы увидите «мистера» Гаррисона, скажите ему, чтобы он искал себе другое место.

— Слушаюсь, сэр.

— А вы, Хармед, случайно не принадлежите к Союзу дворецких?

— Нет, сэр, — ответил он, — и если бы даже я и принадлежал к этому союзу, я бы не покинул своего хозяина в такой критический момент.

— Благодарю вас, — сказал я, — все-таки собирайтесь: я сам буду управлять автомобилем, и мы сделаем достаточный запас провизии, чтобы выдержать осаду.

Был превосходный первомайский день. На небе ни облачка. Веял теплый ветерок. Сады благоухали. По улицам сновали автомобили, управляли ими сами хозяева. Толпы народа бродили взад и вперед, но все было совершенно спокойно. Рабочие, одетые в лучшее праздничное платье, мирно гуляли, наблюдая, какое впечатление производит забастовка. Все было так необычайно и вместе с тем так спокойно, что я почувствовал невольное

восхищение. Мои нервы приятно взвинтились. Это было какое-то мирное приключение. Я встретил мисс Чикеринг, она сама управляла своим маленьким автомобилем. Она повернула руль, догнала меня на углу и воскликнула:

— О мистер Корф! Вы не знаете, где можно купить свечей? Я объехала по крайней мере дюжину магазинов, но свечи повсюду распроданы. Это ужасно, не правда ли?

Но ее сверкающие глаза не соответствовали словам. Ей, по-видимому, все это доставляло большое удовольствие. Покупать свечи — ведь это было целое приключение! Мы объехали весь город и только тогда догадались поехать в южную часть, в рабочий квартал. Там в одной мелочной лавке еще не все свечи были распроданы. Мисс Чикеринг полагала, что одного ящика вполне достаточно, но я уговорил ее купить четыре. Сам я взял дюжину ящиков, так как автомобиль мой был достаточно вместителен. Нельзя было предвидеть, сколько времени продлится забастовка. Поэтому я нагрузил автомобиль мукой, консервами, сухими дрожжами и всякими предметами первой необходимости, на которые мне указывал Хармед, прыгавший и кудахтавший вокруг покупок, как старая наседка.

Интересно отметить, что в первый день никто не отдавал себе отчета, насколько серьезно все происходящее. Заявление рабочих организаций, что они могут продержаться месяц и даже больше, было встречено всеобщим смехом. Но вскоре пришлось убедиться, что рабочие не принимают никакого участия в покупках и не делают никаких запасов; это было вполне понятно, — за несколько месяцев рабочие сделали себе огромные запасы всего необходимого, потому-то они и позволяли нам покупать провизию даже в своем квартале.

Только приехав в клуб и увидев царившее там смятение, я почувствовал тревогу. Для коктейля кое-чего не хватало, а сервировка была ниже всякой критики. Почти все посетители были не в духе и очень волновались. Меня встретил гул голосов. Генерал Фолсом сидел около окна в курительной комнате и отмахивался от шести-восьми возбужденных джентльменов, которые просили его что-нибудь предпринять.

— Что же я могу сделать, у меня нет никаких инструкций из Вашингтона; если вам, господа, удастся наладить телеграфное сообщение, я готов буду сделать все, что мне прикажут. Но я не знаю, что тут можно сделать. Как только я узнал о заба-

стовке, я немедленно поставил отряды солдат у всех общественных зданий, у банков, у почтовых контор и у Монетного двора, но ведь в городе нет никаких беспорядков. Забастовка протекает в полном спокойствии. Или вы хотите, чтобы я начал стрелять в рабочих, гуляющих с женами и детьми по улицам?

— Интересно, что делается на Уолл-стрит? — с беспокойством спросил Джимми Уомболд, когда я проходил мимо.

Я понял, почему он так волнуется: он был заинтересован в одном крупном консолидированном западном предприятии.

— Скажите, Корф, — остановил меня Аткинсон, — ваша машина в порядке?

— Да, — отвечал я, — а что случилось с вашей?

— Сломалась, а все гаражи закрыты. Моя жена около Трукки, и я боюсь, что она отрезана от суши. Я предлагал за телеграмму бешеные деньги, но ее все-таки не отправили. Жена должна была вернуться сегодня вечером. Я боюсь, что она умерла с голоду. Вы мне не дадите вашей машины?

— Вы все равно не можете переехать через залив, — заметил Холлстэд. — Пароходы не ходят. Но вот что вы можете сделать. Попросите Роллинсона… Роллинсон, подите сюда на ми-

нутку! Аткинсон хочет перевезти через залив машину, — его жена застряла где-то около Траки, нельзя ли перевезти машину на вашей «Ларлетте»? — «Ларлетта» была двухсоттонная океанская яхта.

Роллинсон пожал плечами.

— Вы не найдете ни одного портового рабочего, чтобы погрузить машину. Да если бы ее и погрузили, то и это бесполезно, потому что все мои матросы состоят в союзе и тоже бастуют.

— Но ведь моя жена умрет от голода, — жалобно произнес Аткинсон.

В другом конце курительной комнаты я увидел группу людей, которые оживленно и сердито толковали о чем-то, окружив Берти Мессенера. Берти доводил их до бешенства своими хладнокровными циническими рассуждениями. Его не слишком беспокоила забастовка. Его вообще мало что беспокоило. Он был необычайно самоуверен, по крайней мере во всех обычных житейских делах. Все низменное и обыденное не производило на него никакого впечатления. Он обладал капиталом в двадцать миллионов, вдобавок прекрасно помещенным, и никогда в жизни не занимался каким-либо производительным трудом, так как деньги достались ему по наслед-

ству от отца и двух дядей. Он побывал всюду, все испытал, кроме разве женитьбы. Он тщательно охранял свою свободу, несмотря на атаку сотен корыстолюбивых мамаш. В течение нескольких лет он был самой желанной добычей, но всегда ловко увертывался от своих преследовательниц. Он был, бесспорно, лучшим женихом. При всем своем богатстве он был еще к тому же красив, молод и весьма благовоспитан. Превосходный атлет, сложенный, как молодой бог, он все делал с поразительным совершенством, кроме женитьбы. Он ни о чем не беспокоился, у него не было честолюбия, не было пылких страстей, не было даже желания сделать что-нибудь лучше других.

— Но ведь это восстание! — воскликнул кто-то. Другой назвал это революцией, а третий — анархией.

— Я этого не нахожу, — сказал Берти, — мне пришлось пробыть все утро на улице. Везде полнейший порядок, я в жизни не видел такой организованной толпы. По-моему, напрасно вы произносите все эти громкие слова. Это просто настоящая общая забастовка, как это и было объявлено в газетах. Теперь, господа, ваше дело отыгрываться.

— Мы и отыграемся! — воскликнул Гарфилд,

один из крупнейших миллионеров. — Мы покажем этим мерзавцам их настоящее место. Дайте только правительству взяться за это дело.

— А где сейчас ваше правительство? — поинтересовался Берти. — Поскольку дело касается нас, оно могло бы с таким же успехом находиться сейчас на дне океана. Ведь вы же не знаете, что происходит в Вашингтоне! Вы даже не знаете, существует правительство или нет.

— О, не беспокойтесь! — проворчал Гарфилд.

— Уверяю вас, что я нисколько об этом не беспокоюсь, — произнес Берти, улыбаясь, — но нам пока лучше обращать внимание на самих себя. Посмотрите-ка в зеркало, Гарфилд!

Гарфилд не стал смотреть в зеркало, но если бы посмотрел, то увидел бы очень возбужденного джентльмена с красным лицом, с прилипшими ко лбу седыми волосами, кривым и злым ртом и сверкающими глазами.

— Уверяю вас, что это не так, — сказал маленький Гановер; видно было, что он уже много раз произносил эти слова.

— Нет, Гановер, теперь это уже зашло слишком далеко, — возразил Берти. — Вы, господа, утомляете меня вашими спорами. Вы все стоите за свободную торговлю. Вы прожужжали всем уши

своими бесконечными рассуждениями об этой самой свободной торговле и о праве человека распоряжаться своим трудом. Несколько лет вы только об этом и говорили. Ничего нет дурного в том, что все рабочие примкнули к этой забастовке. Тут не попраны пока никакие законы — ни божеские, ни человеческие. Согласитесь со мной, Гановер. Вы сами всегда разглагольствовали о Богом данном праве работать или не работать. Вам этой предпосылки не избежать. Конечно, все это весьма неприятно, но и только. Вы все время ездили на спинах рабочих, а теперь, когда рабочие сбросили вас, вы все запищали.

Все с негодованием стали утверждать, что никто никогда и не думал ездить на спинах рабочих.

— Нет, сэр, — вскричал Гарфилд, — мы все делали для рабочих! Мы не на спинах их ездили, а давали им возможность жить. Мы создавали для них работу. Куда делись бы рабочие, если бы не мы?

— Куча благодеяний! — усмехнулся Берти. — Вы ездили на спинах рабочих тогда, когда представлялся случай, и очень часто для того, чтобы этот случай представился, вы отклонялись от прямой дороги.

— Неправда! — раздались голоса.

— А помните, в Сан-Франциско была забастовка возчиков? — невозмутимо продолжал Берти. — Эту забастовку подстроила Ассоциация хозяев. Вы прекрасно это знаете… Я посвящен в подробности этого дела, ибо в этих же стенах оно возникло и обсуждалось. Сначала вы вызвали забастовку, а потом, сговорившись с городским головой и с начальником полиции, вы ее сорвали. Трогательно было видеть, как вы, филантропы, подбивали возчиков на забастовку, а потом сели им на шею. Позвольте, я еще не закончил. Помните, в прошлом году в Колорадо голосами рабочих был поддержан на выборах кандидат? Он не был утвержден! Вы знаете, почему! Вы прекрасно знаете, каким образом добились этого ваши братья, филантропы и капиталисты Колорадо. Это была опять-таки возможность поприжать рабочих. В течение трех лет вы продержали в тюрьме председателя Союза горняков, подстроив обвинение в убийстве, и добились того, что союз распался. Разве это не значит ездить на спинах рабочих? А троекратное отклонение прогрессивного подоходного налога? Вы утверждали, что это не соответствует конституции. А закон о восьмичасовом рабочем дне, который вы так блестяще

провалили на последнем конгрессе? Но самым вопиющим из всех ваших поступков была борьба с профсоюзами. Вы ведь отлично знаете, как велась эта борьба! Вы подкупили Фарберга — последнего председателя Американской федерации труда. Он был вашим ставленником — ставленником всех трестов и ассоциаций хозяев, ибо всех их объединяла одна цель. Фарберг оказался предателем и сорвал забастовку. Вы добились того, что старая Американская федерация труда развалилась. Вы уничтожали федерацию, но — чудаки — этим самым уничтожили и себя, ибо на смену федерации возник М. Р. С. (Международный рабочий союз) — самая большая и прочная рабочая организация Соединенных Штатов. Вы виноваты в ее возникновении, а стало быть, вы виноваты и в сегодняшней забастовке. Вы вынудили рабочих вместо Федерации организовать М. Р. С., а М. Р. С. устроил эту забастовку. И вы еще будете утверждать, что никогда не прижимали рабочих! Ха-ха!..

На этот раз никто ничего не возразил. Один только Гарфилд пробормотал в свою защиту:

— Нас вынуждали обстоятельства. Приходилось отстаивать себя.

— Этого вопроса я не касаюсь, — ответил Бер-

ти, — меня только возмущает, зачем вы стонете теперь, испробовав вкус лекарства, приготовленного вами же. Вы уже не раз срывали забастовки, чтобы подчинить себе рабочих. Теперь рабочие выработали план, чтобы, в свою очередь, подчинить себе вас. Они желают, чтобы на службу принимали только членов профсоюзов, и если вы на это не согласитесь, вам придется умирать с голоду.

— Я полагаю, что вы сами пользовались всеми теми способами скрутить рабочих, о которых изволили только что упомянуть, — саркастически заметил Брентвуд, один из самых хитрых и желчных адвокатов. — Сообщники не лучше вора! Вы лично не прижимали рабочих, однако свою долю добычи все-таки получали.

— Ну, это к делу не относится, — протянул Берти. — Вы рассуждаете не лучше Гановера, когда ссылаетесь на моральный элемент. Я ведь не говорю, что хорошо, что плохо. Все это просто отвратительная игра; меня возмущает не то, что вы прижимали рабочих, а то, что вы теперь стонете и охаете! Совершенно верно, я пользовался всеми благами, полученными от эксплуатации рабочих, — спасибо вам, джентльмены, — сам при этом не ударяя палец о палец. Вы это сделали

за меня, а сам я этим не занимался вовсе не потому, что я добродетельнее вас. Просто мой отец и его почтенные братья оставили мне столько денег, что я мог без труда заплатить вам за эту грязную работу.

— Если вы хотите этим сказать… — воскликнул с горячностью Брентвуд.

— Тише, тише! — дерзко оборвал его Берти. — Нам нечего играть в невинность в этом воровском притоне. Это годится для газетных статей, для юношеских клубов и воскресных школ. Но, ради Бога, не будем ломаться друг перед другом! Вы прекрасно знаете, и я знаю; и вы знаете, что я знаю, кто организовывал и срывал прошлой осенью забастовку строительных рабочих, кто за это получал деньги и кто наживался. (Брентвуд густо покраснел). Все мы слеплены из одного теста, а поэтому отставим в сторону вашу мораль. Я опять повторяю — делайте свое дело, делайте его до конца, но только не нойте, когда вам приходится туго!

Когда я отошел от этой группы, Берти все еще продолжал их мучить, указывая на серьезность создавшегося положения и спрашивая их, каким образом они думают пополнить запасы продуктов, недостаток которых начинал уже

чувствоваться. Встретив его позже в передней, я предложил ему доехать до дому в моем автомобиле.

— Да, жестокий удар — эта всеобщая забастовка, — говорил он, когда мы пробирались сквозь толпу, весьма многочисленную, но сохранявшую полный порядок. — Это удар по нашему телу. Рабочие подстерегли нас, пока мы спали, и ударили по самому чувствительному месту — по желудку. Я хочу уехать из Сан-Франциско, Корф, и вам советую сделать то же самое. Отправляйтесь куда-нибудь в деревню, безразлично куда. Накупите съестных припасов и поселитесь в какой-нибудь хижине или шалаше. Уверяю вас, что скоро нам тут ничего не останется, как только подыхать с голоду.

Я никак не предполагал, что предсказания Берти Мессенера исполнятся с такой точностью. Тогда я просто решил, что он человек, склонный поддаваться панике. Мне, напротив, казалось очень интересным остаться в Сан-Франциско и наблюдать за суматохой. Расставшись с ним, я, перед тем как ехать домой, решил еще купить кое-какой провизии. К моему удивлению, оказалось, что те мелочные лавки, где мы покупали сегодня утром, распродали весь свой товар. Я

отправился в Потреро, и там мне удалось купить еще один ящик свечей, два пуда белой муки, десять пудов ржаной (для прислуги), ящик мясных консервов и два ящика томатов. Предполагая, что в течение некоторого времени будет ощущаться острый недостаток в съестных припасах, я очень радовался, любуясь своими мешками и ящиками.

На следующее утро я выпил кофе, по обыкновению, в постели. Не только сливок, но на этот раз не было и газеты. Абсолютное неведение того, что происходит в мире, показалось мне самым тяжелым испытанием. В клубе я узнал кое-какие новости. Райдер приехал из Окленда в своей моторной лодке, а Холстед ездил в Сан-Хосе на автомобиле. Они сообщили, что положение там было не лучше, чем в Сан-Франциско. Всякая деятельность остановилась в результате забастовки. Все мелочные лавки были целиком скуплены богатыми людьми. Всюду царил полный порядок. Но что происходило в других крупных центрах? В Чикаго? В Нью-Йорке? По всей вероятности, то же самое. Однако тот факт, что мы ничего не могли узнать точно, приводил нас в бешенство.

Кое-какие новости мог сообщить генерал Фолсом. В телеграфных конторах были поставлены на

работу военные телеграфисты. Однако провода оказались перерезанными по всем направлениям. Это был первый незаконный поступок рабочих. Генералу удалось снестись по радио с Бенишией. Телеграфная линия до Сакраменто охранялась патрулями солдат. На несколько минут удалось соединиться с Сакраменто, но затем провода были перерезаны. Генерал Фолсом полагал, что подобные попытки делались и другими городами, но вряд ли можно было рассчитывать наладить связь. Его больше всего беспокоило повсеместное повреждение проводов; очевидно, это был план, заранее обдуманный рабочими и теперь регулярно приводимый в исполнение. Он так же очень сожалел, что правительству не удалось еще наладить сеть радиостанций, как это давно предполагалось.

Дни проходили, и пока что было очень скучно. Ничего особенного не происходило. Интерес к событиям слегка притупился. Улицы опустели. Рабочие не появлялись больше в городе, чтобы посмотреть, как мы переживаем забастовку; количество автомобилей на улицах сократилось: мастерские и гаражи были закрыты, и если какая-нибудь машина портилась, то она окончательно выходила из строя. Мой автомобиль

тоже сломался, и ни за какие деньги нельзя было его починить. Теперь и мне пришлось пешком бродить по улицам. Сан-Франциско казался мертвым городом, и мы по-прежнему не знали, что происходит в других городах. Но по собственному примеру мы могли заключить, что и другие города были столь же мертвы. Иногда по городу разбрасывались прокламации М. Р. С., отпечатанные, по-видимому, несколько месяцев назад. Это было лишнее доказательство того, как тщательно готовились к забастовке рабочие организации. Все детали были разработаны. До сих пор не произошло никаких эксцессов, если не считать расстрела солдатами лиц, уличенных в порче проводов. Но в бедных кварталах люди начали голодать и волноваться.

Деловые люди, миллионеры и люди свободных профессий устраивали заседания и выносили резолюции, но не было никакой возможности обнародовать эти резолюции, их даже нельзя было напечатать. Единственным конкретным результатом совещаний было то, что генерал Фолсом занял отрядами войск все оптовые склады муки, зерна и другого продовольствия; это было сделано как раз вовремя, так как недостаток провианта начал уже ощущаться даже в наибо-

лее богатых домах.

Мои слуги ходили с вытянутыми физиономиями и опустошали мои запасы. Как я впоследствии узнал, они без всякого стеснения обворовывали меня, ибо каждый хотел сделать себе лишний запас провианта.

С образованием хлебных очередей начались новые волнения. Имевшегося в Сан-Франциско запаса муки не могло хватить надолго. У сорганизовавшихся рабочих были особые склады. Тем не менее все рабочие присоединились к хлебным очередям. В результате склады, захваченные генералом Фолсомом, стали пустеть с катастрофической быстротой. Как могли солдаты различать среди толпы среднего горожанина, члена М. Р. С. и простого обывателя? Первые и третьи должны были получить муку, но солдаты не могли знать в лицо всех членов М. Р. С., а тем более их жен, дочерей и сыновей. Хозяева помогали в распознавании рабочих, и некоторые из забастовщиков, опознанные ими, были выгнаны из очередей, но это мало изменило положение. Дело приняло еще худший оборот, когда правительственные буксирные пароходы должны были прекратить доставку хлеба из военных складов, расположенных на островах, вследствие истощения запасов.

Солдаты теперь получали в первую очередь пайки из конфискованных продуктов.

Несомненно, скоро должно было наступить начало конца. Насилие стало показывать свою рожу. Законы и правила были вдруг забыты, и забыты, нужно сознаться, не только низшими, но и высшими слоями населения. Только организованные рабочие продолжали соблюдать порядок. Это было понятно — у них было чем питаться. Мне помнится, как в одно прекрасное утро, придя в клуб, я увидал Холстеда и Брентвуда, которые о чем-то шептались между собой. Они посвятили меня в свой план. Автомобиль Брентвуда был еще в полной исправности, и они собрались ехать воровать коров. У Холстеда был большой поварской нож и резак.

Мы поехали в предместье. Там и сям паслись коровы, но обычно владельцы их находились тут же. Продолжая свои поиски, мы выехали за город, и тут на одном пустыре нашли корову, охраняемую маленькой девочкой. Рядом с коровой пасся теленок. Мы не стали попусту тратить время. Девочка с плачем убежала, а мы принялись резать корову. Я пропускаю различные подробности, потому что они слишком противны. Мы не привыкли к такой работе и исполняли

ее очень плохо.

В самый разгар осуществления нашей затеи мы услыхали крики и увидели нескольких человек, которые бежали к нам. Мы тотчас же бросили корову и пустились в бегство. К нашему удивлению, они и не думали нас преследовать. Оглянувшись, мы увидели, что все они набросились на корову, — они, оказывается, прибежали сюда с теми же намерениями, что и мы. Нам стало досадно, и мы решили вернуться. Произошедшая затем сцена едва поддается описанию. Мы дрались из-за коровы, как дикари. Брентвуд совершенно озверел. Он рычал, размахивал ножом и грозил убить того, кто отнимет его долю.

И мы получили бы нашу долю, если бы не произошло еще более неприятного инцидента. Внезапно появился отряд членов М. Р. С. Его привела маленькая девочка. Рабочих было очень много, и они были вооружены кнутами и дубинками. Девочка плакала от злости и кричала, обливаясь слезами:

— Задайте им хорошенько! Вот этому негодяю в очках, это он все наделал. Разбейте ему морду, разбейте ему морду!

«Негодяй в очках» — это был я, и мне, действительно, разбили морду, хотя у меня хватило

присутствия духа снять поскорее очки. Ах, нас здорово избили! Брентвуд, Холстед и я кинулись удирать к автомобилю. У Брентвуда был в кровь разбит нос, Холстеду раскровавили подбородок.

Убежав от преследователей и подойдя к автомобилю, мы увидели, что за ним спрятался испуганный теленок. Брентвуд велел нам смотреть, не идет ли кто, а сам бросился на теленка подобно тигру или волку. Нож и резак остались на поле битвы, но у Брентвуда были здоровые руки, и он катался с теленком по траве до тех нор, пока не задушил его. Мы положили тушу в автомобиль, накрыли ее своими пальто и поехали домой. Но случилось новое несчастье. У нас лопнула шина. Не было никакой возможности ее починить, и нам пришлось бросить машину. Брентвуд взвалил себе на плечо теленка, накрытого пальто, и понес его, кряхтя и ругаясь. Мы по очереди несли теленка и чуть не умерли от усталости. Вдобавок мы сбились с дороги. После целого часа скитаний мы наткнулись на шайку оборванцев. Они не были членами М. Р. С., но, к несчастью, были так же голодны, как и мы. Во всяком случае, им достался теленок, а нам затрещины. Брентвуд по дороге домой бесновался, как сумасшедший. В разорванном костюме, с разби-

тым носом и подбитым глазом он производил жуткое впечатление.

После этого мы не пытались воровать коров. Генерал Фолсом приказал своим солдатам конфисковать всех коров, и теперь солдаты, так же как и полицейские, главным образом питались мясом. Генерала Фолсома нельзя было обвинять. Поддержание правового порядка было его основной обязанностью, а поддерживали порядок войска — стало быть, их и нужно было кормить в первую очередь.

Приблизительно в это время началась страшная паника. Богатые люди первые обратились в бегство, а их примеру последовали и низшие классы. Население толпами покидало город. Генерал Фолсом был очень доволен. По подсчету, двести тысяч человек бежали из Сан-Франциско, а это значительно облегчало продовольственное положение. Я хорошо помню этот день. Утром я съел черствую корку хлеба. В полдень я пошел и встал в хлебную очередь. Вечером я вернулся домой, усталый и разбитый, получив порцию риса и кусок свиной грудинки. Браун встретил меня у дверей. Вид у него был печальный и испуганный. Он сообщил мне, что вся прислуга сбежала. Он остался в одиночестве. Тронутый его

преданностью, я поделился с ним своей порцией, узнав, что он весь день ничего не ел. Мы сварили рис и грудинку, причем съели только половину, а остальное оставили на завтра. Я лег в постель голодный и провел бессонную ночь. Утром оказалось, что и Браун покинул меня, вдобавок украв остатки риса и грудинки.

Общество, собравшееся в этот день в клубе, было весьма печально настроено. Прислуги не осталось. Она разбежалась. Пропало все серебро, и я узнал, что оно было украдено не прислугой, а самими членами клуба. Оказалось, что в рабочем квартале, к югу от Базарной улицы, на квартирах членов М. Р. С. можно было получить обед в обмен на серебро. Я тотчас же побежал домой. Увы, все мое серебро было украдено, за исключением массивного кубка! Я взял кубок и помчался в рабочий квартал.

Подкрепившись обедом, я снова отправился в клуб, чтобы узнать, нет ли чего-нибудь новенького. В дверях я столкнулся с Гановером, Коллинзом и Дейконом, которые как раз собирались уходить. Больше в клубе никого не оставалось. Они собирались покинуть город, воспользовавшись для этого лошадьми Дейкона. У Дейкона было четыре прекрасных лошади, которых он хотел

спасти, ибо генерал Фолсом предупредил его, что на следующий день все находящиеся в городе лошади будут конфискованы на мясо.

Лошадей в городе оставалось не очень много, так как десятки тысяч их были выгнаны за черту города, как только появилась первая трава. Мне помнится, что Бердэл, имевший крупное ломовое предприятие, выпустил на свободу около трехсот лошадей. При средней стоимости каждой лошади в пятьсот долларов это составляет сумму в сто пятьдесят тысяч. Он рассчитывал получить обратно хоть часть лошадей по окончании забастовки, но на самом деле он, разумеется, потерял всех своих лошадей. Их съели люди, бежавшие из Сан-Франциско. Для этой же цели стали убивать лошадей и мулов, принадлежавших воинским частям.

К счастью, у Дейкона был большой запас овса и сена. Мы раздобыли четыре седла и оседлали лошадей, хотя до сих пор они ходили только в упряжке. Когда мы проезжали по улицам, мне вспомнился Сан-Франциско во время великого землетрясения, но, несомненно, теперь город представлял еще более печальное зрелище. Стихийное бедствие причинило меньше ущерба, чем тирания рабочих союзов. Мы проскакали мимо

театров, гостиниц, пустых и заброшенных магазинов. Улицы были пустынны. Там и сям стояли автомобили, покинутые владельцами вследствие порчи мотора или отсутствия бензина. Не было никаких признаков жизни, виднелись лишь фигуры солдат и полицейских, охраняющих банки и общественные здания. Нам повстречался один из членов М. Р. С., расклеивающий новые прокламации. Мы остановились и стали читать.

«До сих пор нам удалось сохранить полный порядок, — говорилось в прокламации, — и мы сохраним его до конца. Конец наступит тогда, когда будут удовлетворены наши требования; а требования наши будут удовлетворены, когда предприниматели будут вынуждены к этому голодом, подобно тому как голод до сих пор заставлял нас уступать им».

— Это то, что предсказывал Берти, — сказал Коллинз, — и, честное слово, я бы с радостью уступил им; но боюсь, они не дадут мне этой возможности. Я даже не помню, когда я был сыт. Интересно знать, какой вкус у лошадиного мяса?

Мы остановились и стали читать другую прокламацию.

«Когда мы узнаем, что наши хозяева готовы уступить, мы восстановим телеграфную связь

между всеми крупными центрами, но мы будем передавать только известия, касающиеся условий примирения».

Мы проехали Базарную улицу и очутились в рабочем квартале. Улицы здесь не были пустынны, у дверей и у ворот сидели члены М. Р. С., оживленно беседуя между собой. Тут же играли веселые, сытые дети, а дородные хозяйки сидели на ступеньках и сплетничали. Все с усмешкой глядели на нас. Дети бежали за нами и кричали:

— Эй, мистер, не голодны ли вы?

Какая-то женщина, кормившая ребенка, крикнула Дейкону:

— Эй, толстяк, хочешь я угощу тебя картошкой, жареным мясом и чашкой кофе с белым хлебом?

— Вы обратили внимание, — сказал Гановер, обращаясь ко мне, — что на улицах совершенно не видно собак?

В самом деле, я до сих пор не обращал на это внимания; очевидно, мы уезжали как раз вовремя. Нам, наконец, удалось выехать на дорогу в Сан-Бруно, по которой мы и направились на юг. У меня была дача близ Менло, и до нее-то мы решили добраться. Но скоро оказалось, что за городом было гораздо хуже и опаснее, чем в городе. Там, по крайней мере, порядок охранялся солдатами и

членами М. Р. С. Здесь же царила полная анархия. Двести тысяч человек бежали из Сан-Франциско — они прошли, уничтожив за собой все, подобно саранче. Кругом было пусто. Везде были видны следы грабежей и разбоя; там и сям валялись трупы, постоянно встречались обуглившиеся развалины ферм. Все изгороди были разломаны, посевы вытоптаны, огороды опустошены. Домашняя птица и скот съедены голодными ордами. Так обстояло дело на большой дороге, ведущей из Сан-Франциско. Кое-где в стороне от дороги фермеры были вооружены ружьями и револьверами, а потому они еще сохранили свое имущество. Они издали махали нам руками и отказывались с нами разговаривать. Во всем этом разрушении были одинаково виноваты и высшие, и низшие слои общества. Только члены М. Р. С. спокойно сидели по домам с кладовыми, набитыми продуктами.

В самом начале нашего путешествия мы могли убедиться, до какой степени печально общее положение. Вдруг в стороне от дороги раздались крики и выстрелы. Несколько пуль просвистело около нас. В кустах послышался треск, и на дорогу выскочила и понеслась превосходная ломовая лошадь. Мы успели заметить, что она была вся в

крови и сильно хромала. За ней бежали три солдата. Они бежали за деревьями по левую сторону дороги. Солдаты перекликались между собой. Четвертый вышел на дорогу и, сев на землю, стал обтирать лицо.

— Милиция, — прошептал Дейкон, — дезертиры…

Солдат усмехнулся и попросил спичек. На вопрос Дейкона, в чем дело, он ответил, что милиция дезертировала.

— Нечего жрать, — сказал он, — кормят только регулярное войско.

От него мы узнали, что арестанты из Элкотраза распущены, так как их нечем было кормить. Я никогда не забуду открывшегося нам зрелища сразу за поворотом дороги. Кругом стояли развесистые деревья. Солнечные лучи пробивались сквозь густую листву. Бабочки летали над травой, а в вышине раздавалось пение жаворонков. Тут же стоял большой автомобиль, вокруг него валялись трупы. Нетрудно было догадаться, что здесь произошло. Хозяева автомобиля пытались уехать из города и были перебиты бандитами. Это случилось, по-видимому, не более суток назад. Пустые банки из-под консервов объясняли причину убийства. Дейкон осмотрел тела.

— Я так и думал, — сказал он, — я когда-то ездил в этом автомобиле; это — Перритон и все его семейство… Как бы нас не постигла такая же участь!

— Но ведь у нас нет с собою провианта, — заметил я.

Дейкон молча указал на лошадей. Мы поняли, в чем дело, и помчались во весь дух.

Рано утром лошадь Дейкона потеряла подкову. Нежное копыто треснуло, и животное сильно хромало. Дакон не хотел бросать лошадь, но и не мог продолжать ехать на ней верхом. По его просьбе мы продолжали путь одни. Он решил вести лошадь в поводу и встретиться с нами на моей даче. Больше мы его не видели, и никто не знает, как он погиб.

Около часа мы приехали в Менло — вернее, на то место, где был некогда Менло. От городка остались одни развалины, и всюду валялись трупы. Торговая часть города представляла сплошное пожарище. Почти все дачи были уничтожены огнем. К уцелевшим нельзя было подойти. Когда мы приближались, в нас стреляли. Мы встретили одну женщину, которая разыскивала развалины своей дачи. Она рассказала нам, как голодная толпа грабила магазины и с яростью нападала

на местных горожан. Миллионеры и бедняки с одинаковым рвением сражались из-за пищи, а потом отнимали ее друг у друга. Мы узнали, что Пало-Альто и Стэнфордский университет были разрушены при таких же обстоятельствах. Перед нами лежала разоренная, пустынная страна. Мы решили, что благоразумнее всего будет доехать до моей дачи. Она находилась в трех милях от Мэнло к западу, среди холмов.

Но отправившись дальше, мы сразу увидели, что разрушение не ограничилось большой дорогой. Волна беглецов захлестнула на своем пути и маленькие поселки. Все было уничтожено, и местность представляла огромный пустырь. Моя дача была построена из камня, а потому уцелела от пожара. Однако внутри все было опустошено. Мы нашли в саду труп садовника, вокруг которого валялись расстрелянные ружейные патроны. Очевидно, он упорно защищался. Но двое моих рабочих-итальянцев, так же как и управляющий с женой, пропали бесследно. Все хозяйство было разгромлено. Не осталось ни жеребят, ни телят, ни домашней птицы.

Кухня, в которой беглецы, по-видимому, готовили себе пищу, представляла в высшей степени плачевное зрелище. В саду остались следы от ко-

стров. То, что люди не могли съесть, они унесли с собой. Мы не могли найти ни одной корки хлеба.

Остаток ночи мы провели, тщетно дожидаясь Дейкона, а утром вынуждены были с револьверами в руках отражать нападение шести-семи мародеров. Затем мы убили одну из Дейконовских лошадей. Часть мяса мы съели, а остальное приберегли. В полдень Коллинз пошел погулять и не возвратился. Это было ужасным ударом для Гановера; он решил немедленно бежать, и я с трудом уговорил его остаться до утра. Что касается меня, то я был уверен в скором окончании забастовки и решил возвратиться в Сан-Франциско.

Утром мы отправились в дорогу, причем Гановер с пятьюдесятью фунтами конины, привязанной к седлу, поехал на юг, а я с таким же вьюком — на север. Маленький Гановер остался жив, и я уверен, что до конца жизни он будет всем надоедать рассказами о своих приключениях.

Я доехал только до Белмонта, когда трое полицейских отняли у меня мой провиант; они сообщили, что положение становилось все хуже и хуже, что у М. Р. С. огромный запас провизии и они могут продержаться еще несколько месяцев. Я поехал дальше, но возле Бадена на меня напали двенадцать человек и отняли лошадь. Двое

из них были полисменами из Сан-Франциско, а остальные десять кадровыми солдатами. Это было дурным признаком. Очевидно, положение действительно ухудшилось, если даже солдаты начали дезертировать. Я отправился дальше пешком, а они разложили костер и прирезали последнюю из Дейконовских лошадей. В довершение всего я вывихнул себе ногу и с трудом добрался до южной части Сан-Франциско. Всю ночь я пролежал в каком-то сарае, дрожа от холода и сильнейшей лихорадки. В этом сарае я провалялся двое суток, после чего, опираясь на самодельный костыль, кое-как добрался до города.

Я не ел трое суток и очень ослабел. Мне помнится как во сне, что мимо все время проходили отряды регулярных войск и полицейские с семьями, шедшие для безопасности большими партиями. Придя в город, я вспомнил вдруг тот дом, в котором жила семья рабочего, накормившего меня обедом за серебряный кубок. Мучимый голодом, я направился туда; уже стемнело, когда я начал с трудом взбираться по лестнице. У меня закружилась голова, но я успел постучать костылем в дверь, после чего, должно быть, потерял сознание. Я очнулся в кухне, кто-то обтирал мне лицо мокрым полотенцем и вливал в рот виски.

Я стонал, задыхался и бормотал, что у меня нет больше серебряных кубков, но что я им впоследствии заплачу, если они меня накормят. Хозяйка перебила меня.

— Ах вы бедняга, — сказала она, — разве вы не слыхали, что забастовка прекращена сегодня утром? Конечно, мы вас сейчас накормим.

Она начала хлопотать. Достала копченой ветчины, собиралась ее поджарить.

— Дайте мне скорее хоть один кусочек, — попросил я.

И с наслаждением уплетая ветчину, я слушал рассказ ее мужа о том, что все требования М. Р. С. удовлетворены. Телеграфное сообщение было уже восстановлено, и ассоциации хозяев всюду пошли на уступки. Поскольку в Сан-Франциско не оставалось больше предпринимателей, то за них поручился генерал Фолсом. С завтрашнего дня должны были начать ходить пароходы и поезда; жизнь восстанавливалась.

Так закончилась всеобщая забастовка. Мне бы не хотелось пережить ее вторично. Это куда хуже войны! Всеобщая забастовка — жестокое и безнравственное дело. И человеческий ум должен был бы научиться управлять промышленностью более достойным образом.

Гаррисон продолжает служить у меня шофером. М. Р. С. потребовал, чтобы все служащие заняли свои прежние места. Браун ко мне не возвратился, но остальная прислуга вернулась и работает до сих пор. Я не мог сердиться на них за пропажу серебра и провианта — в конце концов, несчастные спасали свою жизнь.

Я тогда не решился отказать им, а теперь уже не могу этого сделать, ибо все они — члены М. Р. С.

Тирания организованного труда превышает меру человеческого терпения. Нужно что-то предпринять!

КОММЕНТАРИИ

По легенде, люди, родившиеся в темное время суток, обладают необычными качествами в отличие от родившихся днем. Загадочность заглавия **«Рожденная в ночи»** подтверждается тематикой произведения: запредельное психическое состояние, особенность личности, а также реликтовые свойства человеческого характера.

Элемент неведомого большинству нормальных людей психического свойства составляет как бы своеобразную изюминку привлекательного повествования. Научная фантастика, порою весьма свободная, соседствует здесь со строгим реализмом социально-психологических и конкретно-исторических типов персонажей. Но привлекательность остается.

Джек Лондон выступает как мастер сюжетно-композиционных сдвигов пластов повествования, великолепных повторов ситуаций на его новом витке, преимущественно параллельного, а не собственно ступенчатого развития конфликтов. Будучи мастером динамического сюжета, писатель теперь как бы обкатывает его

в разных, порою несовместимых параллельных плоскостях. И вымышленное им состояние героев трудно порою отделить от реально существовавшей или возможной ситуации.

Героиня рассказа случайно прочитывает цитату из произведения американского писателя-трансценденталиста Генри Торо. Так она узнает о необычных свойствах «рожденных в ночи». Эта бедная женщина покинула мир изнурительной городской цивилизации, ушла от мужа, держащего кабак и женившегося на ней в поисках бесплатной посудомойки-официантки, и отправилась в край величественных гор и прозрачных как слеза рек, где нашла золотой клад. После длительных скитаний она обрела приют в племени индейцев, где стала помогать детям каменного века и принесла им в дар свои сокровища. Так Люси становится индейской принцессой, *той, которой следует повиноваться*.

Но потребность в любви заставляет гордую правительницу Люси самой сделать предложение весьма заурядному искателю приключений, некоему Трифдену. Однако американец не представлял себе жизни без звона трамваев, электричества, пустопорожней болтовни за стаканом виски. Ритуально-возвышенная жизнь

«принца» при такой знатной правительнице показалась ему скучной и тягостной, поэтому Трифден соврал принцессе, что он женат. Лондон показывает, что современный человек уже просто не может ни жить в строгих нравственных рамках, ни полагаться на свою интуицию, ни слушать свой внутренний голос, который услышала в себе принцесса Люси, когда настал ее час пробуждения. Образ неповторимой и прекрасной женщины живет в сознании современных мужчин как недоступная мечта, как недостижимый идеал, но приблизиться к чуду они попросту трусят.

Америка — страна по существу интернациональная. Англо-саксонская, негритянская, индейская и испанская культуры во времена Джека Лондона развивались как бы самостоятельно, и на бытовом уровне можно было ощутить как некоторое их сближение, так и очевидную их несовместимость. Этому явлению посвящен рассказ **«Безумие Джона Харнеда»**. Американец ухаживает за уроженкой Эквадора и влюбляется в нее. Вдвоем они оказываются на бое быков, любимом зрелище эквадорцев. Харнеду представление кажется жестоким и бессмысленным.

Неподалеку от пары в ложе с охраной сидит но-

минальный президент страны, рядом — богатый предприниматель, владелец плантаций какао, пайщик нефтяных разработок, имеющий виды на героиню. Здесь зерно будущего конфликта.

В ходе боев между мужчинами возникла перепалка. Американец, обезумев, изо всей силы ударил предпринимателя. Друг пришел тому на помощь. Солдаты из охраны президента бросились в ложу участников потасовки. Американец вырвал у одного из них винтовку и уложил насмерть семерых, в том числе и охранника, дубася противников по головам прикладом.

Незапланированное «представление» на трибуне как бы явилось зеркальным отражением ситуации на арене. Это очень выразительный художественный прием. Ситуация прокручивается как бы в ином измерении, но суть практически та же.

Культурные нормы и стереотипы, по Джеку Лондону, заложены в подсознании, и человек не может в одночасье переродиться, особенно если он убежден в какой-то своей, не знакомой другим, правоте. Писатель исследует разные стороны жизни и проявления человеческого характера в различных обстоятельствах.

И уж вряд ли романтиком в традиционном

смысле можно назвать Джеймса Уорда из рассказа **«Когда мир был юным»**. Он живет в Мельничной долине (аналог «Солнечной долины») в гордом одиночестве. Через каменную стену, отделяющую Уорда от мира, попытался перебраться мелкий жулик с целью ограбить «интеллигентного слюнтяя». Но эта затея едва не стоила воришке жизни. Он еле унес ноги от ужасного чудовища — разъяренного полуголого человека.

Оказывается, в ночное время в мистере Уорде пробуждался атавистический человек, который чувствовал потребность ходить голым и охотиться с дубиной на зверей. Невменяемый в своей ярости, он мог расправиться с любым незваным гостем. И это не прихоть богача, а серьезная психическая болезнь — одна из форм лунатизма.

Рассказ **«Польза сомнения»** посвящен чиновничьей казуистике и глобальной несправедливости в обществе. Герой рассказа, социолог, зашел однажды в низкопробный кабачок. Увидев интеллигентного посетителя, хозяин признал в нем едва ли не врага и набросился на него. В результате произошла жуткая потасовка. Далее — суд, где мужчинам предложили помириться, и кровные враги пошли пропустить по маленькой

в ближайший бар. Однако это лишь первая часть повествования.

Во второй части герои как бы меняются ролями. Теперь социолог застает заблудившегося судью в своих владениях и вовсю издевается над ним, повторив ситуацию первой части.

Оказывается, многие, самые дикие инстинкты, пробуждающиеся в человеке, не так трудно согласовать с юридическими законами. Первобытные инстинкты не чужды современным «цивилизованным» людям.

В рассказе **«Под палубным тентом»** один из собеседников ставит перед мужским сообществом необычный вопрос: может ли мужчина-джентльмен назвать женщину свиньей и при каких обстоятельствах?

Некто отвечает на этот вопрос историей из собственной жизни. Очаровательная и состоятельная мисс, пользующаяся большим успехом у мужчин, в ходе путешествия в Шри-Ланку заинтересовалась опасным озорством местных ребятишек, которые ныряют за монетами в кишащую акулами бухту. Она бросила золотую монету в море, и самый смелый из мальчуганов не сумел справиться с соблазном. Но это был последний нырок в его жизни. Акула приняла его

за подкормку и перекусила пополам.

Мисс сохранила спокойствие, хотя губы ее дрожали.

Оказалось, что богатство и физическое совершенство — еще не гарантия высоких моральных и душевных качеств человека, к какому бы полу он ни принадлежал. В погоне за «суперменством» и желанием быть оригинальными, нравиться окружающим многие женщины утрачивают то, что дано им природой.

Наиболее интересным в этом цикле представляется рассказ **«Убить человека»**. По сюжету в дом некой миссис забрался молодой человек с револьвером в руках и, угрожая оружием, объявил хозяйке о цели своего появления в ее апартаментах: «Просто хотел вас ограбить».

Дама решила разыграть молодого человека, потянуть время. Игра под дулом револьвера — почти беспроигрышный художественный прием, увлекательная психологическая интрига. Поняв, что, покоренный ее кротостью и женственностью, незнакомец не собирается ее грабить и убивать, она уже не выпускает его из дома, предварительно нажав ногою потаенную кнопку электрического звонка. Вор повествует, что именно старик — хозяин этого дома когда-то самым

неподобающим образом разорил его. Необычная логика событий: преступник и жертва в какой-то мере начинают доверять друг другу.

Дама уже предвкушает восторженные похвалы друзей, газетную шумиху, между тем становится очевидно, что полиция не спешит на помощь…

Однако эта трагикомическая история заканчивается благополучно…

Своеобразным продолжением кулачной темы является рассказ **«Мексиканец»**. Мальчишка, делающий едва ли не первые шаги в боксе, выходит на поединок против знаменитого боксера-профессионала, рискуя жизнью из-за финансовых трудностей революционного движения в своей стране, которому он фанатически предан. Упрямый мальчишка думает о том вожделенном для него часе, когда «народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и наконец победоносные армии революции со всех сторон окружат город Мехико…» Великие идеи вдохновляют и поддерживают дух подобных героических одиночек.

Конечно, инициатива в состязании поначалу полностью в руках спортивной знаменитости — до тех пор, пока неожиданным коротким ударом в живот с близкого расстояния мальчишка

не отправил самоуверенного боксера в нокдаун. Джек Лондон мастер изображения захватывающей «соревновательности».

«Зов предков». Целый ряд произведений Джека Лондона посвящен тому, как «золотая лихорадка» изменила характер общественной жизни в Америке. Многие включились в эту безумную гонку за наживой и благосостоянием, многие положили свои жизни на Клондайке и на подходах к нему. Этот мир хорошо показан в рассказах и повестях Джека Лондона. Подобный путь проходили и животные. Владельцы привозили их на Север для тяжелой ежедневной работы, тем приходилось терпеливо переносить и голод, и холод, угрозу гибели от истощения или в результате какого-нибудь драматического происшествия.

Сотни дельцов, взвинтивших цены на выносливых и крепких собак, делали бизнес, пользуясь услугами подонков, воровавших крепких псов у хозяев, и устраивая кровавые собачьи бои.

«Золотая лихорадка» круто изменила судьбу героя повести «Зов предков», большого доброго пса по кличке Бэк, жившего в сытости и довольстве среди живописной калифорнийской природы. Но однажды человек, которому Бэк вполне доверял, поступил с ним подло — и Бэку предстояло навсе-

гда забыть свою беззаботную жизнь. Его ожидала тяжелая работа, необходимость приспособиться к законам собачьей стаи, усвоить, что дубина и клык — своеобразные символы Севера.

Для общей концепции повести чрезвычайно важно, что люди и собаки равны перед трудностями северной тропы. В одном из эпизодов повести они сливаются в едином порыве, преодолевая по сорок миль в день, не щадя собственных сил. Но многим загнанным собакам этот пробег будет стоить жизни.

Повесть построена своеобразно. Мир представлен глазами Бэка, развивающегося по ходу повествования и постигающего смысл новой жизни. Автор сам как бы присутствует внутри собачьей стаи. Ярко передана еще одна особенность — люди занимают в собачьей жизни не так уж много места. В данной художественной иерархии погонщики и хозяева менее значительные персонажи.

Сам хозяин удивлялся преданности своего пса.

Как и всякому главному персонажу, Бэку нужно преобразиться в конце повести. И его преображение триумфально. Разделенные обычаем и временем формы собачьего бытия на короткий миг как бы смыкаются, демонстрируя невидан-

ный и впечатляющий синтез. Это своеобразный гимн суровой и первобытной жизни.

Возможно, Бэк не в меру умен, возможно, собака, пытаясь помочь человеку, не может продумать большое количество своих ходов и действий. Но ведь литературный мир — в немалой степени вымышленный фантастический мир. И даже искушенный опытом читатель легко вживается в него и начинает верить, что все мы на этой земле — братья по крови. И это еще и благодаря великолепному, реалистическому в своих деталях повествованию, воссоздающему прекрасную природную реальность, помеченную печатью тонкого психологизма, безмерной животной интуиции и эстетизма. Суровая повесть учит добру, сочувствию и к ближним, и к братьям нашим меньшим. И все это неотъемлемые свойства жизни, помогающие читателю ощутить гармонию и полноценность собственного бытия в этом мире, определяемого не одними достижениями технического прогресса. Недаром на Клондайке ценятся простые местные лайки, а не породистые собаки, созданные стараниями человеческой цивилизации. «Назад к природе» — все же иногда полезно вернуться хотя бы на время. Она того стоит.

Большинство произведений, собранных в этой книге, написано на реальной основе. Но у них есть не только фактографическая убедительность во многих случаях, но и некая духовная аура, опосредующая связь между жизнью и ее художественной интерпретацией.